

**СОЛДАТСКИЙ**

1918-1918



**ПОДВИГ**

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»



**Издательство**  
**„ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА“**  
**Москва 1968**

**1918 - 1968**



ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

# СОЛДАТСКИЙ ПОДВИГ

РАССКАЗЫ  
О СОВЕТСКОЙ  
АРМИИ

Всех  
2  
60  
Соблюдения

*Составитель Л. Линьков*

*Оформление И. Кошкарёва*

## К читателям этой книги

Ребята, все вы — и мальчишки да и девочки тоже — любите читать книги о мужестве, героизме, смелости, о подвигах разных людей. И я точно знаю, почему любите. Потому что вы сами очень хотели бы совершать подвиги — ходить в разведку и в бой, подрывать вражеские эшелоны или хотя бы, как Дон-Кихот, быть победителями во встрече со львами.

И я когда-то так же мечтал о подвигах, так же читал все героические книжки — о Чапаеве и Дон-Кихоте, Буденном и трех мушкетерах. Был я тогда ровесником вашим — мальчишкой, школьником, и мне хотелось подвигов. А потом случилось так, что началась война, Отечественная война с фашистами, и всем нам, недоучившимся мальчишкам и девчонкам, пришлось понять, что такое настоящий подвиг. И то, что есть разница в подвигах Чапаева и Дон-Кихота, красноармейцев и мушкетеров.

Эта книга называется «Солдатский подвиг». Это необычная книга, потому что рассказывает она о подвигах людей особого склада — о воинах нашей Советской или Красной Армии.

Красная Армия родилась вместе с нашей Советской страной пятьдесят лет назад. Пятьдесят лет исполнилось нашей стране. Пятьдесят лет исполнилось сейчас и нашей армии.

История нашей армии — это история нашей страны. История нашей страны — это история нашей армии.

Советская Армия родилась вместе с Октябрьской революцией. Она отстояла эту народную революцию. Она защитила ее в боях с врагами Советской власти. Она освободила народы многих стран от фашистов в годы последней войны. Она первой вырвалась в космос: ведь Юрий Гагарин и почти все его товарищи-космонавты — воины нашей армии. И сей-

час наша Советская Армия стоит на страже мира против всех тех, кто мечтает о новых войнах.

Нашу армию называют самой справедливой в мире потому, что она армия-защитница. Нашу армию называют самой героической в мире потому, что она армия-победительница. Нашу армию до сих пор называют Красной потому, что она народная армия и под красным знаменем охраняет покой и счастье людей...

Книга «Солдатский подвиг» расскажет вам, ребята, о том, как рождалась наша армия и как воевала она в дни Октября и гражданской войны, как защищала спокойный труд советских людей в дни мира и как добилась победы над фашизмом. И о сегодняшнем дне наших героических воинов расскажет вам эта книга.

«Солдатский подвиг» — рассказ о тех, кто организовал нашу армию: о Ленине и ленинских полководцах, о воинах — красноармейцах, пограничниках и партизанах; рассказ о ровесниках ваших, о дедах, о родителях, совершавших солдатский подвиг во славу нашей страны, во имя вашего счастья.

Книгу «Солдатский подвиг» написал не один автор. Ее написали для вас А. Фадеев, А. Гайдар, М. Шолохов, К. Федин, К. Паустовский, В. Катаев, Ф. Гладков, С. Диковский, Н. Тихонов, Л. Соболев, Б. Полевой, К. Симонов и многие другие наши писатели.

Всем вам, мечтающим о подвигах, будет интересно прочитать книгу «Солдатский подвиг». Прочитать, узнать о том, чего вы не знали прежде, поучиться не по учебнику, полезному и важному, и вспомнить добрым словом воинов нашей армии. Вспомнить, а заодно и подумать о том, что и вы когда-то вступите в ее ряды.

Ведь пройдет не так уж много лет — для кого-то шесть, для кого-то девять или десять, — и вы, нынешние читатели этой книги, скажете, выполняя свой воинский долг:

— Служу Советскому Союзу!

*Сергей Баруздин*



# ЗА ВЛАСТЬ СОВЕТОВ



*Смело, товарищи, в ногу!  
Духом окрепнув в борьбе,  
В царство свободы дорогу  
Грудью проложим себе.*

*Л. РАДИН*



**Николай Никитин**

### **ОКтябрьская НОчь**

Искры паровоза жгли нас. Днем припекало солнце. Нас мочил дождь и сушил ветер. Мы ехали на крыше вагона. На пути от Мценска до Москвы двух человек сбило мостами. Но мы все-таки ехали. Это было в октябре 1917 года. Добравшись до Москвы, мы кое-как устроились в вагоне, впихнулись. Ведь мы были не очень разборчивы, я и мой спутник Егор Петров. Мы были рядовыми Ольвиопольского полка. Наш полк был расформирован. Мы стремились в Петроград, о котором говорил весь мир. Я ехал домой, я в Петрограде родился. А у Егора были совсем иные причины для этой поездки. Да, когда я сейчас вспоминаю об Егоре, мне кажется,

что я вспоминаю какую-то сказку. Егор говорил мне, что все солдаты должны ехать в Петроград, чтобы освободить Ленина из плена, что Ленин взят в плен капиталистами. Я с газетами в руках доказывал ему, что это его фантазия, что Ленин избегнул ареста, что по решению партии большевиков он где-то скрывается. Но все мои доводы были бессильны. Егор даже не спорил со мной. Он хмурил брови и, сделав хитрые глаза, шептал мне, что все это брехня, что газеты нарочно замазывают это дело... Каюсь, впоследствии я понял Егора, но в ту минуту он казался мне даже не совсем нормальным человеком. Он почти не ел, не пил в течение последних четырех суток, так он рвался в Петроград.

Мы приехали вечером.

С Николаевского вокзала мы вышли на Знаменскую площадь. Высоко в небе метался зайчик прожектора. Этот таинственный огонек над необъятным, пустынным городом еще больше усиливал беспокойство. Гулкие и тревожные шаги Егора нарушали тишину улиц. Когда мы очутились у наших ворот, сердце мое сжалось от боли. Мы напрасно стучали. Три года жил я этой минутой возвращения, но всегда она представлялась мне совсем иной, чем сейчас. Я думал, что мы пройдем мимо нашего дома под музыку и соседи, завидев меня, побегут к моей матери, она бросится вниз по лестнице навстречу сыну... Эти мечты были позаимствованы из картин, из книг. Мы же, как воры, не могли попасть в глухо запертый невзрачный дом на Полтавской улице, неподалеку от вокзала. Егор рассердился и стукнул прикладом о калитку. Тогда из-за ворот мы услышали испуганный голос:

— Кто там?

— Свои... Солдаты! — басом ответил Петров. — Или ты откроешь, или мы тебе высадим ворота!

— А почему свои? — сказал уже другой голос, более молодой и нахальный.

— С третьего номера... — заторопился я, проговаривая все сразу. — Вернулся с фронта...

За воротами люди посоветовались. Наконец мы услышали скрип замка. Я вспомнил этот звук. Калитка открылась не совсем... Она была на цепи... Я увидел нашего домовладельца. Он старался рассмотреть незнакомого солдата.

— Здравствуйте, Семен Семенович...— сказал я.

Я назвал себя, старик ахнул и снял цепочку. Мы очутились в подворотне. Рядом со стариком стоял мальчишка в драповом пальто и в студенческой фуражке. За плечом у него болталось двуствольное ружье.

— Вы что же, на уток собрались или на зайцев? — насмешливо спросил Егор.

Студентик сообщил, что они здесь караулят по приказу комитета спасения родины и революции.

— Да разве революцию спасают под воротами? Что это за комитет?

— В городской думе, — ответил студентик.

— Ах, вот почему весь город на запоре... Нашлись спасатели! Народ обманывают... — пренебрежительно оборвал его Егор. — Эх ты... головка ловка! На голове просвещение, а в головке тьма.

Мать согрела нам чаю, подала еды. Егор чувствовал себя прекрасно. Похоже было, что он давно дожидался этого приезда в Петроград. С азартом и увлечением он рассказывал о наших фронтовых делах.

— Наступили торжественные времена, мамаша, — говорил он. — Ленин — народный человек, корень наш... И произрастет дерево, и зацвести должно... Вот ты жалуешься, мамаша, на разруху... А мы, солдаты фронта, рады тому...

Он не успел кончить фразы, как вздрогнуло и даже запыло оконное стекло.

— Восьмидюймовая... — прислушавшись, пробормотал Егор.

Мать перекрестилась.

— Большевики... Восстание у них сегодня.

— Сегодня? То-то, я думаю... Помнишь, комиссар какой-

то на вокзале собирал солдат... Я сразу почувствовал, будто что-то началось. Да ты меня заторопил: «Домой, домой!». Вот тебе и домой... А там уж начали! Конечно, с вокзалов начали. А мы домой... Вот дела! Эх, парень, сбил ты меня... Значит, Ленин здесь! А ты говоришь — скрылся.

Егор побледнел и с укоризной посмотрел на меня. Потом, сомкнув брови, он встал, отпихнул от себя табуретку.

— Довольно возились тут с чаями... Пойдем! — приказал он мне.

Мать испугалась:

— Куда же вы, Егор Петрович?

— На улицу! За тем ехали!

Мне очень не хотелось оставлять тепло, свет...

— Город покажешь, — глухо проворчал Егор.

Очевидно, он понял, о чем я думал...

Я выбежал из комнаты, мать кинулась за мной. Егор неодобрительно посмотрел на нас обоих. Потом, войдя вслед за нами в кухню, он дотронулся до моего плеча и подтолкнул меня к матери:

— Все-таки одна ведь на всю жизнь... Простись...

В темноте на Старом Невском мимо нас шмыгнул какой-то солдат. Егор ловко схватил его за плечо:

— Постой, товарищ... Какого гарнизона?

— Петроградского... Из третьего Финляндского полка.— Парень поправил папаху.

— Ты знаешь... где сейчас Ленин? — неожиданно спросил Егор, не выпуская парня из рук.

— Не... не знаю.

— Что это такое? Петроградский гарнизон — и ничего не знает!

— Я молодой еще... — оправдывался парень; он глядел на Егора изумленными глазами. — В Смольный поди... Делегаты наши в Смольном всю ночь будут. Там все известно...

Парень принялся объяснять, но Егору уже неинтересно было слушать... Он потянул меня, и мы зашагали дальше, оставив на перекрестке удивленного солдата. Егор часто снимал фуражку, вытирал пот, какие-то мысли томили его. Он требовал, чтобы я вел его самым кратчайшим путем.

Я не узнал площади у Смольного. Она превратилась в вооруженный лагерь. Грузовики привозили ящики с наганами. Прямо с грузовиков раздавались патроны и оружие красногвардейским отрядам. Баррикады из дров были сложены около Смольного. У главного входа стояли орудия. Кто-то тащил в коридор пулеметы. Броневики тарахтели под деревьями, наполняя воздух отработанным удушливым газом. Смольный в сизом холодном тумане напоминал ярко горящими окнами огромный корабль. Красногвардейцы сказали нам, что в Большом колонном зале идет Второй съезд Советов.

— И Ленин там? — тихо, даже заикнувшись от волнения, спросил Егор.

— Конечно, — коротко ответил рабочий в меховой шапке.

Грудь у него была опоясана пулеметной лентой крестнакрест. Нервные, быстрые глаза внимательно скдзьзили по Егору, но, успокоившись, он усмехнулся и сказал с какой-то особенной теплотой:

— Там батька... Работает... Но только здесь стоять нельзя, проходите, товарищи.

— Я пойду туда, — шепнул мне Егор.

Я попытался его отговорить:

— Тебя же не пустят!.. Видишь, караул у всех спрашивает пропуск.

— Нет, я пойду... Меня пропустят.

Кто бы мог удержать Егора? Какая сила?.. Он исчез, попросив меня ждать его полчаса...

— Стой там! — сказал он мне.

Я стоял больше часу у деревянного трактира «Хижина дяди Тома», на противоположной стороне огромной Смоль-

нинской площади. Сюда красногвардейцы и солдаты забежали согреться стаканом жидкого чая. Площадь была черна от людей и машин.

Петроград слушал отдаленные раскаты выстрелов. Я думал, что мне уже не встретить Егора. Но он, как всегда, появился внезапно. Расхлябанная машина вдруг заскрежетала, остановилась, обдав меня клубами черного густого дыма. Сверху, точно с темного неба, я услышал веселый голос Егора:

— Едем... Садись.

Чьи-то руки помогли мне взобраться. Грузовик дернулся. Я упал на кого-то... Нырять и качаясь, мы бешено неслись по улицам.

Егор крепко стиснул меня и, торжествуя, прокричал в ухо:

— Видел... Ленина видел!

Наш отряд был отправлен к Летнему саду. Здесь грузовик сбросил нас и опять умчался в темноту.

На берегу Лебяжьей канавки горели костры. Молчаливые, полуобнаженные деревья еще более подчеркивали необычайность этой звездной и почти безветренной ночи. Редкие тучи приклеивались к небу. Люди говорили шепотом и грели над огнем руки.

Мы посматривали вдаль, ожидая ординарца. Наш командир, опустив голову, спокойно похаживал в стороне от нас. Это не понравилось Егору. Он подозрительно следил за ним. Наконец, не вытерпев, задал ему какой-то вопрос. Тот ответил неохотно, односложно. Егор чиркнул спичкой.

— Ребята!..— крикнул он, осмотрев командира.— Это бывший человек!

Народ обступил их. Офицер испугался. Хриплым голосом он очень длинно и путано пытался объяснить, что в эту ночь ему хотелось своей кровью искупить все грехи перед народом.

— Какие грехи?—Егор неодобрительно крикнул.—О ка-



ких грехах мы будем говорить? Расквакался, что старая баба! Ты лучше объясни, почему мы здесь сидим и ждем у моря погоды... Что мы пришли, площадь сторожить?

Красногвардейцы зашумели и увели офицера к Фонтанке. Мы двинулись к пыльному голому Марсову полю. Маленький бронзовый Суворов глядел на север. Мимо нас, пересекая огромнейшую площадь, проскакали галопом две батареи.

— Константиновское училище отступает...— сказал кто-то.

Мы увидели только спины ездových-юнкеров.

Егор находился в голове отряда. Мы поравнялись с длинным, строгим зданием Павловских казарм. Лепные орлы, раскинув крылья, приготовились лететь с фронтона. По пустым и черным окнам видно было, что в казармах не осталось ни души. Стрельба у Зимнего дворца усиливалась. На углу мерз часовой Павловского полка, кутаясь в короткую пехотную шинель. Мы прошли мимо него, невольно прибавив шагу. Штабной пикет направил нас в сторону Мойки. Везде густой цепью держались вооруженные рабочие и воинские батальоны. Было тесно. Несмотря на это, отряды в торжественном порядке ждали своего часа. Лица, камни, здания, вся эта ночь, нависшая над столицей, говорили о мужестве. Мы мечтали только об одном: чтобы нас скорее послали на штурм дворца. Перестрелка внезапно стихла. Мы ждали криков наступающего отряда. Их не было. Где-то рядом, почти за нашей спиной, захлопал пулемет. Тревога оказалась ложной. Это автомобиль перекатился через горбатый мост канала, стреляя мотором. Медленно пробравшись сквозь наши ряды, он задел нас лучом своей единственной фары.

Три человека прошли вдоль чугунных перил Мойки. Разглядывая нас, они подошли к автомобилю. Затем один из них, коренастый, в шинели и с трубкой в зубах, отделился от своих и пригласил к себе командиров всех отрядов. Я не

слыхал, что он сказал Егору, но вслед за этим Егор велел нам построиться. У Певческого моста он разделил нас на три цепи. Я остался в первой, стараясь не терять Егора из виду.

Александровская колонна подымалась в небо, как черная свеча.

В Зимнем, скрывавшем старое правительство, то загорались, то гасли огромные окна, как будто люди, спрятавшиеся за ними, увлеклись какой-то странной игрой.

К Дворцовой площади часто подъезжали автомобили революционного штаба. Выли сирены броневиков. Люди набрасывались на каждую машину, желая узнать все новости из Смольного. Под высокой красной аркой Главного штаба, за поворотом, на Морской улице пылали яркие костры, освещая мраморный фасад какого-то банка. Солдаты сидели около костров, сжавшись в кучу.

Из-за дворцовых баррикад, делая короткие передышки для перемены ленты, навстречу нам стреляли пулеметы. Но цель представлялась нам близкой. Мы шли на штурм. Каждый из нас надеялся живьем взять Керенского. Отовсюду доносились голоса наших отрядов. Они стягивались кольцом вокруг Зимнего. Площадь шумела, точно море. В Александровском саду кто-то зажег факел, озарив кружевные сучья лип. Может быть, это было сигналом, так как сейчас же ответила наша артиллерия с Петропавловской крепости. Егор приподнялся. Тень его под голубым прожектором на мгновение пересекла стену гвардейского штаба.

— С именем Ленина — вперед! — крикнул он.

Я не помню, как это было сказано... Но даже теперь мне вспоминается негромкий голос Егора, который я услышал среди тысяч людей, гудевших около нас, точно огромный улей.

Мы выскочили из-под арки.

Открылись ворота дворца. Юнкера выкатили два орудия. Егор отправил свои цепи навстречу им. Работая винтовкой, мы прорвались к воротам, опрокинув юнкеров, кинулись в подвал, на лестницу, думая оттуда проникнуть дальше, внутрь дворца, и тут наткнулись на огонь засады.

В подвальной тьме мы еле-еле различили друг друга. Часть бойцов осталась в подвале, часть последовала за Егором в коридор первого этажа, тускло освещенный электричеством. Там на полу вдоль окон на грязных матрацах лежали юнкерские роты. Пахло нечистотами и потом. Всюду валялись объедки, мусор, окурки, пустые бутылки из-под старого французского вина. Юнкера пограбили дворцовый погреб...

Перепугавшись красногвардейцев и солдат, юнкера бросили оружие. Другие решили удрать. Егор не преследовал их. Он ждал, когда к этому месту подтянется весь его отряд... Из группы юнкеров вышел молодой, изящный прапорщик. Угадав в Егоре командира, он отдал ему честь.

— Сопrotивление бессмысленно,— сказал он и предложил Егору проследовать вместе с ним в штаб Зимнего дворца.

— Зачем? — спросил Егор.

— В качестве парламентаря,— ответил прапорщик.— Мы сдадимся... Насколько мне известно, вы же не хотите зря лить человеческую кровь... Мы — тоже!

Прапорщик покраснел. Егор поверил его детскому волнению и голубым глазам, в которых можно было прочесть страх и надежду. Егор задумался только на минуту, внезапно его окружили юнкера, и так же внезапно ими была открыта стрельба из-за угла вдоль коридора. Мы кинулись к лестнице, отстреливаясь на ходу...

К утру бой стих. Советская власть победила. На булыжнике площади валялись расстрелянные патронные гильзы и разорванная пополам буханка хлеба. Арестованных министров повели по набережной в Петропавловскую крепость.

Мы хотели тут же рассчитаться с ними, но моряки нам не позволили. Часовые уже несли караул около дворца. В садике, за оградой с царскими вензелями, лежали убитые в эту ночь матросы, солдаты и красногвардейцы. Их было немного. Здесь я нашел Егора. Глаза широко раскрыты, брови высоко подняты. Я увидел взгляд чистый и спокойный...





**Зоя Воскресенская**

### **КЛЯТВА**

День был хоть и майский, но студеный, ветреный, как в октябре. Липы совсем уж приготовились сбросить румяные колпачки с туго закрученных листьев, да раздумали— холодно. Только акации в палисадниках бесстрашно распушивали на ветру свои зеленые перышки.

И мальчишкам холод был нипочем. Обжигая босые ноги о холодный булыжник, они беспокойной стайкой носились возле завода Михельсона, чего-то нетерпеливо ждали.

Серпуховская улица жила своей обычной жизнью: у пекарни вытянулась длинная очередь за хлебом, по мостовой лениво цокали ломовые лошади, высекая подковами искры, изредка позванивал трамвай и скрежетал тормозами на поворотах.

Только за высокой дощатой стеной завода было оживленно. Сквозь щели забора мальчишкам было видно, как рабочие спешно наводили порядок на заводском дворе, ровняли дорогу от проходной к Гранатному корпусу, посыпали ее зернистым желтым гравием.

Ребята и свою помощь предлагали, но старый рабочий Петр Никифорович, который всеми делами командовал, сердито крикнул:

— Марш по домам, простудитесь! Ишь, холодина какой.

Ребята ничего не успели сказать в оправдание, в это время грянул марш, и на Серпуховскую улицу из переулка вышел военный оркестр. Музыканты шагали посередине мостовой и дули в ярко начищенные медные трубы. За оркестром выплыли полковые знамена: новые, праздничные, красные, а за ними бесконечной вереницей шагали молодые красноармейцы. И если зажмуриться, то слышалось, что это шагает один очень большой и сильный человек, крепко на всю улицу выстукивая: раз-два, раз-два, раз-два!

Ребята мигом пристроились впереди оркестра и старались идти широким шагом, в такт музыке, и Кирюшка старался, хотя и был меньше всех.

Василий маршировал в составе Варшавского красного полка правофланговым; он сразу заприметил среди ребят своего меньшого братишку, узнал его по своему пиджаку, который болтался на Кирюшкиных плечах, как мешок.

Раскрылись окна в домах, остановились прохожие, затормозил трамвай, и все смотрели на красноармейцев, и улица сразу стала праздничной.

А ребята ни на кого не смотрели, они, как и красноармейцы, глядели вперед и браво вошли в широко распахнутые ворота и вместе с оркестром остановились у входа в Гранатный корпус. И никто их не прогонял, и сам Петр Никифорович понимал, что это будущие красноармейцы, которым тоже придется защищать Советскую республику.

Раз-два, раз-два, раз-два! — хрустит под ногами гравий,

и красноармейцы вступают на расчищенную рабочими дорожку, на которой еще свежи полосы от железных граблей. По бокам приветливо помахивают зелеными перышками акации, за ними живой стеной стоят рабочие: парад принимают, первый парад своей молодой, только что созданной Красной Армии.

Прошел Варшавский красный полк, Сводная караульная дружина, за ними в Гранатный корпус потянулись рабочие. Они заняли места вдоль стен, между станками, на подоконниках, предоставив середину огромного цеха своим дорогим гостям. Мальчишки вошли в цех вместе с оркестром.

Раздалась команда «вольно». Василий оглянулся. Кругом знакомые лица, добрые и взыскательные взгляды. Смотрят рабочие: худо одеты красноармейцы. Шинели пообтрепаны, в дырах, в опалинах, — видно, побывали в боях. Фуражки разные, на некоторых еще зимние папахи. Башмаки разбиты, но у всех ноги в новеньких зеленых обмотках.

Командиры, такие же юные, как и красноармейцы, в таких же новеньких обмотках, прохаживаются перед строем, чего-то ждут, волнуются.

Рабочие узнали Василия. На заводе Михельсона он работал вместе с отцом. Отца убили на фронте, а Василий вступил в Красную гвардию и в Октябрьские дни семнадцатого года штурмовал Зачатьевский монастырь. Монастырь для революции никакого интереса, конечно, не представлял, но в нем засел буржуйский штаб, и Василий вместе с дружинниками вышибал его оттуда.

Василий поискал глазами Зину. Вон она стоит на подоконнике, тербит руками кончик красной косынки. Губы сжаты, а глаза улыбаются, улыбаются ему, Василию. Кирюшка пристроился возле барабанщика и таращит глаза на брата, первый раз видит его в военной форме.

Неожиданно прозвучала команда:

— Смирно!

Шаркнули сотни ног и замерли.

И все мальчишки стали по команде «смирно» — руки по швам, спины выпрямили, животы втянули, вот только глаза не научились слушаться: скосились на боковую дверь.

Дверь распахнулась, и в цех вошло несколько человек.

На какой-то миг исчезли все звуки, и тут же взметнулось «Ура-а-а!» — не по приказу командиров, а по команде сердца: рабочие узнали Владимира Ильича Ленина. Он шагнул рядом со Свердловым, в темном пальто, в кепке, чуть сдвинутой набок. Поднялся вслед за Яковом Михайловичем на трибуну, сбитую из свежевыструганных досок, остановился, повернул лицо к людям и что-то сказал. Улыбнулся, отчего щеточка усов вздернулась кверху.

Никогда еще стены Гранатного цеха не слышали такого бурного ликования.

Владимир Ильич постоял минутку: вынул из кармана часы и выразительно постучал по крышке, посмотрел на командиров — чего же, мол, не наведете порядок.

А командиры, как мальчишки, не могут сдерживать буйной радости. Повернулись к строю и, все еще не в силах согнать с лица улыбку, весело скомандовали:

— Смир-но!

В огромном корпусе мигом стихло и посветлело. То ли оттого, что майское солнце пробило наконец студёные тучи, то ли от улыбок и блеска глаз.

Яков Михайлович раскрыл портфель, вынул листок бумаги и, поправив пальцами дужку пенсне, сильным голосом произнес:

— Сегодня у нас большой праздник, торжественный день, товарищи. Бойцы нашей юной, но уже проявившей себя в боях Красной Армии принимают торжественное обещание, дают клятву на верность народу. Я буду читать текст торжественного обещания, и каждый из вас повторит ее слова за мной.

Василий напрягся. Сейчас он должен принести социалистическую клятву перед лицом своих товарищей по заво-



ду, перед лицом самого Ленина. От волнения ему показалось, что у него пропал голос.

Яков Михайлович подошел к краю трибуны. Владимир Ильич встал рядом с ним.

Перед трибуной стайка мальчишек — запрокинули головы, во все глаза смотрят на Ленина. Владимир Ильич снял кепку, и Кирюшка снял, потом оглянулся на командиров — те взяли под козырек.

Кирюшка поспешно водворил на голову отцовскую солдатскую фуражку и крепко прижал оттопыренный большой палец к виску.

Яков Михайлович кашлянул и начал:

— Я, сын трудового народа, гражданин Советской республики, принимаю на себя звание воина рабочей и крестьянской армии...

— Я, сын трудового народа... — одним дыханием повторяли красноармейцы, и гулкие стены корпуса отозвались эхом.

— Я обязуюсь... в борьбе за Российскую Социалистическую республику, за дело социализма и братство всех народов не щадить ни своих сил, ни самой жизни...

Василий не спускал глаз с Ленина.

Владимир Ильич стоял неподвижно, чуть подавшись вперед; пальцы, сжимавшие кепку, еле заметно вздрагивали; глаза не таясь говорили: вам, молодым бойцам, предстоят тяжелые испытания, и партия вам верит, народ доверяет вам защиту своей свободы, своей победы.

И в ответ слышалось:

— Я обязуюсь по первому зову рабочего и крестьянского правительства выступить на защиту Советской республики...

Петр Никифорович смотрел на Владимира Ильича и думал: ты, Ильич, в юности дал клятву служить народу, выволить его из неволи. Когда ты дал эту клятву? Может быть, в тот день, когда пришла страшная весть о казни твоего

старшего брата, может быть, в камере Казанской тюрьмы, когда был арестован за то, что поднял голос против бесправия и произвола на Руси, а может быть, еще раньше, в симбирском саду, слушая рассказы отца о нужде и темноте народной? Никто не слышал этой клятвы, но все знают о ней по твоим делам, по подвигу твоей жизни. Ты сдержал ее, и я, старый рабочий, клянусь вместе с сынами нашими защищать нашу победу, нашу Советскую власть.

Прозвучали последние слова клятвы...

Наступила торжественная минута молчания, и командиры не спешили нарушить ее.

А после команды «Воль-но-о!» все смешалось. Рабочие подходили к красноармейцам, жали им руки, поздравляли. Красноармейцы прикалывали себе на грудь красные звезды.

— Что это за звезда? — спросила Зина, подойдя к Василию.

— Это Марсова звезда, что значит — военная, — ответил он, — а плуг и молот — видишь, в середине звезды — означают, что защищаем мы рабочих и крестьян всего мира, — с гордостью добавил Василий.

— Марсова звезда — по-нашему Марксова, — сказал Петр Никифорович. Глаза его были влажны.

— Поздравляю вас, товарищ, с принятием социалистической клятвы, — услышал Василий и поднял глаза.

Перед ним стоял Владимир Ильич. Василий отдал честь. Надо было сказать какие-то очень важные слова, но он смутился и не мог придумать ничего торжественного, а Владимир Ильич вдруг спросил:

— Вы женаты, товарищ?

Василий окончательно смешался и бросил взгляд на Зину.

— Нет еще, Владимир Ильич.

— А невеста есть?

Василий стал красный, как кумач.

— Невеста есть.

И Кирюшка, стоявший рядом, понял, что о Зине говорит Василий, а она спряталась за чью-то спину и затеребила концы косынки.

— Не забудьте пригласить на свадьбу,— улыбнулся Владимир Ильич Зине.— У вас будет хорошая жена, верный товарищ,— сказал он Василию.— А вы, видно, фронтовик?— спросил Владимир Ильич другого красноармейца, бросив взгляд на его старую, выдавшую виды шинель.

— Так точно!— ответил боец, и широкая улыбка осветила его лицо.

— Ваша семья в деревне? Ждут вас, соскучились?

Владимир Ильич умел распознавать людей, хотя все они были в солдатских шинелях, и умел прочесть затаенные мысли.

— Так точно, в деревне. Собирался к ним ехать, да нельзя сейчас. Вот когда буржуев добьем, тогда и поеду.

— Да, врагов у нас много, и повоевать придется,— серьезно ответил Владимир Ильич и, протянув руку Петру Никифоровичу, спросил: — Ну, а вы отдыхать не собираетесь?

— Какой там отдых, Владимир Ильич! Теперь у нас есть армия, и ей нужно оружие. Будем работать изо всех сил.

Мальчишки, не отставая, ходили следом за Владимиром Ильичем, о чем-то перешептывались, их что-то сильно занимало.

Наконец, подталкиваемый ребятами, Кирюшка спросил:

— Вот мы хотим знать, с каких лет в Красную Армию принимают?

Взрослые на Кирюшку зашикали, зачем такое озорство, а Владимир Ильич дотронулся до солдатской фуражки мальчика, понял, что это отцовская фуражка и раз она на голове сына — значит, погиб отец, серьезно ответил:

— Ты обязательно будешь красноармейцем, настоящим защитником Советской страны. Правда?

— Правда! — ответил Кирюшка, подняв глаза на Владимира Ильича, и, встретив его по-дружески серьезный взгляд, повторил: — Правда!

Красноармейцы строились.

Рабочие встали по обе стороны живой стеной.

Грянул марш.

Владимир Ильич смотрел на проходящих мимо молодых, сияющих отвагой красноармейцев и думал о том, что у молодой Республики Советов есть крепкая, надежная защита.

И Кирюшке показалось, что большой и сильный человек зашагал еще крепче, и теперь его шаг слышен, наверно, по всей советской земле: раз-два, раз-два, раз-два!

Это было в субботу, в студеный день 11 мая 1918 года в Москве, на заводе Михельсона, носящем теперь имя Владимира Ильича.





**Александр Фадеев**

### **ПТАШКА**

Во время партизанской войны на Сучанском руднике был захвачен с динамитом рабочий Игнат Саенко, по прозвищу «Пташка». Он работал откатчиком в шахте № 1. Пташкой он был прозван за то, что мог подражать голосам всех птиц. Да и наружностью он смахивал на птицу — маленький, вихрастый, длинноносый и тонкошейй. Он был женат и имел двух детей, и старший его сынишка тоже умел подражать птицам.

\* Игната Саенко взяли ночью, разбудив всех соседей. И, когда его вели, его жена, сынишка и все соседи и дети соседей, любившие Пташку за то, что он пел, как птица, высыпав на улицу, долго кричали и махали ему вслед.

Контрразведка помещалась над оврагом, в глухом дворе, обнесенном со всех сторон высоким забором. Когда-то там помещался сеной двор. Пташку впахнули в амбар и заперли на замок. В этом пустом и темном амбаре он, страдая от отсутствия табака, просидел до самого рассвета.

С того момента, как динамит был обнаружен у него под половицей, Пташка знал, что ему больше не жить на свете. Правда, его участие в деле только и состояло в том, что он, согласившись на уговоры товарищей, предоставил им свою квартиру для хранения динамита. Но мысль о том, что он мог бы облегчить свою судьбу, если бы выдал главных виновников предприятия, не только не приходила, но и не могла прийти ему в голову. Она была так же неестественна для него, как неестественна была бы для него мысль о том, что можно облегчить свою судьбу, если начать питаться человеческим мясом.

Весь остаток ночи он не то чтобы набирался сил, чтобы не проговориться,— таких сил, которые заставили бы его проговориться, и на свете не было,— а просто обдумывал, как ему лучше соврать, чтобы укрыть товарищей и выгородить себя. А еще он думал о том, что будет с детьми, когда его убьют, и жалел жену. «Навряд ли кто возьмет ее теперь за себя, с двумя ребятами, косую»,— думал Пташка.

На рассвете пришли взявший его ночью унтер, большой мужик с черной бородой, росшей более в толщину, чем вширь, и солдат с ружьем, тоже рослый, но рыжий, желтолицый... Они отвели Пташку на допрос.

Пташка увидел за столом офицера со старообразным лицом и, хотя он его никогда не видел, догадался, что это главный контрразведчик Маркевич (кто ж на руднике не знал Маркевича?). Ему стало страшно. Но, пока Маркевич рас-

спрашивал его имя, фамилию, губернию, вероисповедание, Пташка справился с собой. Маркевич спросил его, где он достал столько динамита и зачем. Пташка сказал, что крал его по частям, чтобы глушить рыбу.

— Рыбки, значит, захотелось? — нехорошо улыбнувшись, спросил Маркевич.

— Двое ребят у меня, жалование не платят, живем бедно, сами понимаете, — сказал Пташка и тоже позволил себе чуть улыбнуться.

— Видимо, он рыбную торговлю хотел открыть? — сказал Маркевич, подмигнув сидящему в углу на табурете унтеру. — Полпуда? А?..

Пташка сказал, что он правда хотел продавать рыбу инженерам и конторщикам, чтобы немного подработать.

— А зачем третьего дня заходил к тебе Терентий Соколов? — спросил Маркевич, в упор глядя на Пташку круглыми желтоватыми глазами, страшными тем, что они ничего не выражали.

«Откуда он...» — подумал было Пташка, но тут же сделал удивленное лицо, даже не очень удивленное, а такое, как надо, и сказал:

— Терентий Соколов? Да я и не знаю такого.

— А что, если я его приведу сейчас и он при тебе все расскажет?

— Не знаю, кто он и что он мыслит сказать, — пожав плечами, ответил Пташка: он знал, что Маркевич не может привести Терентия Соколова, который вчера прислал жене письмо из Перятина.

— Слушай, — таким тоном, словно он желал помочь Пташке, сказал Маркевич, — Соколов признался в том, что на квартире твоей — передаточный пункт, откуда динамит переправляют к красным. Я знаю, тебя в это дело зря запутали. Если назовешь, кто тебя запутал, я тебя отпущу. А не назовешь...

— Я, ваше благородие, служил на царской службе, я

всю германскую войну прошел,— проникновенно сказал Пташка,— а с красными дела не имел и не могу иметь. А сознаю я то преступление, что я тот динамит покрал для глушения рыбы по великой бедности. И, коли должен я за то идти под суд, пусть будет на то ваша воля.

Маркевич вразвалку обошел вокруг стола и, постояв против Пташки и посвистав немного, изо всей силы ударил его кулаком в лицо. Пташка отлетел к стене и, прижавшись к ней спиной, изумленно и гневно посмотрел на Маркевича; из носа у Пташки потекла кровь.

Маркевич, подскочив к нему, тычком стал бить его кулаками в лицо, раз за разом, так что Пташка все время стучался затылком о стену. Пташка ничего не успевал сказать, а Маркевич тоже ничего не говорил, а только бил его кулаком в лицо, пока у Пташки не помутилось в голове и он не сполз по стене на пол.

Унтер и солдат подхватили Пташку под руки и, пиная его плечами и коленями, отволокли в амбар.

Пташка долго лежал в углу, обтирая подолом рубахи горящее, опухшее лицо, сморкаясь кровью и тяжело вздыхая. Он думал о том, что он теперь пропал, о том, что улики против него все-таки нет, и это немного подбадривало его. Потом ему захотелось покурить и поесть, но никто не шел к нему. Со двора не доносилось никаких звуков. Он был отрезан от всего мира, ему неоткуда было ждать помощи и некому было пожаловаться. Он подложил руку под голову и незаметно уснул.

Проснулся он от звуков открываемого замка. Дверь распахнулась, и вместе с солнечным светом и запахами весны в амбар вошли Маркевич и унтер. Чернобородый унтер с ключами в руке остановился у распахнутой двери, а Маркевич подошел к Пташке, с полу смотрившему на него настоженными, птичьими глазами.

— Что, не надумал еще?— сказал Маркевич.— Встать!— взвизгнул он вдруг и сапогом ударил Пташку в живот.



Пташка вскочил, одной рукой поджав живот, а другой пытаясь заслониться от Маркевича.

— Говори, кто носил тебе динамит? Убью!..

Маркевич выхватил наган и, брызжа слюной, наступал на Пташку.

— Убейте меня, — детским голосом закричал Пташка, — а я не знаю, чего вы от меня хотите!..

— Взять его! — сказал Маркевич.

Унтер крикнул со двора солдата. Через пробрызнувший молодой травкой двор Пташку подвели к длинному погребу с земляной, прорастающей бурьяном крышей с деревянными отдушинами и зачем-то железной трубой посредине.

— Куда вы ведете меня? — спросил Пташка бледнея.

Никто не ответил ему. Маркевич, повозившись с замком, открыл дверь. Из погреба дохнуло сыростью и плесенью. Пташку сбросили по ступенькам, он упал возле каких-то бочек, едва не ударившись головой о стену из стоячих заплесневевших бревен.

В то время, когда спустившиеся в погреб унтер и солдат держали обмякшего и притихшего Пташку, Маркевич засветил фонарь, отпер вторую дверь и вошел в глубь погреба. Пташку ввели вслед за ним в сырое, лишенное окон, затхлое помещение, в котором сквозь запахи погреба проступал тошнотный трупный запах.

В противоположном конце помещения было ограничено такой же стеной из стоячих бревен, а там видна была еще одна дверь, на замке. Посредине помещения стоял топчан, в углу — кузнечный горн, сложенный из камней, с нависшим над ним темным мехом. Какие-то обручи были вделаны в боковые стены, веревки свисали с потолка.

Маркевич запер дверь на засов и подошел к Пташке.

— Будешь говорить, нет? — схватив Пташку, которого солдат и унтер не выпускали из рук, за грудь, сквозь зубы сказал Маркевич.

— За что вы мучаете меня? Вы лучше убейте меня,— тихо и очень серьезно сказал ему Пташка.

— Раздеть его! — скомандовал Маркевич.

— Что вы хотите делать? — в ужасе спросил Пташка, вырываясь из рук унтера и солдата.

Но они кинулись на извивающегося Пташку и, пиная его и вывертывая ему руки, сорвали с него одежду и голого повалили на топчан. Пташка почувствовал, как веревки обхватили его ноги, руки, шею. Его крепко прикрутили к топчану. Пташка не мог даже напрягаться телом — веревки начинали душить его.

Раздался свист шомпола, и первый удар прожег Пташку насквозь. Пташка изо всех сил дико закричал.

И с этого момента началась новая, страшная жизнь Пташки, слившаяся для него в не имеющую конца, сплошную ночь мучений, невысказанных с точки зрения человеческого разума и совести.

Пташку с перерывами пытали несколько суток, но сам он потерял всякое ощущение времени, потому что его больше не выпускали из этого темного погреба.

Все время было разделено для Пташки на отрезки, в один из которых терзали и мучили его тело, а в другие, выволоченный за дверь в тесную земляную каморку, он лежал в непроглядной, душной и сырой тьме, забывшись сном или лихорадочно перебирая в памяти обрывки прежней своей жизни.

Иногда у него наступали мгновения небывалого просветления, какие-то болезненные вспышки в мозгу, когда казалось, что вот-вот он сможет понять и соединить в своем сознании всю свою жизнь и все, что с ним происходит сейчас. Но в тот самый момент, когда это должно было открыться ему, страшное лицо Маркевича, расстегнутый ворот рубахи унтера, откуда выглядывала его потная волосатая грудь и шнурок от нательного крестика, вспышки огня над горном и шуршание меха, хруст собственных костей и запах собст-

венной крови и паленого мяса все заслоняли перед Пташкой.

Тело Пташки становилось все менее чувствительным к боли, и, для того чтобы высечь из этого уже не похожего на человеческое тело новую искру страдания, изобретались всё новые и новые пытки. Но Пташка уже больше не кричал, а только повторял одну фразу, все время одну и ту же фразу: «Убейте меня, я не виноват...»

Однажды, в то время, когда мучили Пташку, в погребе, как тень, появилась маленькая белая женщина. Пташка, закованный в обручи у стены, не видел, как она вошла. Появление ее было так невозможно, что Пташке показалось — он бредит или сошел с ума. Но женщина села на топчан против Пташки и стала смотреть на него. Она сидела безмолвно, не шевелясь, глядя на то, как мучают Пташку, широко открытыми, пустыми голубыми глазами. И Пташка вдруг узнал ее — это была жена Маркевича, и понял, что это не видение, а живая женщина, и ужаснулся тому, что все, что происходит с ним, — это не сон и не плод больного ума, а все это правда.

И тогда все прошлое и настоящее в жизни Пташки вдруг осветилось резким и сильным светом мысли, самой большой и важной из всех, какие когда-либо приходили ему в голову.

Он вспомнил свою жену, никогда не знавшую ничего, кроме труда и лишений, вспомнил бледных своих детей в коросте, всю свою жизнь — ужасную жизнь рядового труженика, темного и грешного человека, в которой самым светлым переживанием было то, что он понимал души малых птиц, порхающих в поднебесье, и мог подражать им, и за это его любили дети. Как же могло случиться, чтобы люди, которым были открыты и доступны все блага и красоты мира — и теплые, удобные жилища, и сытная еда, и красивая одежда, и книги, и музыка, и цветы в садах, — чтобы эти люди смогли предать его, Пташку, этим невероятным мукам, невыносимым даже и среди зверей?

И Пташка понял, что люди эти пресытились всем и давно уже перестали быть людьми, что главное, чего не могли они теперь простить Пташке,— это как раз то, что он был человек среди них и знал великую цену всему созданному руками и разумом людей и посягал на блага и красоту мира и для себя, и для всех людей.

Пташка понял, что то человеческое, чем еще оборачивались к людям эти выродки, владевшие всеми благами земли,— что все это ложь и обман, а правда их была в том, что они теперь в темном погребке резали и жгли его тело, закованное в обручи у стены, и никакой другой правды у них больше не было и не могло быть.

И Пташке стало мучительно жаль того, что теперь, когда он узнал все это, он не мог уже попасть к живым людям, товарищам своим, и рассказать им о том, что открылось ему. Пташка боялся того, что его товарищи, живущие и борющиеся там, на земле, еще не понимают этого, и в решающий час расплаты сердца их могут растопиться жалостью, и они не будут беспощадны к этим выродкам, и выродки эти снова обманут их и задавят на земле все живое.

Распятый на стене Пташка глядел на кривляющуюся перед ним и что-то делающую с его телом фигурку Маркевича, с потным и бледным, иступленным лицом, на освещенную багровым светом горна съезжившуюся на топчане и смотрящую на Пташку женщину, похожую на маленького белого червяка, и Пташка чувствовал, как в груди его вырывает сила какого-то последнего освобождения.

— Что ты стараешься? Ты ничего не узнаешь от меня...— тихо, но совершенно ясно сказал Пташка.— Разве вы люди? — сказал он с великой силой презрения в голосе.— Вы не люди, вы даже не звери. Вы — выродки! Скоро задавят вас всех! — торжествующе сказал Пташка, и его распухшее, в язвах лицо с выжженными бровями и ресницами растянулось в страшной улыбке.

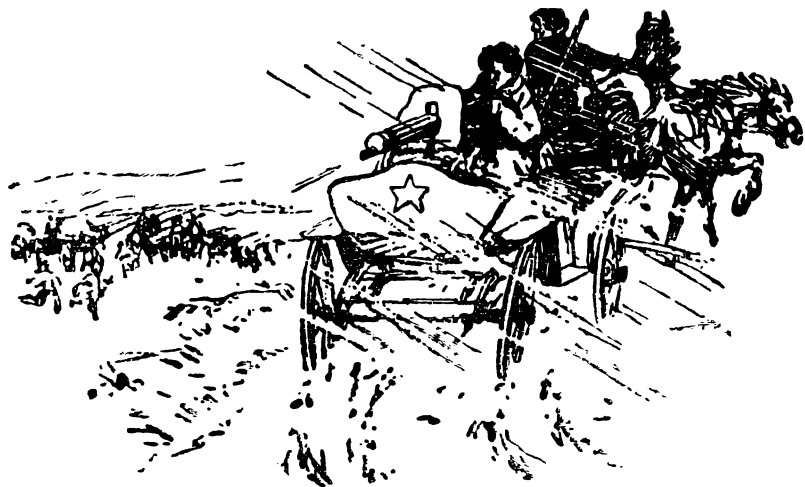
Маркевич, искажившись, ударил его щипцами по голове,

но Пташка, уже не чувствовавший боли, продолжал смотреть на него со страшной своей улыбкой. Тогда Маркевич, визжа, отбежал к горну, выхватил щипцами раскаленный болт и, подскочив к Пташке, с силой ткнул раскаленный болт сначала в один глаз Пташки, а потом в другой.

Словно расплавленное железо два раза прошло через тело Пташки, тело его два раза изогнулось, потом обвисло на обручах, и Пташка умер.

1935





**Гавриил Трополюский**

### **ЛЕГЕНДАРНАЯ БЫЛЬ**

Вечер опускался над Новой Калитвой. Заходящее солнце, казалось, чуть постояло над горизонтом, брызнуло огненно-красными отливами по величавому Дону и пошло на покой. В широкой сенокосной пойме послышалась песня. По дороге ехала подвода, оттуда и неся разудалый и стремительный напев:

Эх, тачанка-богучарка,  
Наша гордость и краса,  
Богучарская тачанка —  
Все четыре колеса.

Парень помахивал кнутом и во всю силу пел. Я не услышался: припев повторился точно так же. Поэт, написавший «Тачанку», совсем не писал такого. Есть в той известной

песне «тачанка-ростовчанка», «тачанка-киевлянка», «тачанка-полтавчанка», а такого нет. Видимо, поправка эта пришла из Богучарского района. Нельзя же в самом деле представить себе Южный фронт гражданской войны без богучарской тачанки. Вот и внесли поправку.

И сразу мысли ушли в прошлое, в то далекое прошлое, когда не было автомобилей, тракторов, не было хлеба. А был тиф... И шла гражданская война. Четыре мощные силы объединились тогда против молодой Советской республики: белогвардейцы, интервенты, голод и тиф. Москва и десять губерний — вот и вся территория, оставшаяся не занятой врагом. Колчак был под Вяткой, Юденич — под Петроградом, Деникин — под Тулой, Миллер — около Шенкурска, а голод и тиф — почти везде... Вот какие воспоминания может вызвать обычная для наших дней песня.

Очень трудно представить, что эти все тяжкие и в то же время славные годы были давно. Передо мною сидит бывший лихой и неистовый пулеметчик Богучарского полка Опенько Митрофан Федотович — поэтому и кажется, что все было недавно, так же недавно, как твоя собственная юность. Человеку, перевалившему за пятьдесят — шестьдесят, часто кажется, что молодым он был совсем, совсем недавно. Так уж устроен человек. И ничего не поделаешь.

Но хорошо тому, кто, вспомнив свою «недавнюю» молодость, не пожалеет ни о чем. Так, ни один богучарец, с кем ни поговори, не жалеет о прожитой жизни. Но обязательно каждый из них жалеет о том, что у них не оказалось своего Фурманова. А ведь когда генерал Деникин со своими хорошо вооруженными и обученными казачьими частями в панике уходил из Ростова, то он бросил приближенным такую фразу: «Если бы мы бились так, как богучарцы, то давно были бы в Москве». Враг относился к богучарцам не только с ненавистью и страхом, но и с уважением к их беспредельной храбрости.

И вот я сижу и слушаю Опенько Митрофана Федотовича.

Суровый выдался декабрь в восемнадцатом году. Метели вихрили по степям черноземья. Скрипели полозья, визжали обмерзшие колеса тачанок, упрямо продвигавшихся навстречу армии белых. Шли красноармейцы Богучарского полка, закрываясь воротниками или иной раз просто платками, повязанными вокруг шеи. К ночи буран рассвирепел. Он стегал лицо, слепил глаза. Снег набивался за воротник и, растаивая, стекал каплями за спину.

Полк выходил в бой. Всю эту массу разнообразно одетых идущих и едущих вооруженных людей можно было принять за гигантский табор.

Вдруг всё преобразилось. Как неведомый ток, пробежал по степи приказ командира полка Малаховского. Из уст в уста передавалось:

- В цепь...
- Занять станцию Евдаково...
- Без шума в цепь...
- Пулеметы по местам...

И полк растаял. Будто буран разметал людей по степи, свирепея все больше и сильнее. Казалось, уже нет никакого полка, а есть два твоих соседа по цепи, слева и справа. Но так только казалось. Каждый знал, что впереди Малаховский, что он никогда не бывает позади в таких случаях, а во время боя может появиться неожиданно там, где его никак не предполагали встретить.

А когда приблизились к окраинам Евдаково, полк ожил. Ударили орудия, цепь открыла огонь, застрочили пулеметы, ворвавшись к крайним хатам. Белые не видели противника. Разве ж могли они предположить, что в такую жуткую пургу возможно наступление? Все получилось настолько неожиданно, что один из двух полков белых спешно стал отходить без боя по направлению к деревне Голопузовке.

Тачанка Опенько ворвалась в Евдаково. Она разворачи-



валась и сыпала свинцом, чтобы снова тут же нырнуть в буран и стать невидимкой.

— Красные дьяволы! — неслоь откуда-то из метельной кромешной мути.

А на этот голос и скрип бегущих сапог тачанка поворачивалась задком и давала очередь-другую. Надо было для этого только два слова Опенько:

— Крохмалев! Дай!

И первый номер, Тихон Крохмалёв, «давал». При этом он не переставал прибавлять прибаутки со «среднепечатными» вставками. А что можно сделать с Крохмалевым, если он всегда веселый и танцор «мировой»? Впрочем, что можно сделать и тачанке, мечущейся в зверской пурге? Главное, если бы она была одна. Но слева строчит вторая, справа — третья, там — четвертая. По стрельбе белым ясно одно: цепь близко, где-то рядом с невидимками-тачанками, у крайних хат. А буран рвет и мечет. «Слепой» бой был в разгаре.

И вдруг... пулемет заело! Он отказал в тот момент, когда беляки, оправившись от первого смятения, стали отстреливаться. Они были совсем близко, в нескольких десятках шагов. Второй номер, Гордиенко Андрей, молчаливый и замкнутый парень, коротко сказал баском:

— Давай, Митрофан, лупанем их из винтовок. А?

Он как бы спрашивал командира расчета Опенько. Он готов был всегда молча и хладнокровно бить белых.

Но Опенько ответил:

— Ни пулемета не будет, ни тебя не будет. Выходить из боя! — приказал он. — Быстренько устроим и...

В эту секунду завизжали около уха пули. Белые нащупали...

— Гало-оп! — крикнул Опенько.

Кони сорвались с места. И помчалась «боевая колесница» вдоль переулка, туда, где не слышно выстрелов.

Так расчет тачанки Опенько оказался за селом, в лощинке, как раз в том месте, где несколько минут тому назад

спешно проследовал отходящий пехотный полк белых. Они отходили в степь длинной колонной. Видимо, план их был таков: «Вы пришли из бурана, а мы уйдем в буран. Мы хорошо одеты, сыты. Вы, если попробуете преследовать, померзнете».

Но не думал об этом Опенько. Важно было в те минуты одно: пулемет должен работать! Молча, понимая друг друга, Опенько и Гордиенко спешно устраняли дефект. А Крохмалев держал вожжи и разговаривал с лошадьми:

— Видите, какая неприятность вышла?.. То-то и оно, что неприятность... Лошади и те понимают.

А через некоторое время окликнул:

— Андрей!

— Что?

— У меня спина мокрая. А у тебя?

— Ну и черт с ней... Пройдет? — спросил он у Опенько по поводу какой-то детали пулемета.

— Конечно, пройдет! — ответил Крохмалев, приняв это по адресу своей спины.— Вот разобьем белых, подсушимся, подчистимся. Вшей не будет. Каждый день будем обедать и ужинать. Вот жизнь так жизнь! А? — Но никто ему не отвечал.— Женюсь. Обязательно тогда женюсь, будь я проклят.

Опенько молчал. Он сжал челюсти. Изредка он отрывался от работы, высовывался из-под брезента и пристально слушал пургу. И слышал: бой продолжался, белых теснили богучарцы в сторону, противоположную той, куда отступил их второй полк. Так два полка белых оказались оторванными друг от друга. Преследовать отходящий полк было некому: не было сил. Значит, сюда, к тачанке, своих ждать не приходится. Эти мысли пронеслись в голове Опенько. Он все понял, но сказал так:

— Черт возьми! Стоять в такое время! Что скажет Малаховский! Понимаешь, Тихон? — И он со злобой сплюнул, снова нырнув под брезент.

Крехмалев вздохнул и проговорил:

— Ясно: наших тут не жди, а белые могут прорваться. Плохо дело, дорогие мои лошадушки. Мокрые мы все — можем померзнуть, как та капуста на корню: был мягкий, будешь твердый... Митрофан!

— Что там еще? — откликнулся Опенько из-под брезента.

— Лошади-то потные. Если еще минут двадцать постойм — решка. На себе пулемет потащим. А гармонию Андрееву бросим тут.

— Я тебе «брошу»... по скулам за твою агитацию. — И сразу же мирно: — Сейчас... Почти готово.

— А может, выпрягу да погоняю их маленько? Пропадут ведь.

— Не смей! — крикнул раздраженно Опенько. — Ты только отошел с лошадьми, а он, беляк, тут как тут. Передегивай вожжами, давай плясать на месте.

— Это мы можем, если дозволено. А ну играй! — И он принялся орудовать вожжами. — Эхма! Такой тройки на земном шаре нету! Давай пляши!

А буран хлестал тачанку, одинокую, заброшенную в степи, оторванную от своих.

Только-только Опенько удовлетворенно крикнул, окончив возню с пулеметом, и вылез из-под брезента, как Крехмалев схватил винтовку и крикнул:

— Белые!

— Ра-азвернись! Приготовься! — скомандовал Опенько и сам приложился к пулемету. Он еще не видел ничего. Видеть мог только Тихон, обладавший кошачьим зрением.

Но вот из бурана вынырнула тройка. Теперь ее видит и Опенько. Он уже поправил по привычке шапку, сдвинув ее на затылок, чтобы не мешала. Но...

— Извиняюсь! — закричал радостно Тихон. — Как есть свои! Держись, Митрофан Федотыч! Сам Малаховский припожаловал.

Тройка вороных, запряженных в сани, с разбегу остановилась около тачанки.

— Опенько, ты?

— Так точно, товарищ Малаховский.

— Доложили — ты замолчал. Так и знал — нырнешь в лоштинку.

Здесь Малаховский знал каждый кустик, каждый ярк. Но как он проскочил сюда, вслед белым, понять было невозможно. Для этого надо было либо обогнуть фланг белых, либо пересечь их линию. Обогнуть он, конечно, не успел бы. Только впоследствии выяснилось. Он шагом въехал в расположение белых во время бурана, остановил какого-то солдата и спросил:

— Скажи-ка, браток, где штаб первого полка? Срочно нужен командир полка.

— Отошел на Голопузовку, ваше благородие!

— Как стоишь, скотина?! Смирно! Генерала не признал!

— Виноват, ваше превосходительство!

Тройка скрылась в метели, как провалилась сквозь землю.

И вот Малаховский наткнулся на тачанку. Он сидел в санях в расстегнутой бекеше защитного сукна. Богатырь с виду, он, казалось, не признавал ни зимы, ни бурана. А серая, в смушку, папаха не была даже надвинута на уши. Ему было жарко.

— Что случилось? — спросил он.

— Отказал пулемет, товарищ Малаховский.

— Готово?

— Готово.

— За мной!

И тройка помчала его в бешеной скачке в пургу. За тройкой — три кавалериста, из разведчиков. За кавалеристами — тачанка-сани, а за ними сорвалась и тачанка Опенько. Их было только одиннадцать человек: три — верхами, семь — при пулеметах и сам Малаховский.

— Это куда же мы теперь? — спросил Крохмалев.

— За Малаховским, — ответил Опенько.

— Понятно. Вижу: за Малаховским.

— А он куда? — спросил Гордиенко.

— Туда...

— И это понятно, — сказал Тихон с иронией. — Задача ясная: за Малаховским... А ты есть хочешь, Митрофан? — И, не дожидаясь ответа, сообщил: — Жрать хочется. Нам там поесть не дадут?

— Дадут, — ответил Опенько. — Горяченького, с огонька.

— Как это позволите понять? — притворялся Крохмалев.

— Ты что, не видишь? Полк белых-то отошел сюда. Оттуда — мы, а они — сюда.

— Приблизительно соображаю. Малаховский что-то задумал. А что, пока не пойму. Но, кажись, вскорости пойму.

— Веселый ты парень, Тихон, — угрюмо сказал Андрей. — С твоим характером всю землю можно пройти пешком.

— А мы ее на тачанке проедем, — уточнил Крохмалев и промурлыкал: — «Всю-то я вселенную проеду...»

Совсем неожиданно для своих подчиненных, вразрез их разговору, Опенько сказал:

— Так, ребята. Старик наш ненадежный. Часто капризничает.

«Старик» — это пулемет, накрытый брезентом.

— Спервоначалу-то он ничего, — резонно возразил Гордиенко, — а как в долгом бою, то стал того... Заменять надо.

— Ему уж сто лет с неделей... Так что, подпускать надо ближе. И спокойно. Главное, спокойно.

Буран хлопотал свирепым хозяином степи, с воем и ревом. Трое парней, одетых в крестьянские кожухи, прижавшись друг к другу, мчались вместе с бурей, туда, за Малаховским, что впереди. И они были частью бури.

Вдруг лошади неожиданно осадили и пошли шагом. Потом стали. Впереди, совсем близко, в нескольких шагах,

хутор. Малаховский выслал вперед кавалериста. Через несколько минут тот возвратился. В хуторе спокойно. Въехали и стали в затишек.

— В Голопузовку на разведку — двое! — приказал Малаховский двум кавалеристам. — Остальным покурить. Тихо, без шума.

Малаховский подошел к Опенько:

— Ну как, Митрофан, не замерз?

— Всё в порядке, — ответил тот. — Только вот у Крохмалева неладно: вода по спине бежит. И жениться хочет. — Все захохотали тихим, сдержанным смехом, а Опенько добавил: — И земной шар собирается объехать на тачанке.

Малаховский положил одну руку на плечо Опенько, другую на плечо Крохмалеву и сказал:

— И все это хорошо: и жениться и объехать земной шар. Это очень хорошо. Верь, Крохмалев, что объедешь. Главное, верить... А холод потерпите, ребята. Вот кончится война, и зацветет жизнь. Я ее вижу, эту жизнь. Хорошая будет она.

Девять человек стояли тесным кружком, и казалось, не было среди них командира полка, а был хороший старший товарищ, друг, тот самый товарищ, строгий и требовательный в бою, но простой и душевный на отдыхе. Таков Малаховский.

Буран выл между хатами и сараями. Хутор спал. А девять храбрых ожидали двух. Те двое вынырнули из метели так же неожиданно, как в нее и окунулись. Один из них доложил:

— Пехотный полк белых вышел из Голопузовки минут двадцать назад. Идут тихо. В хвосте кухня. Прикрытия нет.

Малаховский смотрел в бурю. Он будто что-то вспоминал или прикидывал в уме. Потом тихо, но твердо сказал:

— А ну, ребята, ко мне еще поближе. — И затем продолжал уже решительно, тоном приказа: — Догнать хвост. Всем стрелять непрерывно, не переставая, — сидеть на хвосте. Кавалеристам — с флангов хвоста и вдоль колонны. Бе-

лые попытаются занять оборону в балке, собьются в кучу. В тот момент одна тачанка остается на краю яра и молчит, ждет сигнала; кавалеристы со мной — в объезд, зайдём с другой стороны балки, в тыл. Я начинаю тремя выстрелами. Немедленно со мною — пулемет с другой стороны. А тебе, товарищ Опенько, надо... Тебе, дорогой, ворваться молча в балку, в самую гущу и... — Он совсем изменил тон и душевно продолжал: — Сам понимаешь — буран, паника. И еще имейте в виду: добрая половина полка — мобилизованные, полк сформирован неделю тому назад. Задание ясно?

— Ясно! — ответили все.

— За мной! — И Малаховский вскочил в сани.

Снова стремительная скачка наперегонки с ветром. Так же неожиданно остановились.

Выстрел! То Малаховский открыл огонь по «хвосту». Первая тачанка, вырвавшись, развернулась и застрочила по белым. Опенько мчался вперед правой стороной дороги. По приказу Малаховского первая тачанка замолчала. Опенько выскочил на дорогу, в нескольких метрах от хвоста колонны, и его «старик» заговорил. Белые ответили редким беспорядочным винтовочным огнем, так, что даже не слышно было свиста пуль: они стреляли без цели, в белый свет, ускоряя марш.

Малаховский подскакал к Опенько и крикнул:

— Прекратить огонь! Давай второй тачанке!

Так два пулемета, сменяя друг друга, «висели на хвосте» противника. А три кавалериста с флангов постреливали из бури то там, то тут. И полк свалился в балку.

— Стоять тут! — приказал Малаховский расчету первой тачанки. — Опенько, готовься! — и умчался в объезд, сопровождаемый кавалеристами.

В яру крики и гомон сливались с бураном. В этом месте был широкий тупой отрог балки — Малаховский это предвидел. Он объехал отрог на другую сторону и, подойдя вплотную к сгрудившимся белым, выстрелил три раза. Кавалери-

сты начали одновременно с ним. С другой стороны затараторил пулемет.

— Окружили! — дико прокричал кто-то в балке.

А с горы бешеным вихрем слетела в балку тачанка Опенько. Он уже видит врага слева и справа. Вот он уже внизу, в самой гуще.

— Стоп! — командует он тихо. — Веером! — и застрочил.

Разворачиваясь кругом, тачанка вертелась вьюном и осыпала белых. Завизжали пули во все стороны. В жутком буряне нельзя было врагу понять, откуда стреляют. Казалось, со всех сторон: снизу, сверху, с боков. Поднялась невообразимая свалка. И в этом месиве беспорядочной толпы — зычный голос Малаховского:

— Окружили! Бросай оружие! Сдавайсь!

— Сдавайсь! — кричали кавалеристы.

— Сдавайсь! — ревел медведем Андрей Гордиенко.

Сверху сыпал пулемет, отрезая отрог от балки. Опенько вертелся на дне балки. И вдруг... отказал пулемет!

— Сдавайсь! — гремел Малаховский.

— Старик! Старик! — почти плача, обращался юный Опенько к пулемету, как к живому. — Старик! Что же это ты? — И он с остервенением ударил по металлу, ударил до боли в кулаке. — Сдавайсь!!! — зарычал он в бурю и в упор выстрелил в подбегавшего к нему офицера.

Тачанка рванулась вверх, на край. И тут Опенько увидел: в метре от тачанки мелькнул пулемет, а около него, сбоку, лежал труп, уткнувшись в снег лицом.

— Давай к своей тачанке — помогайте им! — приказал он остальным двум. — Прощайте, ребята! — и... вывалился в снег на всем скаку.

— Стоп! — рявкнул Гордиенко.

Крохмалев кошкой прыгнул к Опенько:

— Митроша! Ранило?

— К своей тачанке... Ну! — зашипел он на Тихона.

Приказ есть приказ: тачанка взмыла вверх.



Белые толпой стали выбираться из отрога, отстреливаясь вкруговую.

«Где Опенько? Что с Опенько? — думал Малаховский, стреляя беспрерывно.— Уходят, а он молчит».

Опенько полз в рыхлом сугробе к пулемету противника. «Почему молчит пулемет? — думал он.— Наверно, расчет разбежался, а один, что лежит, убит наповал». Он толкнул в бок человека, лежавшего около пулемета. Тот не пошевелился. «Готов», — подумал Опенько.

— Ах вы сволочи! Опенько еще покажет... — проговорил он вслух, сжав зубы.

И застрочил. Застрочил в десяти метрах от противника. Застрочил в одну точку, перерезав поток отступающих из балки, как ножом.

— Сдавайсь! Сдавайсь!..

Кричали это паническое слово уже не только Малаховский, но и десятки других голосов — кричали белые.

Но что это? Опенько почувствовал, как лента пошла плавнее, уже не требовалось подправлять ее, прекращая для этого огонь. Оглянулся и увидел: тот «труп» в солдатской шинели и с закутанным в башлык лицом подавал ему ленту. Опенько выхватил пистолет...

— Земляк, земляк! — быстро заговорил «труп». — Не узнаешь? Сосед твой — Кузьма Бандуркин, из Подколодного. По голосу узнал, как ты ругнулся.

— Кузьма?!

— Я.

— Ладно. Подавай. Потом разберемся.

Пулемет сыпал вновь. Уже вдвоем они перетащили его в то место, где «перерезали» колонну, и теперь отсекли совсем часть полка, оставив в балке.

— Второй батальон! Прекратить огонь! — командовал Малаховский несуществующему батальону.

Он сам оказался где-то близко от Опенько и, сложив ладони рупором, кричал во весь голос:

— Я, командир Богучарского полка, приказываю пленным сложить оружие на левый склон балки! Слушай команду! Я, командир Богучарского полка, приказываю... — повторил он несколько раз.

Знали белые, что такое Малаховский. И вот он сам здесь. Значит, полк здесь.

— Слушай команду! Оружие на левый склон!

...Метель утихла. Брезжил рассвет. Близко, совсем под дулом пулемета, запорошенные снегом пленные складывали около Опенько винтовки, подтаскивали пулеметы, оставляли все это и спускались вниз, строились.

— Кузьма? — спросил Опенько, лежа у пулемета и не сводя глаз с подходящих вереницей пленных.

— А?

— Как же это ты попал к белым?

— Мобилизовали в «добровольческий полк». Пришли троим с винтовками и мобилизовали, прямо за обедом.

— И ты пошел?

— Пошел, — с горечью ответил Кузьма.

— Должен я тебя убить. Опозорил ты наше славное Подколенное.

— Теперь мне все одно. Только я не виноват, Митрофан. Я расскажу.

— А чего ж ты лежал в снегу?

— Притворился убитым. Или замерзну, думаю, или утеку к своим.

— К каким к своим?

— К вам. Я бы все одно утек.

Они лежали в снегу, коченея и стуча зубами, пока последний пленный не положил винтовки. Стало видно все вокруг. В балке было уже тихо. Пленные, построившись в три шеренги, около которых «хлопотал» Малаховский, увидели перед собой... только два пулемета, направленных на них.

— Кузьма? — снова обратился Опенько.

— А?

— У тебя еда есть какая-нибудь?

— Хлеб есть, мясо вареное есть.

— Дай. Больше суток не ел. И взять негде.

Крохмалев и Гордиенко спустились вниз на своей тачанке. Они увидели Опенько: он сидел рядом с беляком и ел мясо с хлебом. Жевал он медленно, через силу. Лицо его было черно, щеки ввалились, волосы выбились на лоб и прилипли. Такая ночь стоила нескольких месяцев, а может быть, и нескольких лет.

— А этот «башлык» чего тут? — злобно спросил Гордиенко, бросив взгляд на Кузьму Бандуркина. — Чего не строишься, чучело? Ну!..

За Кузьму ответил Опенько чуть охрипшим, простуженным голосом:

— Пойдешь в мою тачанку, Кузьма. — Он разломил хлеб на две части и отдал Тихону и Андрею. — Ешьте, ребята... Спать хочется. — И еще добавил: — Он нашу правду почуял. Не трожьте его.

...До тысячи человек пленных, четыре пушки, десять пулеметов, сотни винтовок, весь обоз с имуществом полка — таков был результат ночной легендарной операции. Большинство пленных снова вооружили, и Малаховский повел их в обход, чтобы ударить казакам с тыла. Они пошли за Малаховским, а среди того же дня были уже в бою. Этот тыловой удар, неожиданный и стремительный, решил исход боя. Так начался разгром наступавшей Южной армии генерала Иванова и левого фланга Донской армии генерала Краснова. Богучарский полк вышел в глубокий тыл противника. Белые в беспорядке отступали.

...А вечером Опенько вошел в хату какого-то села (он не помнит какого), сел около печки на пол и уснул. Гордиенко осторожно перенес его на кровать, лег с ним рядом. На полу, на соломе, спал Крохмалев. Он лежал навзничь, положив забинтованную руку на грудь, волосы откинулись назад, пересохшие губы что-то шептали: он бредил. Кузьма Бандур-

кин управил лошадей, вошел в хату и лег рядом с Крохмалевым. Уснул он не сразу: слишком много потрясений произошло за последние дни. Наконец уснул и он. В хате стало тихо. Только с печки слышался шепот: там сидела, свесив ноги, пожилая женщина, смотрела на спящих и, утирая фартуком глаза, шептала:

— Молоденькие-то все какие... Дай вам бог счастья...

Двадцать два года было в то время Опенько. Горячая и славная юность!





**Арнольд Гайдар**

## **ЛЕВКА ДЕМЧЕНКО**

### **Случай первый**

Был этот Демченко, в сущности, неплохим красноармейцем. И в разведку часто хаживал, и в секреты становиться вызывался. Только был этот Демченко вроде как с фокусом. Со всеми ничего, а с ним обязательно уж что-нибудь да случится: то от своих отстанет, то заплутается, то вдруг исчезнет на день, на два и, когда ребята по нем и поминки-то справлять кончат, вывернется вдруг опять и, хохоча отчаян-

но, бросит наземь замок от петлюровского пулемета или еще что-либо, рассказывая при этом невероятные истории о своих похождениях. И поверить было ему трудно, и не поверить никак нельзя. Другого бы на его месте давно орденом наградили, а Левку нет. Да и невозможно наградить, потому что все поступки его были какие-то шальные — вроде как для озорства. Однажды, будучи в дозоре, наткнулся он на два ящика патронов, брошенных белыми, пробовал их поднять — тяжело. Тогда перетянул их ремнями, навьючил на пасшуюся рядом корову, так и доставил патроны в заставу.

Однако, нечего скрывать, любили его, негодяя, и красноармейцы и командиры, потому что парень он был веселый, бодрый. В дождь ли, в холод ли идет себе насвистывает. А когда на привале танцевать начнет — так из соседних батальонов прибегают смотреть.

Было это дело в Волынской губернии. В 1919, беспокойном году. Бродили тогда банды по Украине неисчислимыми табунами. И столько было банд, что если перечислить все, то и целой тетради не хватит. Был погружен наш отряд в вагоны и отправился через Коростень к Новгород-Волынску. Едем мы потихоньку: впереди путь разобран. Починим — продвигаемся дальше, а в это время позади разберут. Вернемся, починим — и опять вперед, а там уже опять разобрано. Так и мотались взад и вперед. Поехали мы как-то до станции Яблоновка. Маленькая станция в лесу, ни живой души. Ну, остановились. Ребята разбрелись, костры разложили, утренний чай кипятят, картошку варят. И никто внимания не обратил, что закинул Левка карабин через плечо и исчез куда-то.

Идет Левка по лесной тропинке и думает: «В прошлый раз, как мы сюда приезжали, неподалеку на мельнице мельника захватили. Был тот мельник наипервейший бандит. Сын же его — здоровенный мужик — убежал тогда. Надо подобраться, не дома ли он сейчас?»

Прошел Левка с полверсты, видит — выглядывает из-за листвы крыша хутора. Ну, ясное дело, спрятался Левка за ветки и наблюдает, нет ли чего подозрительного: не ржут ли бандитские кони? Не звякают ли петлюровские обрезы?.. Нет, ничего, только жирные гуси, греясь на солнце, плавают в болотце да кричит пересвистами болотная птица кулик. Подошел Левка и винтовку наготове держит. Заглянул в окошко — никого. Только вдруг выходит из избы старуха мельничиха. Нос крючком, брови конской гривой. Ажно остолбенел Левка от ее наружности. И говорит ему эта хищная старуха ласковым голосом:

— Заходи в горницу, солдатик, может, закусишь чего.

Идет Левка сенцами, а старуха за ним. И видит Левка слева дверцу—в чулан, должно быть. Распахнул он и взглянул на всякий случай — не спрятался ли там кто. Не успел Левка присмотреться как следует, как толкнула его со всей силы в спину старуха и захлопнула за ним с торжествующим смехом дверь.

Поднявшись, прыгнул назад Левка, рванул скобку — поздно. «Ну,— думает он,— пропал!» Кругом никого, один в бандитском гнезде, а старуха уже неприятным голосом какого-то не то Гаврилу, не то Вавилу зовет. Набегут бандиты — конец.

И только было начал настраиваться Левка на панихидный лад, как вдруг рассмеялся весело и подумал про себя: «Ничего у тебя, мамаша, с этим делом не выйдет».

Задвинул он засов со своей стороны. Глядит — кругом мешки навалены, стены толстые, в бревнах вместо окон щели вырублены. Скоро сюда не доберешься. Скрутил он тогда сигарку, закурил. Потом выставил винтовку в щель и начал спокойно садить выстрел за выстрелом, в солнце, в луну, в звезды и прочие небесные планеты.

Слышит он, что бегут уже откуда-то бандиты, и думает, затягиваясь махоркой: «Бегите, пес вас заешь! А наши-то стрельбу сейчас услышат — вмиг заинтересуются».

Так оно и вышло. Сунулся кто-то дверь ломать, Левка через дверь два раза ахнул. Стали через стены в Левку стрелять, а он за мешки с мукой забрался и лежит лучше, чем в окопе. Так не прошло и двадцати минут, как вылетает вихрем из-за кустов взводный Чубатов со своими ребятами. И пошла между ними схватка.

Уже когда окончилась перестрелка и заняли красные хутор, орет из чулана Левка:

— Эй, отоприте!

Подивились ребята:

— Чей это знакомый голос из чулана гукает?

Отперли и глаза вытаращили:

— Ты как здесь очутился?

Рассказал Левка, как его баба одурила, — ребята в хохот.

Но три наряда вне очереди ротный дал — не ходи куда не надо, без спроса. Засвистел Левка, улыбнулся и полез на крышу наблюдателем.

### Случай второй

Однажды, перед тем как выступить в поход к деревне Огнище, сказал Левке станционный милиционер:

— Рядом с Огнищами деревушка есть, Капищами прозывается. Стоит она совсем близко, сажен двести, так что огороды сходятся. Ну так вот, сам я оттуда, домишка самый крайний. Сейчас в нем никого нет. В подполье, в углу, за бараклом разным, шашку я спрятал, как из дому уходил. Хорошая шашка, казачья, и темляк на ней с серебряной бахромой.

И запала Левке в голову эта шашка, так что впутался из-за нее дурак в такое дело, что и сейчас вспоминать жуть берет.

Дошли мы с отрядом до Огнища. А место такое гиблое, за каждой рощицей враг хоронится, в каждой меже бандит



прячется. На улицах пусто, как после холеры, а гибелью каждый куст, каждый стог сена дышит.

Пока отряд то да се, подводы набирал, халупы осматривал, Левка, будь ему неладно, смылся. Прошел мимо огнищенских огородов, попал на горку в Капище. Кругом тишь смертная. Трубы у печей дымят, горшки на загнетках горячие, а в халупах ни души. Кто победней — давно в Красную ушел, кто побогаче — обрез за спину да в лога попрятался.

Идет Левка. Карабин наготове, озирается. Нашел крайнюю избушку, отворотил доски от двери и очутился в горнице. А там пыль, прохлада, видно, что давно хозяевами брошена хатенка. Нашел он кольцо от подпола и дернул его. Внизу темно, гнилко, сырость, смертью пахнет. Поморщился Левка, но полез.

Около часа, должно быть, копался, пока нашел шашку. Глядит и ругается. Наврал безбожно милиционер — ничего в шашке замечательного: ножны с боков пообтерты, а темляк тусклый и бахрама наполовину повыдернута. Выругался Левка, но все же забрал находку и вылез на улицу.

Прошел Левка шагов с десятков — остановился. И холодно что-то стало Левке, несмотря на то что пекло солнце беспощадной жарою июльского неба. Глядит Левка и видит как на ладони внизу деревушку Огнище, поля несжатые, болотца в осоке, рощи, ручейки. Все это прекрасно видит Левка — своего отряда не видит. Как провалился отряд.

Вздрогнул Левка и оглянулся. А оттого ему жутко стало, что если ушел отряд, то оживут сейчас кусты, зашелестит листва, заколышется несжатая рожь, и корявые обрезы, высунувшись отовсюду, принесут смерть одинокому, оставшему от отряда красноармейцу. Перебежал улицу, выбрался к соломенным клуням. Нет никого. Никто еще не успел заметить Левку. Смотрит он и видит, что от горизонта ровно как бы блохи скачут. И понял тогда Левка — конница петлюровская прямо сюда идет. Либо батьки Соколовского, либо атамана Струка — и так и этак плохо!

Забежал он в одну клуню, а та чуть не до крыши соломенной да сеном набита. Забрался он на самый верх, дополз до угла и стал сено раскапывать. Раскапывает, а сам все ниже опускается. Так докопался до самого низа. Сверху его сеном запорошило, через стены плетеной стенки воздух проходит, и даже видно немного, но только на зады.

И что бы вы подумали? Другого на его месте удар бы хватил: один-одинешенек, в деревне топот — банда понаехала. А Левка сел, кусок сала из сумки вытащил и жрет, а сам думает: «Здесь меня не найдут, а ночью, если умно действовать, выберусь». Приладил под голову вещевого мешок и заснул, благо перед этим три ночи покоя не было.

Просыпается — ночь. В щелку звезды видны и луна. Звезды еще так-сяк, а луна уже вовсе некстати. Выбрался он наверх и пополз на четвереньках. Вдруг слышит рядом разговор. Насторожился — пост в десяти шагах. Лег тогда Левка плашмя — в одной руке карабинка, в другой шашка — и пополз, как ящер. Сожмет левую ногу, выдвинет правую руку с карабином, потом бесшумно выпрямится. Так почти рядом прополз мимо поста. Все бы хорошо, только вдруг чувствует, что под животом хлябь пошла. И так заполз он в болото. Кругом тина — грязь, вода по горло подходит, лягушки глотку раздирают. И вперед ползти никак лежа невозможно, и стоя идти нельзя — сразу с поста заметят и срежут. Луна светит, как для праздника, петлюровцы всего в пятнадцати шагах, и никуда никак не сунешься. Что делать? Подумал тогда Левка, высунулся осторожно из воды, снял с пояса бомбу, нацелился и что было силы метнул ее вверх, через головы петлюровского караула. Упала бомба далеко с другой стороны, так ахнуло по кустам, что только клочья в небо полетели. Петлюровцы повскакали, бросились на взрыв, стрельбу открыли в другую сторону, а Левка поднялся и по болоту — ходу. Добрался до суха, пополз по ржи и завихлял, закурился, только его и видели.

К рассвету до станции добрел. Ребята ажно рты поразизи-

нули — опять жив, черт! Ротный выслушал его рассказ, опять наряды дал: не шатайся куда не надо, без толку; но все же потом, когда ушел Левка, сказал ротный ребятам:

— Дури у него в башке много, а находчивость есть. Если его на курсы отдать да вышколить хорошенько, хороший из него боец получиться может, с инициативой.

А шашку Левка кашевару отдал, нехай в обозе таскается. И то правда. Ну на что пехотинцу шашка? Своей ноши мало, что ли?

### Случай третий

Было это уже под Киевом. Шли тогда горячие бои, и отбивались отчаянно наши части зараз и от петлюровцев, и от деникинцев. Стояла наша рота в прикрытии артиллерии, в неглубоком тылу. А рядом к грузовику на веревке наблюдательный воздушный шар был подвешен. То ли газ через оболочку стал проходить, то ли щель какая в шаре образовалась, а только стал он потихоньку спускаться, и как раз в самую нужную минуту.

Говорит тогда командир:

— А ну-ка, ребята, кто ростом поменьше? Хотя бы ты, Демченко, залезай в корзину. Да винтовку-то брось, может, он тебя подымет. Еще бы хоть пять минут продержаться — понаблюдать, что там за холмами делается.

Левка раз-раз — и уже в корзине. Поднялся опять шар. Но едва успел Левка сверху по телефону несколько фраз сказать, как вдруг загудел, захрипел воздух, и разорвался близко снаряд. Потом другой, еще ближе. Видят снизу, что дело плохо. Стали на вал веревку наматывать и шар снижать, как бабахнет вдруг совсем рядом! Грузовик ажно в сторону отодвинуло, двух коней осколками убило, а Левка как сидел наверху, так и почувствовал, что рвануло шар кверху и понесло по воздуху — перебило веревку взрывом.

Летит Левка, качается, ухватился руками за края кор-

зинки и смотрит вниз. А внизу бой отчаянный начинается. С непривычки у Левки голова кружится, а когда увидел он, что несет его ветром прямо в сторону неприятельского тыла, то совсем ему печально как-то на душе стало и даже домой, в деревню, захотелось.

Слышит он, что прожужжала рядом пчелой пуля. Потом сразу точно осиный рой загудел. Шар обстреливают, понял он.

«Прямо белым на штыки сяду», — подумал Левка.

Но ветер, к счастью, рванул сильнее и потащил Левку дальше, за лес, за речку, черт его знает куда.

Потом окончательно начал издыхать шар и опустился с Левкой прямо на деревья. Заскакал он, как белка, по веткам, выбрался вниз и почесал голову. Чеши не чеши, а делать что-нибудь надо. Стал он пробираться лесом, выбрался на какую-то дорогу, к маленькому лесному хутору. Подполз к плетню, видит — в хате петлюровцы сидят, не меньше десятка, должно быть. Только собрался он утекать подальше, как заметил, что на плетне мокрая солдатская рубаха сушится, а на ней погоны. Подкрался Левка, стащил потихоньку и рубаху и штаны, а сам ходу в лес. Напялил обмундировку и думает: «Ну, теперь и за белого бы сойти можно, да пропуска их не знаю». Пополз обратно, слышит — неподалеку у дороги пост стоит. Левка — рядом и слушает. Прележал, должно быть, с час, вдруг топот — кавалерист скачет.

— Стой! — кричат ему с поста. — Кто едет? Пропуск?

— Бомба, — отвечает тот. — А отзыв?

— Белгород.

«Хорошо, — подумал Левка, — погоны-то у меня есть, пропуск знаю, а винтовки нет. Какой же я солдат без винтовки?» Выбрался он подальше и пошел краем леса, близ дороги. Так прошел версты четыре, видит — навстречу двое солдат идут. Заметили они Левку и окликнули, спросили пропуск — ответил он.

— А почему, — спрашивает один, — винтовки у тебя нет?

И рассказал им Левка, что впереди красные партизаны на ихний отряд налет сделали, чуть не всех перебили, а он как через речку спасался, так и винтовку утопил. Посмотрели на него солдаты, видят — правда: гимнастерка форменная и вся мокрая, штаны тоже, поверили.

А Левка и спрашивает их:

— А вы куда идете?

— На Семеновский хутор с донесением.

На Семеновский? Так вот что, братцы, недавно тут зарево было видно. Я думаю, уже не сожгли ли партизаны этот Семеновский хутор? Смотрите не нарвитесь.

Задумались белые, стали меж собой совещаться, а Левка добавляет им:

— А может, это не Семеновский горел, а какой другой. Разве отсюда поймешь! Залезай кто-нибудь на дерево, оттуда все как на ладони видно. Я бы сам полез, да нога зашиблена, еле иду.

Полез один и винтовку Левке подержать дал. А покуда тот лез, Левка и говорит другому:

— Жужжит что-то. Не иначе как ероплан по небу летит.

Задрал тот затылок, стал глазами по тучам шарить, а Левка прикладом по башке как ахнет, так тот и свалился. Сшиб Левка выстрелом с дерева другого, забрал донесение, забросил лишнюю винтовку в болото и пошел дальше.

Попадается ему навстречу какая-то рота. Подошел Левка к ротному и отрапортовал, что впереди красные засаду сделали и белых поразогнали, а двое убитых и сейчас там у самой дороги валяются. Остановился ротный и послал двух конных Левкино донесение проверить. Вернулись конные и сообщают, что действительно убитые возле самой дороги лежат.

Написал тогда ротный об этом донесение батальонному и отправил с кавалеристом. А Левка идет дальше и радуется — пускай все ваши планы перепутаются!

Так прошло еще часа два. По дороге заодно штыком про-

вод полевого телефона перерубил. Затем ведро с дегтем нашел и в придорожный колодец его опрокинул — хай лопают, песьи дети!

Так выбрался он на передовую линию, а там идет отчаянный бой, схватка, и никому нет до Левки дела. Видит Левка, что не выдержат белые. Залег он тогда в овражек, заметал себя сеном из соседнего стога и ожидает. Только-только мимо ураганом пролетела красная конница, как выполз Левка, содрал погоны и пошел своих разыскивать.

На этот раз, когда увидели его ребята, даже не удивились.

— Разве, — говорят, — тебя, черта, возьмет что-нибудь? Разве на тебя погибель придет?

И ротный на этот раз нарядов не дал, потому что не за что было. Наоборот, даже пожал руку, крепко-крепко.

А Левка ушел к лекпому Поддубному, попросил у него гармонь, сидит и наигрывает песни, да песни-то все какие-то протяжные, грустные.

Дядя Нефедыч, земляк, покачал головой и сказал в шутку:

— Смотри, Левка, смерть накличешь.

Улыбнулся Левка и того не знал, что смерть ходит уже близко-близко бесшумным дозором.

1927





**Валентин Катаев**

## **СОН**

*Древние греки изображали сон в виде человеческой фигуры с крыльями бабочки за плечами и цветком мака в руке.*

Мне хочется рассказать один поразительный случай сна, достойный сохраниться в истории.

30 июля 1919 года расстроенные части Красной Армии очистили Царицын и начали отступать на север. Отступление это продолжалось сорок пять дней. Единственной боеспособной силой, находившейся в распоряжении командования, был корпус Семена Михайловича Буденного в количестве пяти с половиной тысяч сабель. По сравнению с силами неприятеля количество это казалось ничтожным.

Однако, выполняя боевой приказ, Буденный прикрывал тыл отступающей армии, принимая на себя все удары противника.

Можно сказать, это был один бой, растянувшийся на десятки дней и ночей. Во время коротких передышек нельзя было ни поесть как следует, ни заснуть, ни умыться, ни расседлать коней.

Лето стояло необычайно знойное. Бои происходили на сравнительно узком пространстве — между Волгой и Доном. Однако бойцы нередко по целым суткам оставались без воды. Боевая обстановка не позволяла отклоняться от принятого направления и потерять хотя бы полчаса для того, чтобы отойти на несколько верст к колодцам.

Вода была дороже хлеба. Время — дороже воды.

Однажды, в начале отступления, бойцам пришлось в течение трех суток выдержать двадцать атак.

Двадцать!

В непрерывных атаках бойцы сорвали голос. Рубясь, они не в состоянии были извлечь из пересохшего горла ни одного звука.

Страшная картина: кавалерийская атака, схватка, рубка, поднятые сабли, исковерканные, облитые грязным потом лица — и ни одного звука.

Вскоре к мукам жажды, немоты, гслода и зноя прибавилась еще новая — мука борьбы с непреодолимым сном.

Ординарец, прискакавший в пыли с донесением, свалился с седла и заснул у ног своей лошади.

Атака кончилась. Бойцы едва держались в седлах. Не было больше никакой возможности бороться со сном.

Наступал вечер.

Сон заводил глаза. Веки были как намагниченные. Глаза засыпали. Сердце, налитое кровью, тяжелой и неподвижной, как ртуть, останавливалось медленно, и вместе с ним останавливались и вдруг падали отяжелевшие руки, разжимались пальцы, мотались головы, съезжали на лоб фуражки.



Полуобморочная синева летней ночи медленно опускалась на пять с половиной тысяч бойцов, качающихся в седлах, как маятники.

Командиры полков подъехали к Буденному. Они ждали распоряжения.

— Спать всем,— сказал Буденный, нажимая на слово «всем».— Приказываю всем отдыхать.

— Товарищ начальник... А как же... А сторожевые охранения? А заставы?

— Всем... всем...

— А кто же?.. Товарищ начальник, а кто же будет...

— Буду я,— сказал Буденный, отворачивая левый рукав и поднося к глазам часы на черном кожаном браслете.

Он мельком взглянул на циферблат, начинавший уже светиться в наступающих сумерках дымным фосфором цифр и стрелок...

— Всем спать, всем без исключения, всему корпусу! — весело, повышая голос, сказал он.— Дается ровно двести сорок минут на отдых.

Он не сказал: четыре часа. Четыре часа — это было слишком мало. Он сказал: двести сорок минут. Он дал максимум того, что мог дать в такой обстановке.

— И ни о чем больше не беспокойтесь,— прибавил он.— Я буду охранять бойцов. Лично. На свою ответственность. Двести сорок минут — и ни секунды больше. Сигнал к подъему — стреляю из револьвера.

Он похлопал по ящичку маузера, который всегда висел у него на бедре, и осторожно тронул шпорой, потемневшей от пота, бок своего рыжего донского коня Казбека.

Один человек охраняет сон целого корпуса! И этот один человек — командир корпуса. Чудовищное нарушение воинского устава. Но другого выхода не было. Один за всех, и все за одного. Таков железный закон революции.

Пять с половиной тысяч бойцов, как один, повалились на роскошную траву балки.

У некоторых еще хватило сил расседлать и стреножить коней, после чего они заснули, положив седла под голову.

Остальные упали к ногам нерасседланных лошадей и, не выпуская из рук поводьев, погрузились в сон, похожий на внезапную смерть.

Эта балка, усеянная спящими, имела вид поля битвы, в которой погибли все.

Буденный медленно поехал вокруг лагеря. За ним следовал его ординарец, семнадцатилетний Гриша Ковалев. Этот смуглый мальчишка еще держался в седле; он клевал носом, делая страшные усилия поднять голову, тяжелую, как свинцовая бульба.

Так они ездили вокруг лагеря, круг за кругом, командир корпуса и его ординарец — двое бодрствующих среди пяти с половиной тысяч спящих.

В ту пору Семен Михайлович был значительно моложе, чем теперь. Он был сух, очень черен, с густыми и длинными усами на скуластом, почти оранжевом от загара чернобровом крестьянском лице.

Объезжая лагерь, он иногда при свете взошедшей луны узнавал своих бойцов и, узнавая их, усмехался в усы нежной усмешкой отца, наклонившегося над люлькой спящего сына.

Вот Гриша Вальдман, рыжеусый гигант, навзничь упавший в траву, как дуб, пораженный молнией, с седлом под запрокинутой головой и с маузером в пудовом кулаке, разжать который невозможно даже во сне. Его грудь широка и вместительна, как ящик. Она поднята к звездам и ровно подымается и опускается в такт богатырскому храпу, от которого качается вокруг бурьян. Другая богатырская рука прикрыла теплую землю — поди попробуй отними у Гриши Вальдмана эту землю!

Вот спит как убитый Иван Беленький, донской казак, с чубом на глазах, и под боком у него не острая казачья пашка, а меч, старинный громадный меч, реквизируемый

в доме помещика, любителя старинного оружия. Сотни лет висел тот меч без дела на персидском ковре дворянского кабинета. А теперь забрал его себе донской казак Иван Беленький, наточил как следует быть и орудует им в боях против белых. Ни у кого во всем корпусе нет таких длинных и сильных рук, как у Ивана Беленького.

И был такой случай. Пошел как-то Иван Беленький в богатый хутор за фуражом для своей лошади. Просит продать сена.

Хозяйка говорит:

— Нету. Одна копна только и осталась.

— Да мне немного,— говорит жалобно Иван Беленький,— мне только коняку своего покормить, одну только охапochку.

— Ну что же,— говорит хозяйка,— одну охапochку, пожалуйста, возьми.

— Спасибо, хозяйка.

Подошел Иван Беленький, донской казак, к копне сена, да и взял ее всю в одну охапochку. Ахнула хозяйка — сроду не видала она таких длинных рук. Однако делать нечего! А Иван Беленький крикнул и понес копну к себе в лагерь. Что с ним по дороге случилось — неизвестно, только вдруг прибегает он без сена в лагерь ни жив ни мертв.

Руки трясутся, зуб на зуб не попадает. Ничего сказать не может...

— Что с тобой, Ваня?

— Ох... и не спрашивайте! До того я перепугался... ну его к черту!

Остолбенели бойцы: что же это за штука такая, если самый неустрашимый боец Ваня Беленький испугался?

А он стоит и прийти в себя не может.

— Ну его к черту! Напугал меня проклятый дезинтер, чтоб ему сгореть на том свете!

— Да что такое? Кто такой?

— Да говорю же: дезинтер... Как я взял тое проклятое

сено — чтоб оно сгорело, как понес, а оно там в середине как затрепыхается... Дезинтер проклятый!

Оказалось, в сене прятался дезертир. Его вместе с копной и понес Иван Беленький. По дороге дезертир затрепыхался в сене, как мышь, выскочил и чуть до смерти не напугал неустрашимого бойца Беленького.

Ну и смеху было!

И опять нежно и мужественно усмехнулся Буденный, осторожно проезжая над головой бойца своего Ивана Беленького, над его острым мечом, зеркально отразившим полную голубую луну.

Шла ночь. Передвигались над головой звездные часы степной ночи. Скоро время будить бойцов.

Вдруг Казбек остановился и поднял уши. Буденный прислушался и поправил свою защитную фуражку, подпаленную с одного бока огнями походных костров.

По верху балки пробирались несколько всадников. Один за другим они тенью своей закрывали луну. Буденный замер. Всадники спустились в лагерь. Ехавший впереди остановил коня и нагнулся к одному из бойцов, который переобувался перед сумрачно рдеющим костром.

У всадника в руке была папироса. Он хотел прикурить.

— Эй,— сказал всадник,— какой станицы? Подай огня!

— А ты кто такой?

— Не видишь?

Всадник наклонил к бойцу плечо. Полковничий погон блеснул при свете луны.

Все ясно: офицерский разъезд наехал впотьмах на красноармейскую стоянку и принял ее за своих. Значит, белые близко. Терять времени нечего. Буденный осторожно выехал из темноты и поднял маузер. В предрассветной тишине хлопнул выстрел. Полковник упал. Бойцы вскочили. Офицерский разъезд был схвачен.

— По коням! — закричал Буденный.

Через минуту пять с половиной тысяч бойцов уже были

верхом. А еще через минуту вдали, в первых лучах степного росистого солнца, встала пыль приближавшейся кавалерии Селых.

Семен Михайлович приказал разворачиваться. Заговорили три батареи четвертого конноартиллерийского дивизиона. Начался бой.

...Вспоминая об этом эпизоде, Семен Михайлович сказал однажды, задумчиво улыбаясь:

— Да... Пять с половиной тысяч бойцов, как один человек, спали вповалку на земле. Вот стоял храп так храп! Аж бурьян качался от храпа!..— Он прищурился на карту, висевшую на стене, и с особенным удовольствием повторил: — Аж бурьян качался!

Мы сидели в кабинете Буденного в Реввоенсовете. За окном шел деловитый московский снежок.

Я представил себе замечательную картину. Степь. Ночь. Луна. Спящий лагерь. Буденный на своем Казбеке. И за ним, в приступе неодолимого сна, трясется чубатый смуглый мальчишка с пучком вялого мака за ухом и с бабочкой, заснувшей на пыльном горячем плече.





**Николай Тихонов**

### **ХРАБРЫЙ ПАРТИЗАН**

Во время гражданской войны в горах Северного Кавказа произошел такой случай. Пришлось отступить партизанам перед большими силами белых. Решили партизаны уйти подальше в горы. Но белые наседали — того и гляди догонят. А партизанам нужно взять в горы семьи и скот. На совете один молодой партизан выступил и сказал:

— Товарищи, спокойно делайте свои дела. Я задержу белых на целый день, а может, и больше.

— Не один же ты их удержишь? Кто будет с тобой? Мы не можем выделить большой отряд.

— Я задержу их один, — сказал партизан, — мне не нужно никого и никакого отряда.

— Как же ты их удержишь? — спросили его остальные партизаны.

— Это мое дело, — ответил он. — Даю вам слово, что я задержу, а мое слово вы все знаете.

— Твое слово мы знаем, — сказали партизаны и начали готовиться к походу.

Они все ушли, а молодой партизан (его звали Данел) остался.

На скале, возвышаясь над узкой тропкой, стояла старая башня, в которой он жил с матерью. Когда все ушли, он пришел к матери, старой, но сильной женщине, и сказал:

— Мать, мы будем с тобой защищать путь в горы и не пропустим белых.

— Хорошо, сын, — ответила мать. — Скажи, что мне надо делать.

Тогда Данел собрал все оружие, что было у него в башне. Оказалось, что у него есть три винтовки и два старых ружья. Есть и патроны, но не очень много.

Он положил винтовки и ружья в разных окнах башни, направил все их на тропу в определенное место и зарядил.

— Смотри, — сказал он, — я буду стрелять, а ты заряжай ружья. Ты умеешь заряжать ружья?

Старушка улыбнулась и сказала:

— Старые умею хорошо, новые ты мне покажешь.

И он поцеловал ее в ответ и показал, как заряжать винтовки. Затем она пошла к ручью и принесла воды в кувшине.

— А это зачем? — спросил сын.

— А это — если ты захочешь пить или тебя ранят, вода пригодится.

Не успели они покончить с приготовлениями, как на тропе показались белые. Впереди отряда ехали два статных всадника с красными башлыками на спине. Серебряные газыри блестели на их черкесках, кинжалы у пояса, шашки по бокам, винтовки за плечами. Бурки были свернуты и привязаны к седлу сзади.

Ехали они, не думая, что старая башня чем-нибудь угрожает. Они ехали и смеялись над партизанами.

Данел прицелился и выстрелил два раза. Когда дым рассеялся, он увидел, что всадников на тропе нет. И кони и всадники упали с обрыва в реку.

Тогда те, что ехали сзади всадников, остановились и стали совещаться. Они стреляли по башне, но у башни были такие старые, толстые стены, что никакими пулями нельзя было их пробить. Тогда несколько всадников пустили лошадей вскачь, но Данел заранее положил на тропе большие камни, и лошади перед ними остановились. Еще два всадника упали с седел вниз головой. И мать Данела зарядила ему снова винтовку. А он стрелял из разных щелей и окон, чтобы казалось, что в башне много народу.

Тогда белые стали непрерывно стрелять по башне. Пули так и свистели по карнизам. Иные залетали в башню и ударили в стену с противным визгом.

Данел стрелял метко. Он целился спокойно и никого не подпускал к башне. Все, кто пробовал пройти по тропе, были ранены или убиты. Тогда белые пришли в страшную ярость, и два смельчака спустились с обрыва в реку и, держа в зубах кинжалы, переплыли реку и стали взбираться по острым уступам к башне с другой стороны.

Их не видел Данел, но его мать увидела. Она тотчас же, не говоря ему ничего, стала следить, как лезли с тыла эти белые. Она взяла старинное ружье и выстрелила в белых. И когда один из них упал в реку, другой растерялся, неловко схватился за камень и полетел вниз вслед за первым. Когда белые увидели это, они прервали бой и стали совещаться.

— Несомненно,— сказали они,— в башне опытный отряд, который держит всю местность под обстрелом. Стреляют и снизу, и сверху, и с тыла. Что будем делать?

— Надо подождать пушку, пушка сразу разрушит башню,— сказали одни белые.

Но другие не согласились:



— Пушку некуда поставить, пушка сорвется в пропасть. Пушка тут не поможет.

И они опять начали сражаться и ранили Данела в руку. Мать перевязала ему руку и, пока он отдыхал, стреляла сама, и очень метко. Тогда белые снова начали совещаться.

— Давайте сделаем так, — сказали они, — пушку не будем вызывать, но их напугаем пушкой. Пошлем к ним для переговоров человека без оружия и скажем, что если они не дадут дороги, то мы их всех убьем из пушки.

Это предложение понравилось белым. И вот Данел увидел, что по тропе к башне идет человек, снимает с себя винтовку, шашку, кинжал и кладет все на камни.

— Эй, — кричит он, — выходи кто-нибудь, ничего не будет, разговор имеем небольшой!

Данел говорит матери:

— Я пойду разговаривать, а ты следи и, чуть что, стреляй. Ты устала, наверно, матушка, — сражаемся ведь целый день...

— Данел, Данел, — сказала мать, — с белыми волками я готова всю остальную жизнь сражаться, чтобы их всех перебить. Я не пью и не ем, я сыта нашей победой.

— Вот ты какая у меня! — сказал Данел и стал спускаться к тому белому, что ждал его у камней.

Данел встал по другую сторону камней и говорит:

— Что надо, что скажешь?

— Что скажу? Одно скажу — давайте нам дорогу, а не то всех вас перебьем. Весь ваш отряд с тобой вместе.

— Если ты только за этим пришел, можешь обратно идти, — говорит Данел.

— Нет, я имею предложение!

— Какое ты имеешь предложение, говори.

— Если вы не откроете дорогу нашему отряду, мы поставим сейчас пушку и всех сразу повалим: и вас всех, и башню вашу паршивую...

— Дай подумать, — сказал Данел, посмотрев на небо.

День уже склонялся совсем к вечеру. Он подсчитал в уме, сколько осталось патронов, — патронов осталось очень мало.

Он сказал:

— Ну хорошо, мы дадим вам дорогу при одном условии.

— Говори свое условие.

— Мой отряд держит эту дорогу до темноты. Как будет темно, мы уйдем. И пусть будет дорога ваша.

Белый очень обрадовался, думая, что партизан испугался его пушки. И, радуясь тому, что он так ловко обманул партизана, он как бы нехотя сказал:

— Хорошо, пусть так и будет. Мы отдохнем до ночи, но тогда вы уж убирайтесь немедленно, или вам всем будет худо.

С этими словами белый пошел к своим, а Данел вернулся в башню. Когда стало совсем темно, он привел к башне коня, навьючил на него винтовки, посадил свою мать и отправился в горы.

А белые, боясь засады, целую ночь стояли на месте. И когда они утром двинулись в горы, в долине никого уже не было. А за это время партизаны хорошо укрепили свои новые позиции.





Янов Тайц

## ДОМ

### 1

За околицей, на отлете, одиноко стояла изба. Кто в ней жил? Старик Аким, жена его Акулина и ребята: Колька, Толька, Федька и самый маленький — Кирюшка.

Жили ни бедно, ни богато — как в песне поется:

Он ни беден, ни богат,  
Полна горница ребят,  
Все по лавочкам сидят,  
Кашу маслену едят.

Правда, кашу ели не масленую, а пустую. Время тогда было голодное: шла гражданская война, красные воевали с белыми.

Вот красные заняли это село. А командир у них был известный герой Котовский.

Богатые мужики плохо встретили красных, зато бедные — очень хорошо. А не богатые и не бедные — ни плохо и ни хорошо. Так же и Аким.

Ребята его побежали на улицу, а он остался дома — при- таился, смотрит в щелочку.

Запыленные, усталые, шли котовцы. Впереди на сером жеребце ехал сам Котовский — высокий, прямой, статный...

Аким вздохнул:

— Серьезный у них командир, чистый генерал!.. Гляди, Акулина, бабы им хлеба выносят. А Спиридониха им шма- ток сала несет... От дурная!

— Беда! — отозвалась Акулина. — Деникинцы были — свинью порешили, петлюровцы были — коня увели, теперь красные пришли — сало отымают. А у нас, кроме дома, и взять-то нечего.

Аким с тревогой оглянулся. И хоть в хате было темно, он ясно видел все свое, привычное: вот он, сундук, вот она, ду- бовая кровать, вот они, семь подушек, мал мала меньше... Он очень боялся за свой дом. Правда, это был не то чтобы дом, а правильнее сказать — изба. И не то чтобы изба, а вер- ней всего — избушка. Он сам ее в молодые годы срубил, по бревнышку, по колышку...

В дверь постучали.

— Они! Легки на помине... — зашептала Акулина. — Не пускай их, Акимушка! Не пускай!

Но дверь отворилась, и в хату ввалились ребята: Колька, Толька, Федька и самый маленький — Кирюшка. И еще со- седские: Петька, Мотя, Луша...

Это бы все ничего. Но среди ребят возвышались два ко- товца в высоких, бутылкой, шлемах, в потрепанных шине- лях, с винтовками, шашками, гранатами...

— Сюда идите, красные армейцы, сюда, не бойтесь! — шумели ребята. — Сымайте ружья, сымайте шашки! А пу- леметов нема, максимков этих?

Котовцы улыбались Акиму:

— Домик, верно, славный у тебя, товарищ!

Акиму очень понравилось это слово — «товарищ», но он боялся: войдут, сядут, а то и лягут, сомнут подушки, уго-

щения потребуют. И, вместо того чтобы сказать: «Да что вы стоите? Заходите!» — он стал врать:

— Какой там славный! Крыша насквозь сопрела, по всем щелям ветер бьет.

Акулина запричитала:

— Немцы были — все жито до зерна обчистили, петлюровцы были — коня увели, поляки были...

Котовец перебил:

— Все село привечает нас, а в этом доме, значит, элемент особый! — Он снял шлем, вытер лицо. — Видать, с белками сладко-сахарно жилось?

Аким покосился на жену:

— Ох, и сладко ж! Хряка закололи, жену мою сапогами топтали! — Он разозлился: — Мой элемент такой, что места для чужого дяди у меня нема, хоть он и красный, хоть какой другой! А там як хочете!

Соседские ребята засуетились:

— К нам идите, красные армейцы, к нам, туточки близко!

Котовец надел шлем:

— Пойдем, Петров!.. А тебе, хозяин, спасибо за ласку! Они, хлопнув дверью, ушли. В избе стало тихо. Вдруг Кирюшка заплакал:

— Батька, плохой, почему не пустил?

Старик разорался:

— Цыц! Меня не учить! Голова як казан, а разуму ни ложки!

## 2

...Три дня отдыхали котовцы в селе, и все три дня Акимовы ребята пропадали у соседей. А Кирюшка раз прибежал вечером, веселый, важный:

— Ребята, ребята, а я с кем говорил!

— С кем?

— С Котовским!

— Ври!

— Чтоб я лопнул! Он у Спиридонихи стоит. Я туда пошел, и вдруг — он. С коня слазит. А я не побоялся. Стою такочки, смотрю. А он говорит: «Котовцем хочешь быть?» Я говорю: «Хочу!» Он меня тогда взял и на своего коня посадил. Во! А слез-то я сам. А он говорит: «Вырастешь — помни К-к-котовского!» Он, ребята, трюшки заикается!

— Правда!

— Он!

Ребята с завистью смотрели на Кирюшку. А он достал из-за пазухи какую-то фляжку с заграничными буквами и похвалился:

— Смотрите, что я в лесу нашел! Поляцкая, верно.

От фляжки сильно несло спиртным. Подошел Аким, повел носом:

— Это что у вас?

— Нема ничего!

Кирюшка незаметно сунул находку в печь. Легли спать.

Среди ночи Акулина вскочила:

— Ой, ратуйте, ратуйте!

Она растолкала спящих. Спасать добро было поздно: горящий спирт из фляжки залил все вокруг. Сухой сосновый домик горел, как спичка. Пришлось всем, захватив одежду, прыгать в окно. Сотни огненных языков жадно лизали стены, крышу...

Вот рухнула стропила, взметнулись искры, посыпались на Акима... Старик не шевельнулся, будто каменный.

Акулина выла:

— Ой, лихо нам! Ой, ратуйте!

Сбежался народ — кто в штанах, кто в рубахе, кто в чем. Акулину утешали. А Кирюшке хоть бы что. Ему пожар понравился. Хоть бы каждый день такие!

И вдруг он увидел маленького полкового трубача и — Котовского.

Кирюшка подбежал, гордый:

— Это у нас пожар, у нас!

Но командир не узнал «котовца». Он обернулся:

— Дай тревогу!

Сигналист поднял трубу. Пронзительные звуки покрыли все: треск пожара, шум толпы, плач Акулины...

И сразу же сбежались котовцы. И сразу же они привычно, молча строились колоннами повзводно. Старшины негромко командовали:

— Становись! Равняйся! Смирно!

Изба догорала. Над лесом встало другое зарево — занимался день.

Комбриг прошелся вдоль рядов:

— Т-т-товарищи бойцы, командиры и политработники! К-к-короче говоря, если мы все, всем квартирующим здесь полком, возьмемся за работу, то мы, я думаю, поставим к вечеру п-п-погоревшему селянину новый дом. А?

— Надо! — зашумели бойцы.

Аким с подпаленной бородой лежал на земле. Котовский, отмахиваясь от едкого дыма, подошел к нему:

— Товарищ, можешь показать на бумаге, какая твоя изба была?

— Была?..— Аким поднял голову, бессмысленно посмотрел на Котовского.— На бумаге не могу, я так скажу...— Он вскочил: — Здесь от такочки были сенцы... тучочки крылечко... ось так чистая по-половина...— Он заплакал и стал бородой вытирать глаза.— Я ж сам ее срубил... по бревнышку... по колышку!..

Котовский поднялся на бугор:

— По-olk, слушать мою команду! Вечером выступаем! А сейчас — за работу! Топоры и пилы — у командира саперного взвода! Гвозди получите в обозе. Там же пакля. Разойдись!

Аким не понимал, что такое творится. Один взвод расчищал остатки сгоревшего дома. Другие ушли в лес. Там в утренней тишине застучали топоры, запели пилы. Часто, одна за одной, валились высокие сосны. Бойцы быстро обрубали ветки, обдирали кору и на полковых лошадях везли стволы к пожарищу. Здесь их подхватывали сотни рук и укладывали по всем правилам плотницкого искусства.

Комбриг, обтесывая жирный бок смолистого бревна, спрашивал у Акима:

— Так, что ли, старик? Окно-то здесь, что ли?

Старик, разинув рот, остолбенело смотрел на то, как с каждой минутой, точно в сказке, вырастал большой новый дом. К обеду уже поднялись высокие — о семнадцати стволах — стены. Одни котовцы ушли к полковым кухням — пришли другие, стали класть поперечные балки, стелить крышу, заделывать венцы... В стороне визжала пила-одноручка — там мастерились двери, оконные рамы, наличники...

Винтовки пирамидками ждали на лугу. Котовский поторапливал:

— Б-быстрей, товарищи! Д-дружней, товарищи!

К вечеру дом был готов. Народ повалил туда. Аким медленно поднялся по новым ступенькам. Они сладко скрипели. Он потрогал стены: может, он волшебный, этот в один день поставленный дом, и вот-вот развалится? Но дом стоял твердо, как все порядочные дома. Пускай окна без стекол, пол некрашенный, мебели никакой — это все дело наживное.

На лугу заиграла труба. Бойцы отряхивали с себя стружки, опилки, разбирали винтовки, строились. Аким и Акулина выскочили из нового дома, пробежали вдоль строя вперед, к командиру. Котовский уже сидел на серой своей лошадке. Полк ждал его команды.

— Батюшка! Родный мой, ласковый! — заплакала Акулина.



Она обняла и стала целовать запыленный сапог командира. Котовский сердито звякнул шпорой, отодвинулся:

— Что делаешь, г-гражданка? — Он погладил ее по растрепанной седой голове и протянул руку Акиму: — Живите! Когда-нибудь получше поставим... из мрамора... с колоннами... А пока...

Он привстал в стремях, обернулся:

— По-олк, слушай мою команду! Шагом...

Застучали копыта, загрели тачанки, заиграли голосистые баяны в головном взводе. Запевалы подхватили:

Все пушки, пушки грохотали,  
Трещал наш пулемет.  
Буржуи отступали,  
Мы двигались вперед.

И котовцы ушли — гнать врагов, воевать за вольную Советскую Украину.

А дом — дом, конечно, остался. Он и сейчас там стоит — за околицей, на отлете, среди лугов и полей колхоза имени Котовского. Так что, выходит, не один Кирюшка — все в деревне стали котовцами. Впрочем, какой он вам Кирюшка — Кирилл Акимыч, председатель колхоза.





**Михаил Шолохов**

### **АЛЕШКИНО СЕРДЦЕ**

Два лета подряд засуха дочерна вылизывала мужицкие поля. Два лета подряд жестокий восточный ветер дул с киргизских степей, трепал порыжелые космы хлебов и сушил устремленные на высохшую степь глаза мужиков и скупые, колючие мужицкие слезы. Следом шагал голод. Алешка представлял себе его большущим безглазым человеком: идет он бездорожно, шарит руками по поселкам, хуторам,

станциям, душит людей и вот-вот черствыми пальцами на смерть стиснет Алешкино сердце.

У Алешки большой обвислый живот, ноги пухлые... Тронет пальцем голубовато-багровую икру, сначала образуется белая ямка, а потом медленно-медленно над ямкой волдыриками пухнет кожа, и то место, где тронул пальцем, долго наливается землянистой кровью.

Уши Алешки, нос, скулы, подбородок туго, до отказа, обтянуты кожей, а кожа — как сохлая вишневая кора. Глаза упали так глубоко внутрь, что кажутся пустыми впадинами. Алешке четырнадцать лет. Не видит хлеба Алешка пятый месяц. Алешка пухнет с голоду.

Ранним утром, когда цветущие сибирьки рассыпают у плетней медвяный и приторный запах, когда пчелы нетрезво качаются на их желтых цветках, а утро, сполоснутое росой, звенит прозрачной тишиной, Алешка, раскачиваясь от ветра, добрал до канавы стоная, долго перелезая через нее и сел возле плетня, припотевшего от росы. От радости сладко кружилась Алешкина голова, тосковало под ложечкой. Потому кружилась радостно голова, что рядом с Алешкиными голубыми и неподвижными ногами лежал еще теплый трупик жеребенка.

На сносях была соседская кобыла. Недоглядели хозяева, и на прогоне пузатую кобылу пырнул под живот крутыми рогами хуторской бугай, — скинула кобыла. Тепленький, парной от крови, лежит у плетня жеребенок; рядом Алешка сидит, упираясь в землю суставчатыми ладонями, и смеется, смеется...

Попробовал Алешка всего поднять, не под силу. Вернулся домой, взял нож. Пока дошел до плетня, а на том месте, где жеребенок лежал, собаки склублились, дерутся и тянут по пыльной земле розоватое мясо. Из Алешкиного перекошенного рта: «А-а-а...» Спотыкаясь, размахивая ножом, побежал на собак. Собрал в кучу все до последней тоненькой кишочки, половинами перетаскал домой.

К вечеру, объевшись волокнистого мяса, умерла Алешкина сестренка — младшая, черноглазая.

Мать на земляном полу долго лежала вниз лицом, потом встала, повернулась к Алешке, шевеля пепельными губами:

— Бери за ноги...

Взяли. Алешка — за ноги, мать — за курчавую головку, отнесли за сад в канаву, слегка прикидали землей.

На другой день соседский парнишка повстречал Алешку, ползущего по проулку, сказал, ковыряя в носу и глядя в сторону:

— Лёш, а у нас кобыла жеребенка скинула, и собаки его слопали!..

Алешка, прислонясь к воротам, молчал.

— А Нюратку вашу из канавы тоже отрыли собаки и середку у ей выжрали...

Алешка повернулся и пошел молча и не оглядываясь.

Парнишка, чикиляя на одной ноге, кричал ему вслед:

— Маманька наша бает, какие без попа и не на кладбище закопанные, этих черти будут в аду драть!.. Слышь, Лешка?

\* \* \*

Неделя прошла. У Алешки гноились десны. По утрам, когда от тошного голода грыз он смолистую кору караича, зубы во рту у него качались, плясали, а горло тискали судороги.

Мать, лежавшая третьи сутки не вставая, шелестела Алешке:

— Леня... пошел бы... молочаю в саду надергал...

Ноги у Алешки — как былки, оглядел их подозрительно и лег на спину, от боли, резавшей губы, длинно растягивал слова:

— Я, маманька, не дойду... Меня ветер валяет...

На этот же день Полька, старшая сестра Алешки, доглядела, когда богатая соседка, Макариха по прозвищу, ушла за речку полоть огород, проводила глазами желтый платок,

мелькавший по садам, и через окно влезла к ней в хату. Подставив скамью, забралась в печку, из чугуна через край пила постные щи, пальцами вылавливала картошку. Убитая едой, уснула, как лежала — голова в печке, а ноги на скамье. К обеду вернулась Макарчиха, баба ядреная и злая. Увидела Польшку, взвизгнула, одной рукой вцепилась в спутанные волосенки, а другой — зажав в кулаке железный утюг, молча била ее по голове, по гулкой иссохшей груди.

Из своего двора видел Алешка, как Макарчиха, озираясь, стянула Польшку с крыльца за ноги. Подол Полькиной юбчонки задрался выше головы, а волосы мели по двору пыль и стлали по земле кровянистую стежку.

Сквозь решетчатый переплет плетня глядел не моргая Алешка, как Макарчиха кинула Польшку в давнишний обвалившийся колодец и торопливо прикинула землей.

\* \* \*

Ночью в саду пахнет земляной сыростью, крапивным цветом и дурманным запахом собачьей бесилы. Вдоль обветшавшей огорожи лопухи караулят дорожку бесшумно. Ночью вышел Алешка в сад, долго глядел на Макарчихин двор, на слюдовые оконца, на лунные брызги, окропившие лохматую листву садов, и тихо побрел к воротам Макарчихино двора.

Под амбаром загремел цепью и забрехал привязанный кобель.

— Цыц!.. Серко... Серко... — Стягивая губы, Алешка пошвыстывал заискивающе, и кобель смолк.

В калитку не пошел Алешка, перелез через плетень и сщупью, ползком добрался до погреба, накрытого бурьяном и ветками. Прислушиваясь, звякнул цепкой. Не заперт погреб. Крышку приподнял, ежась, спустился по лестнице.

Не видал Алешка, как из стряпки выскочила Макарчиха. Подбирая рубаху, прыжками добежала до повозки, стоявшей посреди двора, выдернула шкворень — и к погре-

бу. Свесила вниз распатлаченную голову, а Алешка закрыл помутневшие глаза и, прислушиваясь к ударам тархтящего сердца, не передыхая, пил из кувшина молоко.

— Ах ты, хвитинов в твою дыхало! Ты что же это делаешь, сукин сын?..

Разом отяжелевший кувшин скользнул из заолодавших Алешкиных пальцев и разлетелся вдребезги, стукнувшись о край лестницы.

Комом упала Макарчиха в погреб...

\* \* \*

Легко подняла Алешку за плечи, молча, с плотно сжатыми губами, вышла на проулок, прошла под плетнем до речки и бросила вялое тело на ил, около воды.

На другой день — праздник троица. У Макарчихи пол усыпан чеборцом и богородицыной травкой. С утра выдоила корову, прогнала ее в табун, шальку достала праздничную, цветастую, в разводах, покрылась и пошла к Алешкиной матери. Двери в сенцы распахнуты, из неметеной горницы духом падальным несет. Вошла. Алешкина мать на кровати лежит, ноги поджала и рукой от света прикрыты глаза. На закоптелый образ перекрестилась Макарчиха истово.

— Здорово живешь, Анисимовна!

Тишина. У Анисимовны рот раззявлен криво, мухи пятнают щеки и глухо жужжат во рту. Макарчиха шагнула к кровати.

— Долго пануешь, милая... А я, признаться, зашла узнать, не будешь ли ты продавать свою хату? Сама знаешь — девка у меня на выданье, хотела зятя принять... Да ты спишь, что ли?

Тронула руку — и обожглась колючим холодком. Ахнула, кинулась от мертвой бежать, а в дверях Алешка стоит — белей мела. За косяк дверной цепляется, в крови весь, в иле речном.

— А я живой, тетя... не убивай меня... я не буду!

Перед сумерками через улицы, увешанные кудрявыми коврами пыли, через площадь, мимо отерханной церковной ограды, тенью шел Алешка. Возле школы, под нахмуренными акациями, повстречал попа. Шел из церкви тот, сгорбатившись, нес в мешке пироги и солонину. Алешка, кривя губы, прохрипел:

— Христа ради...

— Бог подаст!..— и зашагал мимо, сутулясь, путаясь в полах подрясника.

Возле речки в кирпичных сараях и амбарах — хлеб. Во дворе дом, жестью крытый. Заготовительная контора Донпродкома № 32. Под навесом сарая — полевая кухня, две патронных двуколки, а у амбаров шаги и нечищенные жала штыков. Охрана.

Выждал Алешка, пока повернется спиной часовой, и юркнул под амбар (доглядел еще поутру, что из щелей струю желтой сочится хлеб). Брал в пригоршню жесткое зерно, жевал жадно. Опамятовался от голоса сзади:

— Это кто тут?

— Я...

— Кто ты?

— Алешка...

— Ну, вылазь...

Поднялся на ноги Алешка, глаза зажмурил, ждал удара, ладонями закрывая лицо. Стояли долго... Потом голос добродушно буркнул:

— Пойдем ко мне, Алешка! У меня есть пшеница пареная.

Успел доглядеть Алешка на горбатом носу очки тусклые и улыбку, совсем не сердитую. Очкастый зашагал, отмеряя длинными ногами, как ходулями, а Алешка за ним поспешил, спотыкаясь и падая на руки. В заготконторе вторая дверь по коридору направо с надписью:

«Помещается политком Сеницын!»

Вошли. Очкастый зажег жирник, сел на табурет, широко разбросав ноги, а Алешке под нос потихонечку сунул горшок с пареной пшеницей и в полбутылке подсолнечное масло. Глядел, как двигались Алешкины скулы и на щеках его вспухали и бегали желваки. Потом встал и взял горшок. Алешка уцепился бородавчатыми пальцами за края. Всклипнул, тряся головой.

— Жалко тебе, жадюга?!

— Не жалко, дурья твоя голова, а облопаешься, издохнешь!

\* \* \*

На другой день во двор заготконторы с рассветом пришел Алешка. Сидел на поломанных порожках, ляская зубами, и до восхода солнца ждал, пока скрипнет дверь с надписью «Помещается политком Синицын!» и на пороге покажется очкастый.

Солнце перевалило через кирпичные сараи, когда встал очкастый. Вышел на крыльцо и носом закрутил.

— От тебя воняет, Алешка?

— Я исть хочу...— буркнул Алешка и глянул на очки снизу вверх.

— Сейчас мы сварим каши, но... от тебя, Алеша Попович, все-таки воняет.

Алешка сказал просто и деловито:

— Меня Макарчиха убивала, а теперь жарко, и в голове черви завелись...

Очкастый побледнел и переспросил:

— У тебя черви?

— В голове!.. Грызут дюже...

Алешка снял с головы перепревший от крови пук конопля, а очкастый заглянул в круглую гноющуюся рану на Алешкиной голове. Увидел, как из сукровицы острые головки кажут белые черви, и застонал, через крыльцо перегнувшись.

Алешка осмелел и сказал:



— Ты вот чего... ты мне их повывокыряй палочкой, а в дыру керосину налей... Подохнут черви с керосину-то?

Очкастый заостренной палочкой выковыривал из раны склизких червяков, а Алешка скулил и перебирал ногами.

С этих пор и установилась промеж них дружба. Каждый день приползал в заготконтору Алешка, жрал толокно из чашки, хлебал масло, ел много и жадно и всегда беспокойно ощущал на себе пытливо-ласковый взгляд.

\* \* \*

За прогоном, за зеленой стеной шуршащих будыльев кукурузы отцвело жито. Колос вспух и налился ядреным молочным зерном. Каждый день мимо хлебов гонял Алешка в степь пасти заготконторских лошадей. Не треножа, пускал их по полынистым отножинам, по ковылю, седому и вихрастому, а сам заходил в хлеб. Рослые стебли жита радушно жались, давали место, и Алешка ложился осторожноенько, стараясь не толочь хлеб. Лежа на спине, растирал в ладонях колос и ел до тошноты зерно, мягкое и пахучее, налитое незатвердевшим белым молоком.

Как-то пригнал Алешка лошадей в степь. Долго бочился, захаживал вокруг норовистой и брыкучей кобыленки, хотел репы выбрать из гривы и счистить с кожи присохшую коросту. Щерила почернелые зубы кобыла, норовила куснуть или накинуть задом. Алеша изловчился-таки — цап ее за хвост, а тут сзади голос:

— Эй, Алешка!.. Будя тебе злодырничать. Наймайся ко мне в помочь?! Буду держать за харч, ну, обувку там какую справлю.

Выпустил Алешка кобылий хвост, оглянулся. Стоит неподалеку хуторской богатей Иван Алексеев, смотрит на Алешку улыбочиво.

— Пойдешь в работники, сказывай? Харч у меня как полагается, настоящецкий... Молочишко есть и все такое прочее...

Не подумал Алешка, обрадовался работе и хлебу, напрямки брякнул:

— Пойду, Иван Алексеев.

— Ну, являйся с пожитками к вечеру! — И пошел Иван Алексеев, мелькая слинявшей рубахой по кукурузе.

Голому одеться — только подпоясаться. Ни роду у Алешки, ни племени. Именья — одни каменя, а хату и подворье еще до смерти мать пораспродала соседям: хату — за девять пригоршней муки, базы — за пшено, леваду Макарчиха купила за корчажку молока. Только и добра у Алешки — зипун отцовский да материны валенки приношенные. Табун пришел с попаса, а Алешка — к Ивану Алексееву во двор. Возле стряпки расстелила хозяйка рядом, сели семейно на земле, вечеряют. В ноздри Алешке так и ширнуло духом вареной баранины. Проглотил слюну, стал около, картузишко комкая, а в мыслях: «Хучь бы посадила вечерять хозяйка...» Не тут-то было. Рвет и мечет баба, чугунами гремит:

— Ишо дармоеда привел! Он слопаёт больше, чем работает. Провожай его, Алексеевич, с богом! Не нужен по теперешним временам!

— Молчи, баба! Есть две отвертки — знай посапливай! — Это сам Иван Алексеев, бороду рукавом вытирая.

На том разговор и кончился.

Не впервой Алешке работать. В отца пошел — въедливый на работу, с семи лет погоньчем был, хвосты быкам накручивал. Дня три пожил — освоился, на мельницу с хозяйской снохой съездил, на покосе сено копнил. Ночевать устроился под навесом сарая. В первую же ночь пришел под навес хозяин, сказал, вонюче отрыгивая луком:

— Ежели ты, сучье вымя, затеешься тут курить, голову саморучно с вязов сверну! Чтоб ни-ни!

— Я, дяденька, не занимаюсь.

— Ну, гляди!..

Ушел, а Алешке не спится. И на вторую ночь — тоже.

От работы полевой гудят ноги и руки, в спине кол болячкой растопырился, и сон нейдет. На третий день — спозаранку — прибежал в контору. Очкастый умывался на крыльце, крихтя и фыркавая.

— Ты где запропал, Алексей?

— В работники нанялся.

— К кому?

— К Ивану Алексееву, на краю живет.

— Ну, браток, надбеги вечером. Потолкуем насчет этого.

Вечером напоил Алешка скотину, пришел в контору. Очкастый в книгах копается.

— Ты грамоте знаешь, Алексей?

— В приходском учился. Себя расписываю.

— Пойдем со мной!

Пошли по коридору. В конце на дверях мелом написано — раскумекал Алешка: «Клуб РКСМ». Чудно и непонятно. Вошел очкастый, Алешка, робея, — следом. В комнатухе портреты, флаг красный, слинявший, и ребята кое-какие, знакомые. Книжку читают вслух, покосились на скрип двери и опять слегли над столом, слушают. Прислушался и Алешка. Читали о том, как должны нанимать хозяева работников, и еще про многое разное читали. Пришел Алешка из клуба в полночь. Долго ворочался на рваной дерюжке. До самой зари настырно заглядывал ему в глаза кособокий месяц.

\* \* \*

Говорил Алешке Иван Алексеев:

— Ты смотри у меня, сукин сын, чтоб работа горела у тебя в руках!.. Чуть замечу, что раззяву ловишь, — в один момент сгоню со двора!.. Иди, издыхай на улице!..

Алешка и на покос, и на молотьбу, и скотину убирает, а Иван Алексеев руки за махровитый кушачок засунет, знай похаживает с ухмылочкой по двору.

Подозвал его сосед как-то в праздник:

— Здорово живешь, Иван Алексеев!

— Слава богу.

— Совесть-то всю растерял?

— Что такое?

— А то, что не дело ты строишь... Лешка у тебя ровно лошадюка ворочает... Надорвешь парнишку. Греха на душу возьмешь!..

— Смотрел бы ты, сосед, за своим добром, на чужой баз глаза нечего пучить!..— Повернулся к соседу спиною, зашагал степенно и враскачку, а за угол сарая завернул — бороду зажал промеж зубов ядреных и желтых, выругался и злобу глухую на соседа до поры до времени припрятал на самое доньшко своего нутра.

С той поры мстил безлошадному бедняку соседу: загонял коровенку со своего жнивья, держал ее привязанной и некормленной по двое суток, а на Алешку еще больше работы навалил и за каждую пустяковину бил дурным боем.

Пожаловаться хотел Алешка очкастому, но боялся, что, узнав, прогонит его Иван Алексеев. Молчал. Ночами, короткими и душными, под навесом сарая мочил подушку горечью слез, а вечерами всегда, как только пригонял с водопоя скотину, через гумно, крадучись и припадая к плетням, бежал в клуб. Каждый день встречался с очкастым. Улыбался тот, глядя на Алешку поверх тусклых очков, и по спине похлопывал. В воскресенье пришел Алешка в клуб засветло. В комнатухе народу густо, у всех винтовки, а у очкастого на поясе кобура с ремнем витым и блестящая штука, на бутылку похожая.

Увидал Алешку, подошел, улыбаясь:

— Банда в наш округ вступила, Алексей. Как только займут станицу, — ты к нам, клуб защищать!

Хотел расспросить Алешка, как и что, но больно народу много, не посмел. На другой день утром маслом косилочным смазывал Алешка косилку. Глянул к стряпке — из дверей хозяин идет. Захолонуло у Алешки в середке: брови у хо-

зьяна настобурченные, идет и бороду дергает. Как будто и неуправки нет ни в чем, а побаивается хозяина Алешка, больно уж лют он на расправу. Подошел к косилке:

— Ты где бываешь ночью, гаденыш?

Молчит Алешка. Банка с маслом косилочным в пальцах у него подрагивает.

— Где бываешь, говорю?!

— В клубе...

— А-а-а... в клубе? А этого ты не пробовал, так твою мать?!

Кулак у хозяина весь желтой щетиной порос и тяжел, как гиря. Стукнул Алешку по затылку, а у того и ноги подвернулись, упал грудью на косилочные крылья, из глаз, словно просяная рушка, искры посыпались.

— Малость отвыкнешь шляться!.. А нет, так убирайся со двора к чертовой матери, чтоб и духом твоим не воняло тут!

Запрягая в косилку коней, гремел хозяин:

— Христа ради взял его, а он будет с сукиными сынами якшаться, а опосля придет другая власть и будут за тебя, за гада, турсучить!.. Ну, только направься туда, я тебе вложу памятку!..

У Алешки зубы редкие и большие, и сердце у Алешки простецкое, сроду ни на кого не серчал. Бывало, говорила ему мать:

«Ох, Ленька, пропадешь ты, коли помру я. Цыплята тебя навозом загребут! И в кого ты такой уродился? Отца твоего через его ухватку и устукали на шахтах... Каждной дыре был гвоздь... А тебя сейчас ребятишки клюют, а после и вовсе из битых не вылезешь...»

Доброе Алешкино сердце, ему ли на хозяина злобиться, коли тот кусок ему дал? Встал Алешка, передохнул малость, а хозяин опять присучивается бить — за то, что, когда упал на косилку, масло разлил. Кое-как вечера дождался Алешка, лег под дерюгу и голову подушкой накрыл...

Проснулся Алешка перед зарею. По проулку зацокали

лошадиные копыта и смолкли у ворот. Звякнуло кольцо у калитки. Шаги и стук в окно.

— Хозяин!..— тихо так, вполголоса.

Прислушался Алешка: рыпнула дверь, на крыльцо вышел Иван Алексеев. Долго и глухо гутарили промеж себя.

— Лошадей бы трошки подкормить...— доплыло до сарая.

Алешка приподнял голову, увидал, как двое в шинелях ввели во двор оседланных лошадей и привязали к крыльцу. Хозяин с одним из них направился к гумну. Проходя мимо сарая, заглянул под навес, спросил потихоньку:

— Ты спишь, Алешка?

Притаился Алексей, носом пустил сдержанный храп, а сам прислушался, приподымая голову.

— Парнишка живет у меня... Ненадежный...

Минут через пять скрипнула гуменная калитка, хозяин пронес беремья сена; следом шел чужой, звякая шашкой и путаясь в полах шинели. Голос услышал Алешка сипло-придушенный:

— Пулеметы есть у них?

— Откедова!.. Два взвода красных стоит во дворе конторы... И все... Ну, там политком еще, весовщики...

— Завтра в полночь приедем на гости... в казенном лесу все... Перережем, ежели врасплох...

Около крыльца заржала лошадь, второй в шинели крикнул злобно:

— Тю, проклятая!..

Звук удара и топот танцующих копыт.

Перед рассветом, в редющей темноте, со двора Ивана Алексеева выехали двое конных и крупной рысью поскакали по дороге к казенному лесу.

\* \* \*

Утром за завтраком почти не ел Алешка, сидел, не подымая глаз. Покосился хозяин подозрительно.

— Ты что не лопаешь?

— Голова болит.

Насилу дождался, пока кончится завтрак. Крадучись, прошел на гумно, перемахнул через плетень — и рысью в контору. Ветром ворвался в комнату политкома Синицына, хлопнул дверью и стал у порога, придерживая руками бабающее сердце.

— Откуда ты сорвался, Алешка?

Путаясь, рассказал Алешка про ночных гостей, про обрывки слышанного разговора. Очкастый выслушал, не проронив ни одного слова, встал, кинул Алешке ласково:

— Посиди тут... — и вышел.

С полчаса просидел Алешка в комнате очкастого. На окне сердито гудела оса, по полу шевелились пряди солнечного света.

Услышав во дворе голоса, глянул в окно Алешка. У крыльца стояли: очкастый с двумя красноармейцами, а в середине хозяин Иван Алексеев. Борода у него тряслась и прыгали губы:

— По злобе наговорено вам...

— А вот увидим!..

Таким еще не видел Алешка очкастого: слились на переносице брови, из-под очков жестоко блестели глаза. Отомкнул дверь в кирпичном сарае, стал сбоку и к Ивану Алексееву строго так:

— Заходи!..

Пригибаясь, шагнул в сарай Алешкин хозяин. Хлопнула дверь за ним.

\* \* \*

— Ну вот, гляди: так и так, потом раз, два, и гильза выбрасывается. Вот сюда вставляется обойма...

Лязгает винтовочный затвор под рукою очкастого, смотрит он на Алешку поверх очков и улыбается.

Вечером дегтярной лужей застыла над станицей темнота, на площади возле церковной ограды цепью легли красно-

армейцы. Рядом с очкастым — Алешка. У винтовки Алешкиной пахучий ремень и от росы вечерней потное ложе...

В полночь на краю станицы, возле кладбища, забрехала собака, потом другая, и сразу волной ударил в уши дробный грохот копыт. Очкастый привстал на одно колено, целясь в конец улицы, крикнул:

— Ро-о-та... пли!..

Га-а-ах! Тах! Тах! Тах!..

За оградой вспугнутое эхо скороговоркой забормотало: ах-ах-ах!..

Раз и два двинул затвором Алешка, выбросил гильзу и снова услышал хриплое:

— Рота, пли!

В конце широкой улицы — ругань, выстрелы, лошадиный визг. Прислушался Алешка — над головой тягуче-нудное: тю-юуть!..

Спустя минуту другая пуля чмокнулась в ограду на аршин повыше Алешкиной головы, облила его брызгами кирпича. В конце улицы — редкие огоньки выстрелов и беспорядочный удаляющийся грохот лошадиных копыт. Очкастый пружинисто вскочил на ноги, крикнул:

— За мной!..

Бежали. У Алешки во рту горечь и сушь, сердце не уместается в груди. В конце улицы очкастый, споткнувшись об убитую лошадь, упал. Алешка, бежавший рядом с ним, видел, как двое впереди них прыгнули через плетень и побежали по двору. Хлопнула дверь. Громыкнула щеколда.

— Вот они! Двое забегли в хату!.. — крикнул Алешка.

Очкастый, хромя на ушибленную ногу, поравнялся с Алешкой. Двор оцепили. Красноармейцы густо легли за кладбищенской огородей, по саду за кустами влажной смородины; жались в канаве. Из хаты, из окон, заложенных подушками, сначала стреляли, в промежутки между хлопающими выстрелами слышались захлебывающиеся голоса, потом все смолкло.



Очкастый и Алешка лежали рядом. Перед рассветом, когда сырая темнота, клубясь, поползла по саду, очкастый, не подымая головы, крикнул:

— Эй, вы там, сдавайтесь! А то гранату кинем!

Из хаты два выстрела. Очкастый взмахнул рукой:

— По окнам пли!

Сухой, отчетливый залп. Еще и еще. Прячась за толстыми саманными стенами, те двое стреляли редко, перебегая от окна к окну.

— Алешка, ты меньше меня ростом, ползи по канаве до сарая, кинешь гранату в дверь... Иначе мы не скоро возьмем их... Вот это кольцо сдернешь и кидай, не медли, а то убьет!..

Отвязал очкастый от пояса похожую на бутылку штуку. Алешке передал. Изгибаясь и припадая к влажной земле, полз Алешка; сверху, над канавой, пули косили бурьян, поливали его знобкой росой. Дополз до сарая, сдернул кольцо нацелился в дверь, но дверь скрипнула, дрогнула, распахнулась... Через порог шагнули двое; передний на руках держал девчонку лет четырех, в предутренних сумерках четко белела рубашонка холстинная, у второго изорванные казачьи шаровары заливала кровь; стоял он, голову свесив набок, цепляясь за дверной косяк.

— Сдаемся! Не стрелять! Дите убьете!

Увидал Алешка, как из хаты к порогу метнулась женщина, собой заслоняя девочку, с криком заламывая руки; назад оглянулся — очкастый привстал на колени, а сам блее мела; по сторонам глянул.

Понял Алешка, что ему надо делать. Зубы у Алешки большие и редкие, а у кого зубы редкие, у того и сердце мягкое. Так говорила, бывало, Алешкина мать. На гранату блестящую, на бутылку похожую, лег он животом, лицо ладонями закрыл...

Но очкастый метнулся к Алешке, пинком ноги отбросил его, с перекошенным ртом мгновенно ухватил гранату, швырнул ее в сторону. Через секунду над садом всплеснул-

ся огненный столб, услышал Алешка грохочущий гул, стонущий крик очкастого и почувствовал, как что-то вонючесерное опалило ему грудь, а на глаза навалилась густая колкая пелена.

\* \* \*

Когда очнулся Алешка, увидел над собою зеленое — от бессонных ночей — лицо очкастого.

Попробовал Алешка приподнять голову, но грудь обожгло болью, застонал, засмеялся.

— Я живой... не помер...

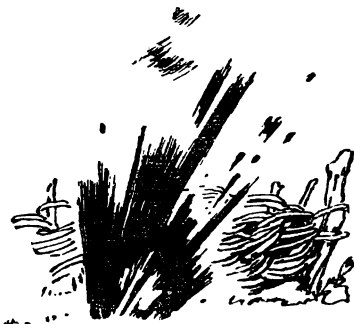
— И не помрешь, Леня!.. Тебе помирать теперь нельзя. Вот гляди!..

В руке очкастого билет с номером, поднес к Алешкиным глазам, читает:

— Член РКСМ, Попов Алексей... Понял, Алешка?.. На полвершка от сердца попал тебе осколок гранаты... А теперь мы тебя вылечили, пускай твое сердце еще постучит — на пользу рабоче-крестьянской власти.

Жмет очкастый руку Алешке, а Алешка под тусклыми, запотевшими очками увидел то, чего никогда раньше не видал: две небольшие серебристые слезинки и кривую, дрожащую улыбку.

1925





**Лев Канторович**

### **КОНЕЦ ИБРАГИМ-БЕКА**

Ибрагим-бек и пятьсот лучших его джигитов скакали по пескам к посту № 9.

На северо-запад от границы, в пустыне, рыли каналы, плотиной перегораживали реку. Огромное строительство подходило к концу. Скоро по сложной системе каналов и арыков потечет вода. Пустыня тогда оживет, зацветет хлопком, зазеленеет травами. Напоенная земля принесет стране обильные урожаи, богатство и счастье.

Басмачи получили приказ проникнуть через границу, взорвать плотину, разрушить каналы и перебить строителей.

Ибрагим-бек ехал впереди отряда. За его спиной — полтысячи всадников, полтысячи сабель, полтысячи превосход-

ных английских винтовок. В зеленой чалме — он видел Мекку — согнулся в высоком седле Ибрагим-бек. Он торопил своего коня. Тяжелая разукрашенная плеть часто секла лоснящиеся белые бока коня.

Неслись по рыхлым пескам лошади. Пестрели халаты. Мохнатые шапки низко надвинуты на сверкающие злобой глаза. В пыли тускло блестело оружие.

Вихрем налететь, сжечь, уничтожить, убить и так же быстро исчезнуть в пустыне, чтобы красные не успели бросить на него свои отряды.

Именем Ибрагим-бека пугали детей. Страшная слава Ибрагим-бека облетела кишлаки и селения.

Ибрагим-бек, враг своей страны, человек без родины, человек, в душе которого остались только злоба и месть, не дешево продаст красным свою жизнь. Кровью и огнем рассчитается он за отнятое у него революцией богатство.

Ибрагим-бек знал не хуже своих хозяев-англичан, какого труда стоила постройка плотины. Пусть поможет аллах и счастливым будет день, когда плотина взлетит на воздух.

На посту № 9 — десять пограничников, начальник поста и начальник отряда со своим шофером. Всего тринадцать человек.

Начальник отряда приехал утром. Высокого роста, худой и сгорбленный, с лицом, сожженным солнцем, он был неразговорчив и мрачен. Его мучила малярия. Страшные скачки температуры, ледяной озноб после смертельного жара. То, весь мокрый от пота, он расстегивал ворот гимнастерки, то зябко кутался в мохнатую бурку, а зубы лихорадочно стучали.

Начальник отряда сам обошел весь участок.

Басмачи идут к посту № 9. Другого пути им нет. Широкая, быстрая река переходима вброд только у поста № 9, где узкий проток, соединяясь с главным руслом, нанес песок и камни. Река здесь делает поворот, течение немного медленнее и глубина меньше.

От поста до этого места не больше трех километров, но, пока начальник отряда дошел до брода, ему пришлось раз десять присаживаться на камни. Мутные круги танцевали перед глазами. Монотонный звон стоял в ушах. Начальник стискивал зубы, мелкие песчинки скрипели на зубах. Загорелая кожа натягивалась на острых скулах. Очень хотелось лечь, укрыться буркой до самого подбородка и зажмурить глаза. Казалось, если лежать совсем не двигаясь, утихнет пляска пятен перед глазами, смолкнет звон в ушах. Но начальник подымался и, правда слегка пошатываясь, упрямо шел по участку.

На пост № 9 должен был прибыть из города кавалерийский отряд. По плану отряд давно уже должен был быть здесь. Но разве можно точно рассчитывать в этих местах?

А на посту № 9 — одиннадцать человек да еще шофер... Двенадцать... Да он сам, начальник. Всего тринадцать бойцов, Мальчишка-кочевник, который прискакал на загнанной лошади и донес пограничникам о басмачах, говорил, что сам Ибрагим-бек едет впереди банды.

Если бы не опаздывал отряд! Летя ночью на машине к посту № 9, начальник продумал план во всех деталях. Двумя эскадронами еще днем закрыть реку и, отойдя к юго-востоку, пересечь Ибрагим-беку отступление; остальным укрыться за сопками у брода; дать возможность половине басмачей перейти реку и тогда ударить в лоб, сбросить Ибрагим-бека обратно, двумя эскадронами зажать его с тыла — и кончено.

Лошади не могут мчаться как автомобиль. Отряда нет. Уже солнце низко спустилось к горизонту. Через каких-нибудь три часа стемнеет, и Ибрагим-бек перейдет реку.

Начальник вернулся на пост. Он прошел в комнату начальника поста. Через тонкую перегородку слышен неистовый охрипый голос: «Алло! Алло! Отряд...» — и звон полевого телефона. Уже пять часов безуспешно пытались связаться с городом.

Начальник поста встал навстречу.

— Разрешите доложить, товарищ начальник отряда,— сказал он.— С городом наладить связь не удалось, очевидно перерезан провод. Отряд не прибыл. Какие будут ваши приказания?

«Итак, Ибрагим-бек, против тебя тринадцать человек».

— Приказываю участок поста номер девять защищать.

Начальник расставил засады. Весь свой гарнизон он разделил на шесть «отрядов», по два человека в каждом, и разместил на сопках.

Черная, безлунная южная ночь распростерлась над пустыней. Начальник погасил лампу и в совершенном мраке вышел из дома. Приступ малярии прошел. Начальник слушал тишину пустыни. А темнота сгущалась все больше и больше. Казалось, уже не может быть темнее, но проходило несколько секунд — и темные силуэты сопки становились еще более черными, черное небо обнимало землю.

Начальник вынес пулемет, вставил диск и лег на землю. Земля была прохладная, чуть сырая. Начальник понимал, что значит оборонять пост против пятисот всадников в страшной этой темноте, с одним пулеметом и тринадцатью винтовками.

Лежа у пулемета, начальник думал о том, что враг снова уйдет от него, и от досады грыз ногти.

Пустыня взорвалась громом выстрелов, где-то совсем близко завизжали басмачи, призывая аллаха, и сверкнул огонь. Начальник повернул пулемет в ту сторону и расстрелял весь диск в черное пространство. Когда пулемет кончил стрелять, стало совсем тихо. Начальник сел и вытер вспотевшее лицо. Прошло минут пять.

Вдруг издалека, со стороны брода, раздалась подряд два взрыва и частым грохотом затрещали винтовки.

Потом снова все смолкло, и до утра уже ничто не нарушало тишины. Только шакалы выли и дрались где-то совсем близко в сопках.

Желтое солнце вылезло из-за сопок.

Пограничники сходились на заставу. Они докладывали начальнику отряда. Одному из бойцов шальная пуля попала в ногу. Он ковылял, хромая и опираясь на винтовку. Доложив начальнику, он тут же сел на землю и стал стаскивать наполненный кровью сапог.

Начальник отряда кутался в бурку. Его снова лихорадило.

Все говорили одно и то же: в полной темноте они услышали, как началась стрельба, как пели басмачи свою молитву, как топали кони. Они все стреляли, но не знали, кто первый начал перестрелку и попадали ли их пули в цель.

Измученные бессонной ночью, бойцы молча стояли перед начальником. Он чувствовал, что нужно ободрить их, сказать им что-нибудь. Опять пятна заплескались перед глазами и зазвенело в ушах. Стараясь сосредоточиться, начальник машинально сосчитал бойцов. Вдруг он выпрямился и шагнул вперед.

— Вас десять. Где еще двое? — сказал он громко.

Заговорил начальник поста.

— Нет Маркова и Корнеева. Они были в самой отдаленной засаде, в засаде у брода, товарищ начальник, — сказал он.

Тревожась за товарищей, пограничники вышли за ворота и увидели на сопках двоих людей, спешивших к заставе. Люди приближались очень быстро, и скоро все узнали красноармейцев Маркова и Корнеева.

Марков, коренастый, крепкий и очень сильный человек, был старослужащим. Два года он провел на посту № 9. Лучший стрелок на заставе, боец, отличный во всех отношениях, он с трогательной заботливостью относился к молодому Корнееву. Корнеев, стройный блондин, всего три месяца тому назад был призван в пограничные войска. На пост № 9 его прислали совсем недавно, и многое еще казалось ему очень трудным. Пески сопки были так не похожи на сады

Киевщины, откуда Корнеев был родом! Корнеев был комсомольцем, как и Марков. Ячейка поручила Маркову помогать молодому бойцу. В опасную засаду у брода послали вместе с опытным Марковым Корнеева.

Марков и Корнеев никогда не расставались. За последний месяц они подружились, и дружба их была такой крепкой и самоотверженной, какая может быть только у двух юношей, во всем помогающих друг другу, живущих вместе и работающих в тяжелых условиях почти непрерывного боя. Вся застава очень любила обоих друзей.

Поэтому всем стало веселее, когда Марков и Корнеев, совершенно здоровые, запыхавшиеся и возбужденные, подбежали к посту и, тяжело дыша, вытянулись перед начальником отряда.

Начальник приказал рассказать обо всем подробно.

— Разрешите доложить, товарищ начальник отряда,— начал Марков.— Еще засветло мы с товарищем Корнеевым дошли до брода и, согласно вашему приказу, расположились, укрывшись за вершиной сопки. В двадцать один час стемнело. С местоположения засады нам был виден довольно обширный участок сопки и реки. Сверху и пост мы видели, но, когда совсем стемнело, поста видно не стало. Лежали мы молча. Около двадцати четырех часов товарищ Корнеев подползает ко мне вплотную... Я его сначала поместил несколько южнее, метрах в десяти от себя, за камнями. Там горкой камни навалены. В случае стрельбы это прикрытие надежнее. А сам я в песке прорыл некоторое углубление и лег в нем. Значит, подползает товарищ Корнеев ко мне и шепчет прямо в ухо: «Который час?» Только я, конечно, вижу, что просто парню одному лежать тяжело стало. Оно и верно: ночь, не видать ни зги, шакал воет,— жутко.

Я шепнул товарищу Корнееву про время, что, наверно, уже часа двадцать четыре, и опять мы лежим молча. Тихо очень было, товарищ начальник, и я только слышал, как товарищ Корнеев дышит сбоку от меня. Навернсе, час проле-



жали мы так. Товарищ Корнеев опять к моему уху тянется и шепчет, что слышу ли я, мол, топот в пустыне. А я уже давно топот слышал и только молчал — пусть сам заметит. Я говорю товарищу Корнееву — это, мол, кавалерия. Большой отряд кавалерии передвигается в сторону брода. Тут товарищ Корнеев хватает винтовку и шепчет, что давай, мол, будем стрелять. Я ему разъяснил боевую задачу: огонь открывать, только когда противник достигнет реки и голова отряда переправится на наш берег. Засада расположена в таком месте, что миновать ее противнику невозможно, так как мы, согласно вашему приказу, сидели над самым бродом. Товарищ Корнеев, конечно, понял и начал ждать моей команды. А противник приближался быстро, судя по топоту. Потом мы уже увидели большой отряд, который остановился на том берегу реки. Хоть и очень было темно, но сверху песок выглядит белым, а всякий предмет выделяется темным. Противник соблюдал все меры предосторожности, и нам было даже удивительно, товарищ начальник, как могла такая масса всадников сохранить такую тишину.

Потом от основных сил противника отделился небольшой отряд человек в двадцать. Они въехали в реку и стали переправляться. Товарищ Корнеев тут снова заторопился стрелять. Я даже схватил рукой его винтовку. Вижу, парня лихорадка колотит. Я уже не стал объяснять ему, товарищ начальник, что это только разведка, а нам надо дожидаться, пока станет переправляться главный отряд. Я только отвел рукой винтовку товарища Корнеева и шепнул ему, чтобы он ждал команду, а то худо будет. Разведчики противника перешли реку и проехали под нами в сторону поста. Там они, конечно, наткнулись на наших. Мы слышали перестрелку, шум, и тут весь отряд басмачей кидается в воду и идет на наш берег.

И в третий раз хватается товарищ Корнеев за винтовку. Я на него только смотрю и, простите, товарищ начальник, ругаюсь тихо, одними губами. Ну, он, конечно, не стреляет.

Я вижу, парень ужас как волнуется, но жду. Согласно вашему приказу, нам были выданы две гранаты, и я отложил винтовку, а гранаты положил рядом. И вот, когда голова противника начала подыматься на наш берег, я приготовился бросать. Оглянулся на товарища Корнеева. Он стоит на колене, винтовка у плеча, губы закусил, а не стреляет и смотрит на меня не отрываясь. Тогда я кинул гранату вниз, в самую середину отряда противника, и крикнул: «Залп!» Тут товарищ Корнеев начал стрелять. Я не видел, как разорвалась первая граната, так как торопился кинуть вторую. Потом, кинув вторую гранату, взял свою винтовку, и мы с товарищем Корнеевым расстреляли все патроны. Противник открыл по нас огонь, но безуспешно. Потом все стихло, а мы, расстреляв все патроны, не решались выглядывать и до зари пролежали на сопке. А как поднялось солнце, прибежали на пост. Вот и все, товарищ начальник. Очень нам смешно стало, как я от волнения товарищу Корнееву командовал «залп» из одной винтовки.

Марков кончил.

Начальник отряда пожал ему и Корнееву руку и поблагодарил.

«Оказывается, вот они какие,— думал начальник,— молодые бойцы, не видавшие войны...»

В своей машине начальник поехал к броду.

Марков и Корнеев сопровождали машину верхом, а шофер ехал медленно, чтобы лошади не отставали. Оставив машину наверху, начальник отряда спустился к реке. На берегу лежало с дюжину конских трупов и семь мертвецов в цветных халатах. Один убитый застрял на камнях с краю отмели. Возможно, что еще многих унесло течением. Копыта пятисот коней пропахали в песке широкий след. Около сопки, где сидели Марков и Корнеев, след этот делал огромную петлю, длиной в километр. Пятьсот лучших джигитов Ибрагим-бека ускакали в сторону от двух советских пограничников.

А сам Ибрагим-бек так и не принес благодарность аллаху за разрушение плотины. Утром, немного отойдя от поста № 9, банда встретила кавалерийский отряд.

Уходить обратно через пост № 9 Ибрагим-бек боялся, так как после боя у переправы басмачи думали, что на посту сосредоточены большие силы.

Ибрагим-бек решил попробовать прорваться. Красные отбили атаку, ударили сразу с обоих флангов, смяли басмачей и рассеяли по долине. Под Ибрагим-беком убили коня и самого его, раненного в руку, захватили в плен. Бой кончился.

Несколько дней спустя, когда Ибрагим-бека привезли в город, чтобы судить, начальник отряда рассказал ему о том, что на посту № 9 всего тринадцать человек, а в засаде у брода всего двое. Ибрагим-бек ничего не сказал тогда начальнику. Но ночью в своей камере он плакал от злобы, мучаясь бессильной яростью.

1936





**Сергей Диковский**

### **НАША ЗАНДА**

...Не всегда стреляет под каблуком ветка. Не всегда шелестом травы или стуком камней отмечен путь нарушителей.

Бывают переходы границы бесследные, как бег по хвое, как прыжок в воду. Контрабандисты прорвались через кордон. Прорвались удачно. Нет ни брошенных окурков, ни прямой травы, ни остатков костра. Шорох и тени в тайге. Для глаз же — сосновые курчавые волны до горизонта, из которых торчат каменные пальцы скал. Для ушей — скулеж ветра, застрявшего в сучьях и хвое.

Переход бесследен, и тогда на помощь уху и глазу приходит изумительный аппарат, которым располагает застава.

Весь он уместается на конце колючей волчьей морды. Влажный черный шагреневый кусок кожи. Всегда беспокойные, всегда открытые ветру ноздри. И вдобавок к ним — квадратная грудь волкодава, уши, встречающие шорох, как проворные косые паруса — ветер, белый капкан зубов, готовый раздробить бычьи кости, и, наконец, ноги степного волка.

Прибавьте к этому страсть следопыта, молодое любопытство, находчивость, рожденную трудной практикой, и это будет Занда — первая и лучшая овчарка заставы Н.

В майский, полный запахов день в ворота заставы вошли двое: Ацентьев и Занда — младший командир с лицом темнее своих белесых волос и немецкая овчарка, почти щенок, но с волка ростом.

До сих пор застава работала без собак, и Занда вошла в высокую будку среди недоверчивых усмешек и снисходительного панибратства. Даже старогодники косо поглядывали на дрессированного щенка. Слишком уж молода, слишком самоуверенна эта красивая голова! Подумаешь, специалистка! Со школьной скамьи — прямо в тайгу. Посмотрим, что будет с тобой, Занда, когда возле твоих ушей твякнет наган!

И Крылов, повар заставы, фанатик конного дела, отверг за щенком право на мысль.

— Конь по уму наравне с обезьяной, — сказал он, добросовестно наливая Занде щей, — но собаке догнать коня — это все равно как копытами обрасти.

Ацентьев не спорил. Он поковырял в щах щепкой и отставил миску в сторону.

— Придется варить отдельно.

— Что же, не жирно? — спросил Крылов с большой обидой в голосе.

— Жир при диете не нужен. Придется отдельно.

— Собаке?

— Да, Занде.

В первый же день щенок удивил заставу воспитанием. Кто-то из бойцов кинул ему мозговой мосол, от которого помутились бы глаза у любого пса. Занда же остановилась над костью в горестной задумчивости: губы ее дрожали, хвост раскачивался, как маятник, отмечающий нетерпение, глаза вопросительно смотрели на проводника.

— Занда, фу! — сказал Акентьев, и собака, конфузясь, отошла в сторону.

Многое было сначала непонятно в дружбе человека с немецкой овчаркой. Почему младший командир, старый комсомолец Акентьев, командует одной собакой? Где грань между дрессировкой и умом? Инстинктом и находчивостью? Почему у Акентьева Занда повинуется шепоту, словно кошка ползет на брюхе, по садовой лестнице взбирается на второй этаж, подает голос, берет метровый барьер, а к другим не поворачивает заносчивой морды?

И почему спокойный проводник так горячится против ласкового панибратства бойцов с собакой? Разве написано в уставе, что нельзя на досуге бойцу запустить пятерню в густую шерсть Занды?

Красноармеец Сурков, играя, щелкнул Занду по носу. Щенок сморщил нос, удивленный фамильярностью.

А Акентьев полчаса добросовестно пилил обидчика всеми параграфами устава.

— Вам командир разрешает играть с пулеметом? — спрашивал он. — Затыльник, к примеру, вынуть?

— То пулемет, а то собака.

— Умница... Ну, а что такое собака?

И оказывалось, что Занда, так подозрительно косящая глаза из будки, — друг, почтальон, разведчик; словом, четвероногая техника, которую щелкать по носу преступно.

Дружба завязалась не сразу. Нужен был первый выход, чтобы исчезли последние усмешки скептиков. Нужен был месяц, чтобы каждый красноармеец знал:

Занда распутала семь переходов.

Занда по спичкам отыскала виновников поджога коммуны.

Занда равнодушна к выстрелам.

Только тогда собаку поставили рядом с конем. В «иличевке» появилась статья «Наша Занда», и художник нарисовал овчарку по пояс, с ее сверкающими глазами, широкой пастью и языком, который не лижет ничьих рук.

Да, чудесного щенка привел Акентьев! В его добросовестные комсомольские руки питомник передал большеротого глупого волчонка, а через год Акентьев водил на поводке живую легенду границы: друга, которому, как и коню, нет цены.

Не было бы Акентьева, этой терпеливой собачьей няньки с поводком и уставом в кармане,— не было бы овчарки, стерегущей запахи на границе Маньчжурии. Пройдя в Сибири школу батрачины, Акентьев вынес из нее комсомольский билет, рваные штаны и руки, безработные только во сне. Остальное: грамотность, дисциплину, специальность, страсть к рассудительности — дала полковая школа пограничников.

Попади Акентьев не в питомник, а на Днепрострой, он так же настойчиво и упрямо осваивал бы какой-нибудь кран-деррик, так же пилил бы каменщиков, тыкающих пальцы в машины. Здесь на его руках был мокроносый озорной щенок с молочными глазами. Проводник Акентьев видел первый азартный прыжок собаки через барьер. Первый принял у Занды апорт. Первый сказал слово короче приказа «огонь»: «Фас».

Повинуясь только Акентьеву, большеротый щенок начал бегать за запахами, как котенок за клубком ниток. Удивительно быстро рос этот клубок. Первый месяц Занда могла разматывать его на километр—и то если запах прочен и густ. Через год она даже шорох слышала за километр. След же, исчезнувший для других собак через три—пять часов, тревожил ее беспокойные ноздри через шесть — восемь.

Она воспринимала запах не хуже, чем пальцы слепого — поверхность предмета. Вероятно, запах новых сапог нарушителя тек мимо собачьих ноздрей медлительно, раздражающей рекой, чеснок жег ноздри, рассыпанный табак ослеплял, как вспышка магния.

Акентьев был младшим командиром, проводником и летописцем. За три года он исписал старательными горбатыми буквами целую книгу о подвигах Занды. Книгу рассказов по двадцать строк.

Чуть округленные в разговоре, карликовые рассказы о друге-собаке выглядят так:

### Р а с с к а з № 1

#### **Как Занда удивила спиртоноса**

Мы ехали втроем дозором: я, Ганичкин и Буняев. Перед утром встал туман. Тогда мы слезли у тропы, и Занда подняла уши. Тут кони сильно зазвенели удилами, я испугался, как бы не было помехи. Но Занда пошла вперед и очень скоро выгнала на тропу китайца. Деньги в клеенке, на сумму семнадцать тысяч триста сорок рублей, он, конечно, успел забросить в кусты. Но мы их заметили, не затрудняясь.

Я спросил китайца: «Сколько люди?» Он ответил: «Моя один». Тогда я посмотрел на Занду и понял, что он врет. Вскоре Занда отыскала еще восемь человек. Один, в хорошем костюме, бритый, с шифром, хотел убежать, но я сказал «фас» — и Занда привела его, кусая за мягкое место. И он очень удивился, как чисто работает наша Занда.

### Р а с с к а з № 2

#### **Какие бывают камни**

Если вы смотрели на карту, то знаете, что ручей лежит за Карпухиной падью. Мы же тогда несли наряд на правом фланге за двадцать километров.



Едва мы пришли, как Занда взяла след. Как раз народился месяц, и мы сказали ему спасибо. Иначе кто-нибудь из нас наверняка заработал бы увольнительную без срока. Занда полезла на такие крутояры, что сил не хватало.

Потом перешли сопку «Мать» и вышли на болото. Потом стали идти по тропе. Так шли всю ночь, и я очень радовался Занде. Но красноармеец Школьников сел перематывать портянки и стал говорить, что это козуля прошла по скалам, а если кто из людей, то пусть его другая застава ловит. Я же видел, что Занда идет не верхним чутьем, а значит — по следу.

Мы уже совсем устали, и тут в кустах закричали птицей. Школьников, по малограмотности, посчитал, что это фазан. Но у фазана голос короче и всегда похож на простуженный. Здесь же было подражание.

Школьников хотел идти домой, потому что он «не рыжий — козуль по горам гонять». Но я сказал ему, что при такой политике можно наверняка потерять комсомольский билет.

Тут Занда стала вести меня за рукав к ручью, и мы увидели, какие «козули» ходят по ночам. Их было пять человек, причем все под видом камней лежали в ручье и так застыли, что мы их согревали, гоняя бегом. Однако случай этот для Занды еще не так характерен, потому что шли нарушители скопом и с сильным запахом овчины!

В этом году на заставу пришел приказ: командование перебрасывало «Занду, немецкую овчарку, трех лет» на другой участок, где тревожнее пахнет контрабандой, шпионажем, диверсией.

Младший командир Акентьев выслушал приказ и стал укладывать в вещевой мешок по порядку: уставы, дневник, запасной ошейник, гребешки и голубую миску Занды, так возмутившую когда-то повара. Он был спокоен. Застава

освоила четвероногую технику. Занда уходила, но новый большеротый серый волчонок показывал любопытный нос из будки, и комсомолец-проводник, обученный Акентьевым, восклицал укоризненно:

— Фу, Барс!

Вся застава вышла проводить Акентьева и Занду. Старый любитель коней повар Крылов последним подошел к проводнику.

— Три самых умных животных есть на свете,— сказал он философски,— обезьяна, конь и Занда. Будь здоров, Акентьев!

Они уходили в широкие ворота сопок, не оглядываясь: младший командир с лицом темнее белесых волос и огромная немецкая овчарка. Тяжелый хвост собаки бил по ногам, знаменитый беспокойный нос лежал на тропе.

И было ясно: новый клубок запахов без конца разматывается перед Зандой.

1932



**ВЕЛИКАЯ**

**ОТЕЧЕСТВЕННАЯ...**



*Бой идет святой и правый,  
Смертный бой не ради славы,  
Ради жизни на земле.*

*А. ТВАРДОВСКИЙ*



**Лев Линьков**

### **СЕРДЦЕ АЛЕКСАНДРА СИВАЧЕВА**

Эту быль, похожую на легенду, нам рассказал осенью 1944 года восьмидесятилетний Яков Брыня, житель белорусской деревни Головенчицы, что близ Гродно. Возможно, и не все сохранила его память — чересчур уж много лиха выпало на седую голову: фашисты насмерть засекли жёну — старуха не выдала партизанские тропы, — угнали на каторгу дочь, спалили дом и сам он поранен — правая рука висит плетью. Но, глядя на его испещренное глубокими морщинами лицо, в глаза его, все еще ясные и мудрые, каждый из нас чувствовал: ничто не сломило гордого человека.

— По-разному живут люди,— начал старик,— кто ярким пламенем горит, и себе на весь век, и другим света его хватает: идешь за ним — и тепло тебе, и дорогу впереди далеко видать. А бывают и такие, в которых огонек чуть теплится. Комар чихнет — погасит. Таким и под ногами темень...

Гляньте, за крайними хатами земля черным-черна. Там пограничная застава стояла; там и жил старший лейтенант Александр Сивачев с пограничниками. Солдаты у него были как на подбор, один к одному. И сам товарищ Сивачев хоть и молод был, а с большим огнем в душе! Любили у нас на деревне и Александра, и его бойцов. Не упомянул я, как всех по именам звать. Знаю: заместителем у Сивачева состоял Петр Грищенко, лейтенант. Ординарцем — Ваня Нехода. Ездовым — Корниенко, тоже Иван. Были еще рядовые: Куприянов, Кононенко, Власов, а других по имени назвать не могу.

В ладу мы, колхозники, с пограничниками жили. Чуть какая неясность либо заминка — к Сивачеву. Он и рассудит и объяснит. Кого неизвестного в поле или в лесу узреем — опять же на заставу: так, мол, и так, неясный для нас человек вокруг Головенчиц бродит.

По вечерам и воскресеньям вся наша молодежь сбегалась к заставе. У пограничников и баян, и балалайка, играли — заслушаешься, и песни пели звонко, а лучше всех играл и пел сам Александр...

Будто вчера та суббота была двадцать первого июня сорок первого года. Проходил я перед полуночью близ заставы. Гляжу — старший лейтенант вывел своих молодцов, и они окопы лопатами подравнивают: то ли чуял старший лейтенант, что напасть идет, то ли так по планам было положено. Спрашиваю: «Чего, мол, вы так усердно землю тревожите?» Александр только улыбнулся: «Надо, дед».

Ночью я снова на баз к скотине выходил — дом мой находился как раз в соседстве с заставой,— слушаю: звенят

лопаты, работают пограничники. А под утро, когда совсем уже светло стало, — будто небо треснуло над нашими Головенчицами. Вскочил я, глянул в окно — огонь вокруг. Выбежал в чем был на улицу. Женщины кругом криком кричат, дети плачут, скотина обезумела.

С нашей околицы пальба гремит, на границе. Долго ли сообразить — война! Фашист напал. Все поджилки у меня от страха затряслись. А чем Сивачеву помочь? Вилами да лопатой пулю со снарядом не упредишь. Пришлось в погребе хорониться. Народу там понабилось! Плач, стон. «Нам-то здесь что, — говорю женкам, — а каково пограничникам?» Не утерпела душа, выбрался из погреба.

Фашисты вовсю рвутся — через нашу деревню на шоссе прямой путь. А пограничники не пускают: целую поленицу врагов положили перед окопами.

Фашисты поняли, видно, — не по зубам орех. Приставили к животам автоматы и пошли по огородам в обход. Пули кругом летят, на лету горят, а пограничники замолчали. Неужто всех перебил проклятый? Только подумал я — опять из окопов пулемет начал стрелять. Фашист спину с пятками показал. Отлегло от сердца. Подполз к забору. Поле и опушку оттуда видно хорошо. Гляжу — враги пушки выкатили. Как полыхнет! Меня ветром сдуло, глаза песком забило, вроде ослеп. Земля ходуном ходит — снаряды рвутся на самой заставе.

Вспомнил я прошлую войну, когда сам был в солдатах, догадался: фашист ведет огонь прямой наводкой. Протер глаза, привстал и опять с копыт долой. Сразу несколько снарядов в казарму угодило. Крышу снесло, дом рухнул, и огонь до самых облаков.

Снова фашисты пошли в атаку. С трех сторон бегут, горланят. Совсем пьяные. А наши опять молчат. Не иначе, на этот раз окаянный враг перебил пограничников... И тут слышу Сашин голос: «Огонь! За Советскую родину огонь!»

И где силы взяли наши пограничники?! Все вокруг го-

рит, бревна попадали на окопы, земля изрыта снарядами, вроде бы там нет местечка для живого человека, — а живы, бьются!

Моя старуха набралась храбрости, выбралась из погребка, за ноги хватает: «Уйди!» Где там уйди! Махнул я на нее рукой: «Сама хоронись!» — и к заставе. Пули над головой зик-зик, а потом слышу Ваню Неходу: «Куда ты, дед? Я, говорит, тебя не признал, чуть в покойника не обернул!» Тут и Сивачев появился. Голова перевязана. На перевязке кровь, а лицо строгое, спокойное. «Не тревожься за нас, дед, и вы, товарищи колхозники, не тревожьтесь!» За мной следом еще человек пять приползло. «Вас здесь, безоружных, перебьют, забирайте жен с ребятами, стариков — да в лес». И отправил всех обратно.

Тут опять пушки загрохотали, опять враг по заставе начал бить прямой наводкой. Дополз я до своей хаты, а вместо хаты — костер.

А время уж к полудню. Немец опять в атаку с трех сторон пошел. А Сашка молчит. Нет, думаю, жив он, угостит вас сейчас. И верно: стреляют, стреляют наши! Только звук уж не тот — один пулемет слышно с той стороны, где я Сивачева видал, и винтовок пять, не больше. Одних фашистов в гроб кладут, а другие лезут и лезут. Глядь — уж мимо колодца трое бегут, в руках гранаты, замахнулись да так в землю и плюхнулись, подкосил их Сашин пулемет.

Тогда по земле гул прокатился. Из лесу выкатилось восемь танков. На бортах черные кресты. Грохочут, из пушек, из пулеметов палят. Один на переднем окопе вертится, другие — прямо на заставу.

Что это слышу? Песня! Грохот, пальба, а песня над всем, будто орлица, взлетела, и ничто не в силах ее заглушить. Танки остановились. А Александр Сивачев из окопов во весь рост поднялся, и за ним пятеро пограничников. Запели «Интернационал» и с гранатами ринулись на фашистские танки...



Что дальше было, не видел: в погреб меня утянули. Смотрю — рука окровавилась. Раньше и боли не чуял.

Бой смолк только часа в два после полудня. Стороной ушел на восток. Наши люди, кто посмелее, из погреба вышли, я за ними — и на заставу. Там угли, земля да кровь. Погибли наши дорогие товарищи — которые от снарядов, которые от пуль, а кто под танками. Вот как бились пограничники! Одиннадцать часов бились! Три танка пожгли. Шестьдесят четыре фашиста насмерть положили. А раненых и сосчитать было невозможно.

Ночью мы опять на место боя пробрались. Достали из-под обломков мертвых пограничников и похоронили за околицей под дубом.

Узнал фашистский комендант — с землей могилу сровнял. А на другое утро на том месте опять холмик вырос, и весь в цветах. Сколько раз ни разрушали враги ту могилу, она все нерушимой была.

В ночь на третье июля — вовек этой ночи не забыть! — я с внучонком в поле за цветами направился. Насобирав цветов, ползу к могиле и сам себе не верю: над братским холмом огонь мерцает. Сначала будто светлячок, а потом все пуще. Ярким пламенем поднялся.

Мне словно кто новые силы в жилы влил. Весь страх у меня перед фашистами пропал, встал я с земли, цветы вверх поднял, иду на алый огонь. А он словно из самой земли идет, живой кровью светится.

Подхожу, а огонь все выше, все шире — полнеба захватил.

Поднялся я на холм, где пограничная братская могила была, понял: за лесом пожар громадный.

А утром, — продолжал дед, — пришел к нам в деревню пограничник — зеленая фуражка на голове, в руке автомат. И как он, по всей форме одетый, смог пройти мимо вражеских постов! Пришел, собрал нас, колхозников, и говорит: «Сейчас из Москвы по радио приказ пришел. Родина наша

зовет весь народ на борьбу с врагом. Велено создавать партизанские отряды, не давать фашистам пощады».

«А ты сам-то кто такой будешь?» — спрашиваем.

Он вынул из кармана красную книжечку:

«Коммунист!..»

Тогда мы всей деревней и ушли в лес, к партизанам. Там узнали: ночью партизаны за лесом опрокинули под откос вражеский эшелон с бомбами. Командиром у них был тот самый пограничник, а отряд назвали именем Александра Сивачева.

Старик оглядел нас:

— Мы, крестьяне, так решили: потому Александр Сивачев и его солдаты бились до последнего, что за народ воевали, за правду. Не довелось им увидеть светлый день, а знали, что придет он. На года вперед знали.

— А где сейчас командир вашего отряда? — спросили мы.

— Из Пруссии прислал весточку, фашистов доколачивает.

...В ясном небе который уж день не видно было фашистских самолетов и дыма пожаров.

Война пронеслась над лесами и долами на запад, за пределы родной земли.

Чуть поодаль от дороги широко раскинул ветви могучий дуб, и лист у него, не глядя на сентябрь, еще зеленый и крепкий. Под дубом, за голубой оградой, — красный обелиск, увенчанный золотой звездой. Молодые елочки обступили скромный памятник, чистый песок желтеет на тропе.

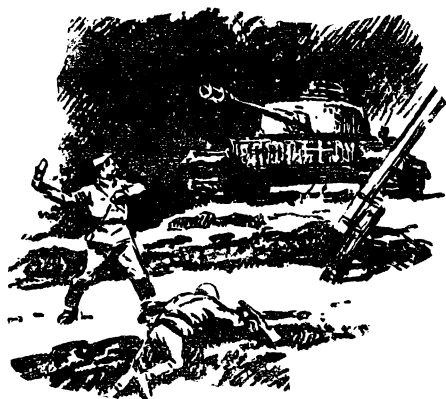
Мы обнажили головы, подошли к могильному холму и положили на него рядом с выцветшей, полуистлевшей зеленой фуражкой поздние осенние цветы. Было нас восемь солдат, лейтенант и седой старик.

Кто-то вслух прочел:

— «Здесь захоронены героические защитники советской государственной границы, павшие смертью храбрых в нерав-

ном бою с фашистскими захватчиками двадцать второго июня 1941 года...»

Прошла минута, а может быть, три. Лейтенант подал команду, мы вскинули автоматы и выстрелили залпом три раза. Это был наш салют в память людей, которых никто из нас не знал, не видел в лицо, но которые были для нас больше чем братья.





**Борис Полевой**

## **ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ МАТВЕЯ КУЗЬМИНА**

Матвей Кузьмин слыл среди односельчан нелюдимым. Жил он на отшибе от деревни, в маленькой, ветхой избенке, одиноко стоявшей на опушке леса, редко показывался на люди, был угрюм, неразговорчив и любил — с собакой, с допотопным ружьишком за плечами — в одиночку бродить по лесам и болотам. А весной, когда на деревьях набухали почки и над посиневшими крупитчатыми снегами на лесных проталинах начинали токовать глухари, он заколачивал дверь избенки и с внучонком Васей, сиротой, воспитывавшимся у него, уходил на далекое лесное озеро и пропадал целыми неделями.

Колхозники не то чтобы не любили, а как-то не понимали и сторонились его: кто знает, что на уме у человека, который чурается людей, молчит и бродит по лесам неведомо где. Да и охотничья страсть издавна не уважается в деревне. Впрочем, он исправно исполнял в колхозе обязанности сторожа, и, хотя перевалило ему уже за восемьдесят, не было в округе человека, кто рискнул бы днем или ночью покушаться на добро, охраняемое дедом Матвеем и его лохматым и свирепым Шариком.

Когда военная беда докатилась до озерного Великолужского края и в колхозе «Рассвет» стал на постой лыжный батальон расположившейся в округе немецкой горно-стрелковой дивизии, командир батальона, которому кто-то донес о мрачном, нелюдимом старике, решил, что лучшего человека в старосты ему не найти.

Матвея Кузьмина вызвали в комендатуру, разместившуюся в новом домике колхозного правления. Ему поднесли стакан немецкой водки и предложили пост. Старик поблагодарил, от угощения отказался, посетовав на нездоровье, и должность старосты не принял, сославшись на годы, глухоту и недуги. Его оставили в покое и даже вернули ему в знак особого расположения старое ружьишко, которое он было сдал по приказу коменданта.

Вспомнили немцы о Кузьмине ранней весной, когда стянули в этот озерный край силы для наступления. Дивизия горных стрелков передвинулась к передовым. Батальону, квартировавшему в колхозе «Рассвет», предстояло без боя лесами и болотами просочиться в расположение советских войск и с тыла атаковать передовые заставы части генерала Горбунова. Понадобился проводник, который хорошо знал бы лесные тропы. А кому они могли быть лучше известны, чем деду Матвею, столько раз топтавшему их своими ногами, знавшему в этих краях каждую болотинку, каждую сосенку, каждый камень в лесу, каждую тайную охотничью приметку?

Старика привели к командиру батальона, и офицер предложил ему ночью, скрытно, провести их в тыл советских огневых позиций. За отказ посулили расстрел, а за выполнение задания — денег, муки, керосину, а главное, мечту охотника — двустволку знаменитой немецкой марки «Три кольца».

Матвей Кузьмин молча стоял перед офицером, комкая мохнатую и драную баранью шапку. Взглядом знатока поглядывал он на ружье, отливавшее на солнце жемчужной матовостью воронения. Офицер нетерпеливо барабанил по столу костяшками пальцев. От этого хмурого, непонятного человека зависела его судьба, судьба батальона, а может быть, и результат всей с такой тщательностью подготовленной операции. И вот теперь, ловя жадные взгляды, которые охотник бросал на ружье, офицер старался понять, что думает сейчас этот угрюмый лесной человек.

— Хорошее ружьецо, — сказал наконец Кузьмин, погладив ствол заскорузлой ладонью, и, покосившись на офицера, спросил: — И деньжонок прибавишь, ваше благородие?

— О-о-о! — обрадованно воскликнул офицер. — Переведите ему, он деловой человек. Это хорошо. Скажите ему: немецкое командование уважает деловых людей. Переведите: немецкое командование не жалеет денег тому, кто ему верно служит.

Офицер торжествовал. Найден надежный проводник. Но даже не это было для него самым важным. За пять месяцев, проведенных им в хмурых, холодных лесах, куда он попал со своим батальоном из солнечной и веселой даже в своей беде Франции, он начал как-то инстинктивно бояться этих непонятных ему советских людей, этой хмурой, коварной природы, этих пустынных лесных просторов, где каждый сугроб, каждый куст, каждый пенек мог неожиданно выстрелить, где даже в глубоком тылу, далеко от фронта, приходилось ложиться спать не раздеваясь и класть под подушку пистолет со взведенным курком.

Но деньги, деньги! Оказывается, даже здесь, у этих странных фанатиков, которые при виде наступающего врага сами сжигают свои дома, деньги имеют силу. Как испытующе смотрит на него этот старый человек, старающийся, должно быть, понять, не обманывают ли его, заплатят ли ему!

— Скажите ему, что его услуга будет щедро вознаграждена... Предложите ему тысячу рублей,— торопливо добавил офицер.

Старик выслушал перевод, долго смотрел на офицера тяжелым взглядом из-под изжелта-серых кустистых бровей и, подумав, ответил:

— Мало. Дешево купить хотите.

— Ну, полторы, ну, две тысячи.

— Половину вперед, ваше благородие.

Посовещавшись с переводчиком, офицер тщательно отсчитал бумажки. Старик сгреб их со стола широкой жилистой узловатой рукой и небрежно сунул за подкладку шапки.

— Ладно. Поведу вас тайными тропами, какие окромя только волки знают. Скажите точно, куда выйти надо.

Ему назвали пункт, хотели показать по карте.

— Так знаю. Ходил туда лис гонять. Выведу к утру... Только с ружьишком-то не обмани, ваше благородие.

Видели колхозники, как шел он домой из офицерской квартиры, по обыкновению своему молчаливый, замкнутый, ни на кого не глядя, усмехаясь в бороду. На брань, шепотом посылаемую ему в спину, отвечал мрачной ухмылкой, а когда дюжий парень, бывший колхозный счетовод, догнал его и посулил красного петуха за якшанье с немцами, он только буркнул, не оборачиваясь:

— Поди матери скажи, чтоб нос тебе утерла.

Видели колхозники, издали следившие за избенкой Матвея, как через полчаса сбежал с крыльца внучонок Кузьмина Вася с холщовой сумкой за плечами, как скрылся он

в кустах на лесной опушке, сопровождаемый Шариком, как вынес потом на улицу старик свои широкие, подбитые мехом охотничьи лыжи и как стал их натирать медвежьим салом, поглядывая на окна избы, где жил немецкий офицер.

Когда стемнело, горно-стрелковый батальон на лыжах, в полном вооружении, с пулеметами на саночках вышел из деревни и, свернув с большой дороги, стал втягиваться в лес.

Впереди размашистым охотничьим шагом скользил на самодельных широких лыжах Матвей Кузьмин. Тьма сгущалась. Сеяло сухим, шелестящим снежком, и скоро мгла так уплотнилась, что лыжники стали видеть только спину впереди идущего. Старик вел немцев прямо по целине.

Всю ночь отряд шел по сугробам, по нехоженому насту, тянулся по оврагам, по руслам замерзших лесных ручьев, проламывался сквозь кустарник. Офицер, следивший за маршем по компасу, много раз останавливал шедшего впереди Матвея и через переводчика спрашивал, почему дорога так петляет и скоро ли конец пути. Матвей неизменно отвечал:

— Шоссеек в лесу нету... Обожди, ваше благородие, к утру будем, — и напоминал о ружье.

Постепенно теряя силы под тяжестью оружия и боеприпасов, тащились немецкие стрелки вековым лесом. В потемках они натыкались на деревья, цеплялись за кусты, наступали друг другу на лыжи, падали, поднимались, и им начинало казаться, что этот невидимый лес, тихо и грозно шумящий в ночном мраке, нарочно подбрасывает им под ноги эти сугробы, цепляется за одежду когтями кустов, расставляет на пути деревья. Окрики ефрейторов уже не могли собрать измученную, растянувшуюся колонну.

Когда забрезжил оранжевый морозный рассвет, авангард отряда вышел наконец на опушку и остановился на поляне перед глубоким, поросшим кустарником оврагом.

— Ну, кажись, пришли. Матвей Кузьмин свое дело знает, — сказал старик.



Он снял с головы шапку и вытер ею вспотевшую лысину.

И, пока измученные офицеры нервно курили, сидя прямо на снегу, с трудом держа сигареты в окостеневших, дрожащих пальцах, пока ефрейторы гортанными криками выгоняли на поляну последних оставших стрелков в грязных, изорванных в дороге маскхалатах, Матвей Кузьмин, стоя на пригорке, улыбаясь, смотрел на розовое солнышко, поднимавшееся над заискрившимися, засверкавшими снежными полями. Не скрывая усмешки, косился он на немцев.

Утро было морозное, тихое. С сухим хрустом оседал под лыжами наст. Звучно чирикали в кустах ольшаника солидные красногрудые снегири, деловито луцившие маленькие черные шишки. Где-то совсем рядом тявкнула собака.

— Матвей Кузьмин свое дело знает, — повторил старик.

Торжествующая улыбка выскользнула из-под зарослей бороды, разбежалась лучиками морщин, осветила его хмурое лицо.

И вдруг тишина была распорота сухим треском пулеметных очередей. Взвизгнули пули, взбивая над слядой наста острые фонтанчики снега. Эхо упругими раскатами пошло по лесу. С шелестом посыпался иней с потревоженных ветвей.

Пулеметы били совсем рядом, почти в упор. Лыжники, не успев даже сообразить, в чем дело, оседали на наст со страхом и недоумением на лицах. А пулеметы секли и секли снежную равнину, огнем своим сжимая колонну с двух сторон. Опомнившись, немцы кинулись было в лес, но уже и там, за кустами, сердито рокотали автоматы.

Солдаты, бросив лыжи, с криками ужаса металась по поляне, увязая в сухом снегу. Сверкающий наст покрывался грязными комьями маскировочных халатов. Опомнившись, офицер бросился к старику.

Матвей Кузьмин стоял на холмике с обнаженной головой. Его было видно издалека. Ветер трепал его бороду, развевая седые волосы, обрамлявшие лысину. Глаза, сузив-

шиеся, помолодевшие, насмешливо сверкали из-под дремучих бровей. Он злорадно следил за тем, как стадом овец, даже не пытаясь обороняться, метались фашисты.

У офицера волосы шевельнулись под материей трикотажного подшлемника. Мгновение он с каким-то мистическим ужасом смотрел на этого лесного человека, со спокойным торжеством стоявшего среди поляны, по которой гуляла смерть. Потом нервным рывком он выхватил парабеллум и навел его в лоб старику.

Матвей Кузьмин усмехнулся ему в лицо издевательски и бесстрашно.

— Хотел купить старого Матвея?.. По себе о людях судишь, фашист!..

Старик вырвал из подкладки треуха сотенные бумажки и, бросив их в офицера, презрительно отвернулся от наведенного на него пистолета. Он заметил, что пулеметчики боятся его зацепить и не стреляют в сторону пригорка, на котором он стоял. Немцы тоже заметили это и старались бежать к лесу, прикрываясь пригорком. Некоторые из них, преодолевая последние сугробы, были уже близко к спасительной опушке.

Матвей Кузьмин взмахнул мохнатой шапкой и крикнул что было мочи, во весь свой голос:

— Сынки! Не жалея Матвея, секи их хлеще, чтоб ни одна гадюка не уползла!.. Матвей...

Не договорив, он охнул и стал медленно оседать на землю, сраженный пулей немецкого офицера. Но и тому не удалось уйти. Не сделав двух шагов, он упал, подрубленный пулеметной очередью.

А вдали, в овраге, уже возникло и, нарастая, гремело «ура». Через отполированную ветрами кромку перескакивали автоматчики. Стреляя на ходу, бежали они по поляне, преследуя последних немцев, посылая им вдогонку веера пуль, настигали, валили на снег, обезоруживали и бежали дальше, в покрытый снежной пеной лес, по следам, остав-

ленным на насте. Вместе с автоматчиками бежал Вася Кузьмин, внучонок старого охотника, которого тот послал через фронт предупредить своих о готовящемся прорыве. В ногах у наступающих бойцов, захлебываясь злобным лаем, катился, проваливаясь в глубоком снегу, лохматый сердитый Шарик. Вдруг он застыл, недоуменно подняв уши. И грохот боя, гулко доносившийся из леса, прорезал тоскливый, протяжный вой...

Так прожил последний день своей долгой жизни Матвей Кузьмин, колхозник из сельхозартели «Рассвет», что под Великими Луками, славящейся сейчас своими льнами.

Его похоронили на высоком берегу Ловати, похоронили, как офицера, с воинскими почестями, дав три залпа над свежей могилой, буревшей над белыми полями комьями мерзлой земли.





**Конст. Федин**

### **МАЛЬЧИК ИЗ СЕМЛЕВА**

Шел литературный вечер в Доме Красной Армии, в Москве. Из-за стола я вглядывался в ряды слушателей, затихших в торжественном старомодном зале. Ряды уходили далеко, и лица, ясно различаемые на передних стульях, в конце зала сплывались в легкие полосы, желтоватые от электричества и слегка туманные. Аудитория состояла из командиров, прибывших с фронта. Их взгляды как будто старались не выдать горечи, которой наполнен народ на войне.

Вдруг где-то во втором ряду среди суровых и взрослых людей я увидел детское лицо, выделявшееся нежностью красок и блеском широких глаз.

Это был мальчик, одетый в военную форму, с худенькой шейкой, вытянувшейся из слишком просторного воротника с сержантскими петличками. Он был совсем невелик ростом и тянулся, чтобы лучше все видеть. Каждая черточка его лица выражала любопытство. Все происходившее с публикой происходило с ним в увеличенном размере: посмеявшись, зал становился опять серьезным, а его тонкий рот долго еще сверкал застывшей улыбкой детского удовольствия.

— Смотри,— сказал я своему другу, сидевшему за столом рядом со мной.— Смотри во второй ряд, какой там воин.

И мы начали пристально глядеть на мальчика, дивясь его присутствию здесь, его мирному облику в воинском одеянии, всей его маленькой, необычайно жизненной фигурке.

Минут десять спустя мне передали из рядов аккуратно сложенную записочку:

«Мальчик, на которого вы указали, участвовал во многих делах партизанских отрядов и регулярных частей. Дважды представлен к правительственной награде, привел десять «языков».

Мы перечитали несколько раз эти строки, поворачивая в пальцах записку и так и этак, с сомнением косясь друг на друга.

— Надо с ним поговорить,— сказал я.

И, как только кончился вечер, мы попросили разыскать в публике мальчика и привести к нам.

В смежной с залом комнате мы прождали недолго.

Вскоре раздался громкий, отчетливый стук, и очень увесистая дверь неожиданно легко отворилась. Вошел плечистый, высокий, большерукий лейтенант и, громко сдвинув ноги, распрямляясь и делаясь еще выше, спросил:

— Разрешите ввести?

В первый момент мы не совсем поняли, кого собирались ввести. Но лейтенант обращался к нам, и мы сказали:

— Пожалуйста!

Уходя, лейтенант оставил дверь приоткрытой, и на сме-

ну ему в ее узкой щели тотчас появился мальчик в военной форме. Так же как лейтенант, он щелкнул каблуками, вытянулся и взглянул нам по очереди в глаза. Любопытство подавляло всякое иное выражение на его тонком, заостренном к подбородку лице. Мы показались ему достойными самого внимательного изучения, и он был похож на охотника, впервые ожидающего появления из-за кустов редчайшей дичины.

Я думал, он непременно первый задаст нам вопрос: губы его вздрагивали, собираясь выпустить готовые слова. Но дисциплина поборола любопытство, и он стойко ждал, когда его спросят.

— Давно ли в армии? — спросил мой товарищ.

— Вот как сошел снег.

— А зимой?

— Был у партизан.

— В каких же местах?

Помолчав, он обернулся на высокого лейтенанта и, хотя у того был вполне доверительный и даже добродушный вид, ответил очень серьезно:

— Места лесные.

Мы засмеялись, и я сказал:

— Смоленские, что ли, леса-то?

Он опять посмотрел на лейтенанта и тоже засмеялся, опустив голову.

— Смоленские.

В смехе его было еще столько ребячьей прелести, что я почувствовал свежее волнение, какое испытываешь, войдя в детский сад.

— Сколько же тебе лет?

— Четырнадцать, пятнадцатый.

— Ого! А с виду ты года на два моложе.

Он пропустил это обидное замечание без всякого интереса, как будто решив терпеливо дожидаться более занятого разговора.

— А откуда ты родом?

— Из Семлева.

— Вон что! Знаю, знаю Семлево: по обе стороны железной дороги — станция и село, и совсем рядом — леса.

— Лес — так вот, подать рукой, — быстро подхватил он и весь раскрылся в своей сияющей детской улыбке, замигал часто-часто и вздернул острым носиком.

Тогда с яркостью, почти осязаемой, я увидел этого мальчика среди его родных лесов, каким он был там год или два назад, мог быть там в ту или другую минуту, на веселых тенистых холмах Смоленщины.

Я увидел его, беловолосого, без шапки, с прозрачными, как осенний ручей, остановившимися на тихой думе глазами, с голубой жилкой на виске и с голубой тенью над приоткрытой верхней губой. Вот он стоит неподвижно, чуть-чуть наклонив голову, прислушиваясь одним ухом, как закачался тяжелый лапник ели от прыжка золотисто-луковичной белки. Он смотрит, как белка сорвала прошлогоднюю еловую шишку, пошелушила ее и сердито бросила, пустую, наземь. Вот он слушает свист лимонной иволги, спрятавшейся высоко на осиновой макушке и словно передразнивающей журчание струи, которая выбилась из болотца внизу, под холмом. Вот он остановился рядом с тонкой беленькой березой, ниточкой тянущейся к высокой тихой синеве; и сам он тянется своею замершею думой высоко вверх, в молчании соединившись с вечной жизнью родной природы. Кто знает, не станет ли этот мальчик поэтом, русским поэтом, какого дает нам смоленская земля иное счастливое десятилетие?

Мальчик стоял сейчас передо мной с отражением внезапного воспоминания на лице о родной своей земле, о родине, которой наделяется человек раз в жизни и которую он несет потом в сердце через всю жизнь, как отца и мать.

— Где же твой отец? — спросил я.

— В Красной Армии.

— А мать?

— Мать? Не знаю. Говорили, ушла в лес.

— А что про тебя рассказывают, будто ты от немцев «языков» приводил?

— Приводил.

— Это когда партизаном был или в армии?

— И у партизан и в армии.

— Сколько же всего привел?

— В общем десять.

— Десять немцев? Ишь ты какой! Что же, поодиночке доставлял или как?

Мальчик опять с улыбкой обернулся на лейтенанта, но теперь его улыбка была рассеянной — видно, его расспрашивали об этих случаях уже не в первый раз.

— Когда как, — ответил он врасстяжку, — то по одному, а то по двое.

— Как, и двоих приводил? Ну, расскажи, как это было.

Он принял наше изумление за неспособность взрослых понять самые простые вещи, которые для детей обыкновенны, и сказал, оживившись, искренне желая нам помочь.

— Да немцы в разведку чаще пьяные ходят.

— Пьяные?

— Выпьют для храбрости — и пошли. Я один раз притаился в ельнике, лежу. А они по дороге идут из разведки.

— Сколько же их?

— Двое. Я вижу, пьяные.

— Что же, они качаются?

— Ну да, они на лыжах, ноги катятся, они падают, хохочут. Деревня, где они стояли, уже близко. Я пропустил их, а потом из ельника как крикну! И выстрелил! Они — раз! — кувырком. И подняться не могут, лыжи разъехались. Я их и взял.

— Да как же взял? Ты один, а их двое.

— Подбежал, стрельнул одному в руку, а другого по башке револьвером — стук! — и разоружил. Связал им руки назад, а потом наша разведка подоспела. И повели...

Он подождал немного и добавил:



— Еще раз я тоже взял двоих, а один не захотел идти.  
Уперся — никак.

— Ну и что же?

— Ничего. Пристрелил его, а другой пошел.

Развеселившееся лицо его говорило: видите, все очень просто, а вы изумляетесь! И выходило действительно так просто, что уже нечего было больше спрашивать, и мы молча смотрели на мальчика. Тогда с заново вспыхнувшим любопытством он быстро спросил:

— Вот вы сегодня читали рассказ: что это, правда или вы это придумываете?

— Зачем придумывать? — ответил я. — Правда интереснее всякой придумки.

— Да-а, как бы не так! — протянул он с полным недоверием.

— Разрешите?.. — сказал высокий лейтенант, делая вежливый полушаг вперед. — Нам пора.

— Вы что же, приставлены к нему? — спросил мой друг, кивнув на мальчика.

— По вечерам, — сказал лейтенант. — Он ведь в Москве первый раз, мало ли — заблудиться может, и движение порядочное...

Они оба — большой и маленький — сделали шумный поворот по-военному и вышли...





**Вадим Кожевников**

### **ЛЮБИМЫЙ ТОВАРИЩ**

— Вы извините, товарищ, это место занято.

Невидимый в темноте человек зашуршал соломой, тихо добавил:

— Это нашего политрука место.

Я хотел уйти, но мне сказали:

— Оставайтесь, куда же в дождь? Мы подвинемся.

Гроза шумела голосом переднего края, и, когда редко и методично стучало орудие, казалось, что это тоже звуки грозы. Вода тяжело шлепалась на землю и билась о плащ-палатку, повешенную над входом в блиндаж.

— Вы не спите, товарищ?

— Нет,— сказал я.

— День у меня сегодня особенный,— сказал невидимый человек.— Партбилет выдали, а его нет.

— Кого нет? — спросил я устало.

— Политрука нет.— Человек приподнялся, опираясь на локоть, и громко сказал: — Есть такие люди, которые тебя на всю жизнь согревают. Так это он.

— Хороший человек, что ли?

— Что значит — хороший!—обиделся мой собеседник.— Хороших людей много. А он такой, что одним словом не скажешь.

Помолчав, невидимый мой знакомый снова заговорил:

— Я, как в первый бой, помню, пошел, стеснялся. Чудилось, все пули прямо в меня летят. Норовил в землю, как червяк, вползти, чтобы ничего не видеть. Вдруг слышу, кто-то смеется. Смотрю — политрук. Снимает с себя каску, протягивает: «Если вы, товарищ боец, такой осторожный, носите сразу две: одну на голове, а другой следующее место прикройте. А то вы его очень уж выставили». Посмотрел я на политрука... ну, и тоже засмеялся. Забыл про страх. Но все-таки на всякий случай ближе к политруку всегда был, когда в атаку ходили... Может, вам, товарищ, плащ-палатку под голову положить? А то неудобно.

— Нет,— сказал я,— мне удобно.

— Однажды так получилось,— продолжал человек.— Хотел я немца штыком пригвоздить. Здоровенный очень попался. Перехватил он винтовку руками и тянет ее к себе, а я к себе. Чувствую — пересилит. А у меня рука еще ранена. И так тоскливо стало, глаза уже закрывал. Вдруг выстрел у самого уха. Политрук с наганом стоит, немец на земле лежит, руки раскинув. Политрук кричит мне: «Нужно в таких случаях ногой в живот бить, а не в тяненьки играть! Растерялись, товарищ? Эх, вы!..» И пошел политрук, прихрамывая, вперед, а я виновато за ним.

Человек замолчал, прислушиваясь к грозе, потом негромко сказал:

— Дождь на меня тоску наводит. Вот, случилось, загрустил я. От жены писем долго не было. Говорю ребятам со зла: «Будь ты хоть герой, хоть кто, а им все равно...» Услышал эти мои слова политрук, расстроился, аж губы у него затряслись. Долго он меня перед теми бойцами срамил. А через две недели получаю я от своей письмо. Извиняется, что долго не писала: на курсах была. А в конце письма приписка была: просила передать привет мсему другу, который в своем письме к ней упрекал ее за то, что она мне не писала. И назвала она фамилию политрука. Вот такая история.

Человек замолчал, помигал в темноте, затягиваясь папиросой, потом задумчиво произнес:

— Ранили политрука. Нет его. В санбате лежит. А нам все кажется, что он с нами.

Дождь перестал шуметь. Тянуло холодом, сладко пахнущей сыростью свежих листьев. Человек поправил солому на нарах и сказал грустно:

— Ну, вы спите, товарищ, а то я вам, видно, надоел со своим политруком.

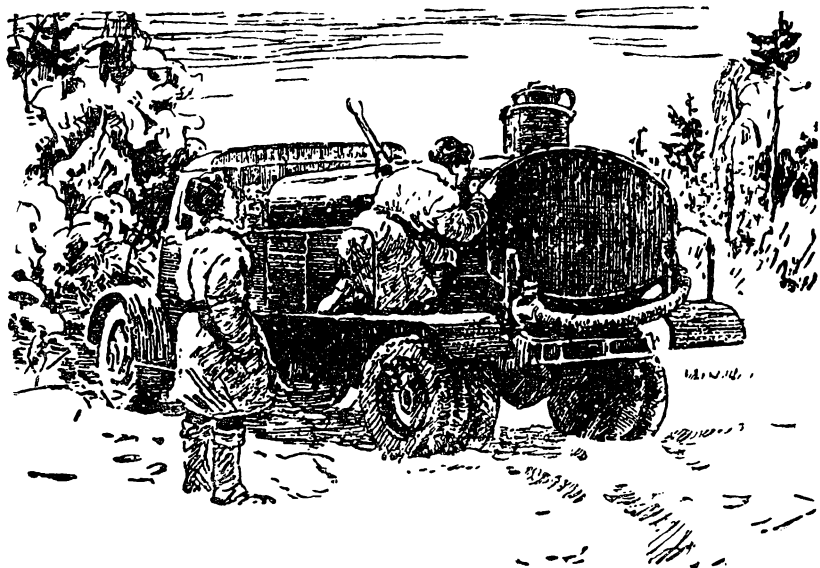
...Когда я проснулся, в блиндаже уже никого не было. На нарах, где было место политрука, у изголовья, стоял чемодан, на нем аккуратно свернутая шинель и стопка книжек.

Это место занято.

И понял я, что я тоже никогда не забуду, на всю жизнь, этого человека, хотя никогда не видел его и, может быть, никогда не увижу.

1942





**Николай Тихонов**

## **РУКИ**

(Из цикла „Ленинградские рассказы“)

Мороз был такой, что руки чувствовали его даже в теплых рукавицах. А лес вокруг как будто наступал на узкую ухабистую дорогу, по обе стороны которой шли глубокие канавы, заваленные предательским снегом. Деревья задевали сучьями машину, и на крышу кабинки падали снежные хлопья, сучья царапали бока цистерны.

Много он видел дорог на своем шоферском веку, но такой еще не встречал. И как раз на ней приходилось работать,

будто ты двуужильный. Только приехал в землянку, где темно, темно, сыро, только приклонил голову в уголке, между усталыми товарищами, — уже кличут снова, снова пора в путь. Спать будем потом. Надо работать. Дорога зовет. Тут не скажешь: дело не медведь, в лес не убежит. Как раз убежит. Чуть прозевал — машина в кювете: проси товарищей вытаскивать — самому не вызволить, и думать об этом забудь. А мороз? Как будто сам Северный полюс пришел на эту лесную дорогу регулировщиком.

То наползет туман, то дохнет с Ладоги ветер, каких он никогда не видел, — пронзительный, ревущий, долгий. То начнется пурга, в двух шагах ничего не видно. Покрышки тоже не железные — сдают. Товарищей, залезших в кюветы, надо выручать, раз едешь замыкающим; и главное — груз надо доставить вовремя. А как он себя чувствует, этот груз?

Большаков остановил машину, вылез из кабинки и, тяжело приминая снег, пошел к цистерне. Он влез на борт и при бледном свете зимнего полдня увидел, как по атласной от мороза стенке сбегает непрерывная струйка. Холодок прошел по его спине. Цистерна текла. Цистерна лопнула по шву. Шов отошел. Горючее вытекало.

Он стоял и смотрел на узкую струйку, которую ничем не остановить. Так мучиться в дороге, чтобы к тому же привезти к месту пустую цистерну? Он вспоминал все свои бывшие случаи аварий, но такого припомнить не мог. Мороз обжигал лицо. Стоять и просто смотреть — этим делу не можешь.

Проваливаясь в снег, он пошел к кабинке.

Политрук сидел, подняв воротник полушубка, уткнув замерзающий нос в согретую его дыханием овчину.

— Товарищ политрук, — позвал Большаков, — придется побеспокоить.

— А что, разве мы приехали уже? — спросил политрук, мгновенно пробудившись.

— Выходит, приехали,— сказал Большаков.— Цистерна течет. Что будем делать?

Политрук вывалился из кабинки.

Он протирал глаза, спотыкался, но когда увидел, что случилось, стал задумчиво хлопать рука об руку, соображая, потом сказал:

— Поедем до первого пункта, там сольем горючее, в ремонт пойдем. Так?

— Да оно как бы и не так,— сказал Большаков.— Как же оно так, если мы горючее не куда-нибудь, а в Ленинград, фронту, срочно возем! Как же его просто сольешь? Его не сольешь.

— А что ты можешь? — сказал политрук, смотря, как скатывается бензиновая струйка вдоль разошедшегося шва.

— Разрешите попробовать — чеканить его буду,— ответил Большаков.

Он открыл ящик со своими инструментами, и они показались ему орудиями пыток. Металл был как раскаленный. Но Большаков храбро взял зубило, молоток, кусок мыла, похожего на камень, и влез на борт. Бензин лился ему на руки, и бензин был какой-то странный. Он жег ледяным огнем. Он пропитывал насквозь рукавицу, он просачивался под рукава гимнастерки. Большаков, сплевывая, в безмолвном отчаянии разбивал шов и замазывал его мылом. Бензин перестал течь.

Вздохнув, он пошел на свое место. Они проехали километров десять. Большаков остановил машину и пошел смотреть цистерну.

Шов разошелся снова. Струйка бензина бежала вдоль круглой стенки. Надо было все начинать сначала. И снова гремело зубило, и снова бензин обжигал руки, и снова мыльная полоса наращивалась на разбитые края шва. Бензин перестал течь.

Дорога была бесконечной. Он уже не считал, сколько раз он слезал и взбирался на борт машины; он уже перестал

чувствовать боль ожогов бензина; ему казалось, что все это снится: дремучий лес, бесконечные сугробы, льющийся по руке бензин.

Он в уме подсчитал, сколько уже вытекло драгоценного горючего, и по подсчетам выходило, что не очень много — литров сорок, пятьдесят. Но если бросить чеканить через каждые десять, двадцать километров, вся работа будет впустую. И он снова начинал все сначала с упорством человека, потерявшего представление о времени и пространстве.

Ему уже начало от усталости казаться, что он не едет, а стоит на месте, и каждые сорок минут он хватается зубило, а щель все ширится и смеется над ним и его усилиями.

Неожиданно за поворотом открылись пустые, странные пространства, огромные, несхватные, белесые. Дорога пошла по льду. Широчайшее озеро по-звериному дышало на него, но ему уже не было страшно. Он вел машину уверенно, радуясь тому, что лес кончился. Иногда он стучался головой о баранку, но сейчас же брал себя в руки. Сон налегал на плечи, как будто за спиной стоял великан и давил ему голову и плечи большими руками в мягких, толстых рукавицах. Машина, подпрыгивая, шла и шла. А где-то внутри него — замерзшего, усталого существа — жила одна непонятная радость: он твердо знал, что он выдержит. И он выдержал. Груз был доставлен.

...В землянке врач с удивлением посмотрел на его руки с облезшей кожей, изуродованные, сожженные руки, и сказал недоумевающе:

— Что это такое?

— Шов чеканил, товарищ доктор, — сказал Большаков, сжимая зубы от боли.

— А разве нельзя было остановиться в дороге? — сказал доктор. — Не маленький, сами понимаете: в такой мороз так залиться бензином...

— Остановиться было нельзя, — сказал он.

— Почему? Куда такая спешка? Куда вы везли бензин?



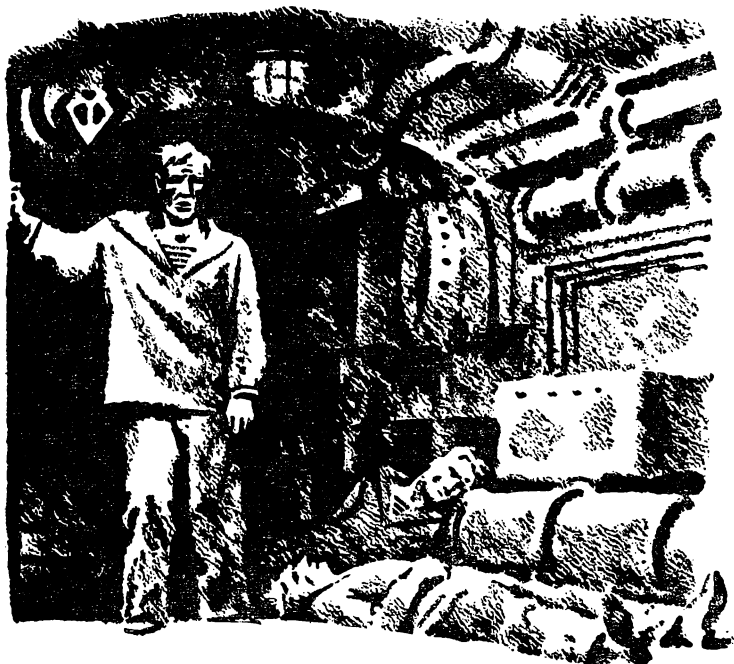
— В Ленинград вез, фронту,— ответил он громко, на всю землянку.

Доктор взглянул на него пристальным взглядом.

— Та-ак,— протянул он,— в Ленинград! Понимаю! Больше вопросов нет. Давайте бинтоваться. Полечиться надо.

— Отчего не полечиться! До утра полечусь, а утром — в дорогу... В бинтах еще теплее вести машину, а боль уж мы как-нибудь в зубах зажмем...





**Леонид Соболев**

## **ДЕРЖИСЬ, СТАРШИНА...**

### **I**

На этот раз командир лодки поймал себя на том, что смотрит на циферблат глубиномера и пытается догадаться, сколько же сейчас времени. Он перевел глаза на часы, висевшие рядом, но все-таки понять ничего не мог. Стрелки на них дрожали и расплывались, и было очень трудно заставить их показать время. Когда наконец это удалось, капитан-лейтенант понял, что до наступления темноты осталось

еще больше трех часов, и подумал, что этих трех часов ему не выдержать.

Мутная, проклятая вялость вновь подгибала его колени. Он снова — в который раз! — терял сознание. В висках у него стучало, в глазах плыли и вертелись радужные круги, он чувствовал, что шатается и что пальцы его сжимают что-то холодное и твердое. Огромным усилием воли он заставил себя подумать, где он, за что ухватились его руки и что он, собственно, собирается сделать. И тогда он вдруг понял, что стоит уже не у часов, а у клапанов продувания, схватившись за маховичок. Видимо, снова он потерял контроль над своими поступками и теперь, вопреки собственной воле, был уже готов продуть балласт и всплыть, чтобы впустить в лодку чистый воздух.

Воздух... Благословенный свежий воздух, без этого острого, душного проклятого запаха, который дурманит голову, клонит ко сну, лишает воли... Воздуха, немного воздуха!..

Его очень много было там, над водой. Несправедливо много. Так много, что его хватало и на врагов. Они могли не только дышать им. Они могли даже сжигать его в цилиндрах моторов, и их самолеты могли летать в нем над бухтой и Севастополем. И поэтому лодка должна была лежать на грунте, дожидаясь темноты, которая даст ей возможность всплыть, вдохнуть в себя широко открытыми люками чистый воздух и проветрить отсеки, насыщенные парами бензина.

Уже тринадцатый час люди в лодке дышали одуряющей смесью этих паров, углекислоты, выдыхаемой их легкими, и скурых порций кислорода, которым командир, расходуя аварийные баллоны, пытался убить бензинный дурман. Кислород, дав временное облегчение людям, сгорал в их организме, а бензинные пары все продолжали невидимо насыщать лодку.

Они струились в отсеки из той балластной систерны, в которой подводники, рискуя жизнью, привезли защитникам

Севастополя драгоценное боевое горючее. Систерна ночью была уже опорожнена, бензин увезли к танкам и самолетам. Оставалось только промыть ее (чтобы при погружении водяной балласт не вытеснил из нее паров бензина внутрь лодки) и проветрить отсеки. Но сделать этого не удалось. С рассветом началась одна из тех яростных бомбежек, длившихся целый день, которые испытывал Севастополь в последние дни своей героической обороны.

Лодка была вынуждена лечь в бухте на грунт до наступления темноты.

Первые часы все шло хорошо. Но потом стальной корпус лодки стал подобен гигантской наркотической маске, надетой на головы нескольких десятков людей. Сытный, сладкий и острый запах бензина отравлял человеческий организм — люди в лодке поочередно стали погружаться в бесчувственное состояние. Оно напоминало тот неестественный мертвый сон, в котором лежат на операционном столе под парами эфира или хлороформа.

И так же как под наркозом каждый человек засыпает по-своему, один — легко и покорно, другой — мучительно борясь против насильно навязываемого ему сна, так и люди в лодке, перед тем как окончательно потерять сознание, вели себя по-разному.

Одни медленно бродили по отсекам, натываясь на приборы и на товарищей, и бормотали оборванные, непонятные фразы.

Другие, лежавшие терпеливо и спокойно в ожидании всплытия, вдруг принимались плакать пьяным истощенным плачем, ругаясь и бредя, пока отравленный воздух не гасил в них этой вспышки энергии и не погружал в молчание. Кто-то внезапно поднялся и начал плясать. Может быть, в затуманенном его мозгу мелькнула догадка, что этим он подымет дух у остальных, и он плясал, подпевая себе и ухарски вскрикивая, пока не упал без сил рядом с бесчувственными телами, для которых он плясал.

Большинство краснофлотцев, стараясь сберечь силы до того времени, когда можно будет всплывать, лежали так, как приказал командир,— молча и недвижно. Но и они в конце концов были побеждены бесчувствием, неодолимо наплывающим на мозг. И только глаза их — неподвижные, не выражающие уже мысли глаза — были упрямо открыты, словно краснофлотцы хотели этим показать своему командиру, что до последнего проблеска сознания они пытались держаться и что они ждут только глотка свежего воздуха, чтобы встать по своим боевым местам.

Но дать им этот глоток командир не мог.

Всплывать, когда над бухтой был день, означало подставить лодку под снаряды тяжелых батарей, под бомбы самолетов, непрерывно сменяющих друг друга в воздухе. Нужно было лежать на грунте и ждать темноты. Нужно было бороться с этим одуряющим запахом, погрузившим в бесчувствие всех людей в лодке. Он должен был держаться и сохранять сознание, чтобы иметь возможность всплыть и спасти лодку и людей.

Но держаться было трудно. Все чаще и чаще он переходил в бредовое состояние и уже несколько раз ясно видел на часах двадцать один час — время, когда можно будет всплыть. Глоток свежего воздуха, только один глоток,— и он продержался бы и эти три часа. Он завидовал тем, кому привез бензин, мины и патроны: они дрались и умирали на воздухе. Даже падая с пульей в груди, они успевали вдохнуть в себя свежий, чистый воздух, и, вероятно, это было блаженством... Стоило только повернуть маховичок продувания балласта, отдраить люк, вздохнуть один раз — один только раз! — и потом снова лечь на грунт хоть на сутки... Пальцы его уже сжимали маховичок, но он нашел в себе силы снять с него руки и отойти от трюмного поста.

Он сделал два шага и упал, всей силой воли сопротивляясь надвигающейся зловещей пустоте. Он не имел права потерять сознание. Тогда лодка и все люди в ней погибнут. Он

лежал в центральном посту у клапанов продувания, скрипя зубами, глухо рыча и мотая головой, словно этим можно было выветрить из нее проклятый вялый дурман. Он кусал себе руки, чтобы боль привела его в чувство. Он бился, как тонущий человек, но сонная пустота затягивала в себя, как медленный сильный омут.

Потом он почувствовал, что его приподымают, и сквозь дымные и радужные облака увидел лицо второго во всей лодке человека, кто, кроме него, мог еще думать и действовать.

Это был старшина группы трюмных.

— Товарищ капитан-лейтенант, попейте-ка,— сказал тот, прикладывая к его губам кружку.

Он глотнул. Вода была теплая, и его замутило.

— Пейте, пейте, товарищ командир,— настойчиво повторил старшина.— Может, сорвет. Тогда полегчает, вот увидите...

Капитан-лейтенант залпом выпил кружку, другую. Тотчас его замутило больше, и яростный припадок рвоты потряс его тело. Он отлежался. Голове действительно стало легче.

— Крепкий ты, старшина,— сказал он, найдя в себе силы улыбнуться.

— Держусь пока,— сказал тот.

Но капитан-лейтенант увидел, что лицо его было совершенно зеленым и что глаза блестят неестественным блеском. Командир попытался встать, но во всем теле была страшная слабость, и старшина помог ему сесть.

— А я думал, вам полегчает,— сказал он сожалеюще.— Конечно, кому как. Мне вот помогает, потравлю — и легче.

Командир с трудом раскрыл глаза.

— Не выдержать мне, старшина. Свалюсь,— сказал он, чувствуя, что сказать это трудно и стыдно, но сказать надо, чтобы тот, кто останется на ногах один, знал, что командира в лодке больше нет.

И старшина как будто угадал его чувство.

— Что ж мудреного, вы же в походе две ночи не спали,— сказал он уважительно.— Я и то на вас удивляюсь.

Он помолчал и добавил:

— Вам бы, товарищ командир, поспать сейчас. Часа три отдохнете, а к темноте я вас разбуджу... А то вам и лодки потом не поднять будет...

Командир и так уже почти спал, сидя на разномыслии. Борясь со сном, он думал и взвешивал. Он отлично понимал, что, если он немедленно же не отдохнет, он погубит и лодку и людей.

Он с усилием поднял голову.

— Товарищ старшина первой статьи,— сказал он таким тоном, что старшина невольно выпрямился и стал «смирно»,— вступайте во временное командование лодкой. Я и точно не в себе. Лягу. Следите за людьми, может, кто очнется, полезет люк отдраивать... или продувать примется... Не допускать.

Он помолчал и добавил:

— И меня не допускайте к клапанам до двадцати одного часа. Может, и меня к ним тоже потянет, понятно?

— Понятно, товарищ капитан-лейтенант,— сказал старшина.

Командир снял с руки часы.

— Возьмите. Чтобы все время при вас были, мало ли что... Меня разбудить в двадцать один час, понятно?

— Понятно,— повторил старшина, надевая на руку часы.

Он помог командиру встать на ноги и дойти до каюты. Очевидно, тот уже терял сознание, потому что повис на его руке и говорил, как в бреду:

— Держись, старшина... Выдержи... Лодку тебе отдаю... людей отдаю... На часы смотри, выдержи, старшина...

Старшина уложил его в койку и пошел по отсекам.

Он шел медленно и осторожно, стараясь не делать лишних движений, потому что и у него от них кружилась голова. Он шел между бесчувственных тел, поправляя руки и ноги, свесившиеся с коек, с торпедных аппаратов, с дизелей. Порой он останавливался возле спящего или потерявшего сознание краснофлотца, оценивая его: может, если его привести в чувство, пригодится командиру при всплытии? Он попробовал расшевелить тех, кто казался ему крепче и выносливее других. Из этого ничего не получилось. Только трое на минуту пришли в себя, но снова впали в бесчувственность. Однако он их заметил: это были нужные при всплытии люди — электрик, моторист и еще один трюмный.

Трижды за первые два часа ему пришлось прибегнуть к своему способу облегчения. Но в желудке ничего не осталось, и рвота стала мучительной. По третьему разу он почувствовал, что его валит непобедимое стремление заснуть. Чтобы отвлечься, он опять пошел по отсекам пошатываясь. Когда он проходил мимо командира, он подумал, не разбудить ли его, потому что сам он мог неожиданно для себя заснуть. Он остановился перед командиром. Тот по-прежнему продолжал бредить:

— Двадцать один час... Боевая задача... Держись, старшина...

— Спи, товарищ командир, все нормально идет, — ответил он, но, видимо, командир его не слышал, потому что повторял однотонно и негромко:

— Держись, старшина... Держись, старшина...

Старшина смотрел на него, взволнованный этим бредом, в котором командир и без сознания продолжал верить тому, кому он поручил свой отдых, нужный для спасения лодки. Ему стало стыдно за свою слабость. Он пересилил себя и пошел в центральный пост.

Но там, оставшись опять один, он снова почувствовал,



что должен забыться хоть на минутку. Голова сама падала на грудь, и он боялся, что заснет незаметно для самого себя. Тогда он пошел на хитрость: он прислонился к двери, взялся левой рукой за верхнюю задрайку и привалился головой к запястью с тем расчетом, что если случайно он заснет, то пальцы разожмутся и голова неминуемо стукнется о задрайку, что несомненно заставит его опомниться.

Какое-то время он сидел в забытьи, слушая громкий стук в висках. Потом этот стук перешел в ровное, убаюкивающее постукивание, равномерное и не очень торопливое. Это тикали у самого уха командирские часы на руке. Они тикали и как будто повторяли два слова: «Держись-старшина, держись-старшина...» Он понял, что засыпает, и тут же хитро подумал, что пальцы обязательно разожмутся, как только он уснет, и что пока можно сидеть спокойно, отдаваясь этому блаженному забытью. Но часы тикали надоедливо, и надоедливо звучали слова: «Держись, старшина, держись, старшина», — и вдруг он вспомнил, что они значат...

Он резко поднял голову и хотел снять руку с задрайки. Но пальцы так вцепились в задрайку произвольной, цепкой судорогой, что он испугался. Их пришлось разжать другой рукой.

Ему стало ясно, что нельзя идти ни на какие сделки с самим собой: несмотря на свой хитрый план, он мог сейчас заснуть, как и все другие, и погубить лодку. Чтобы встряхнуться, он запел громко и нескладно. Он никогда не пел раньше, стесняясь своего голоса, но сейчас его никто не слышал. Он пел дико и фальшиво, перевирая слова, но песня эта его несколько рассеяла. Вдруг он замолчал: он подумал, что наверху, может быть, подслушивают вражеские гидрофоны. Потом с трудом вспомнил, что никаких гидрофонов нет — лодка лежит в своей бухте.

Время от времени в лодку доносились глухие взрывы. Наверное, фашисты бомбили наши корабли. Он вспомнил, как перед погружением, когда, сдав груз и бензин, лодка от-

ходила от пристани, в небе загудело неисчислимое количество самолетов, и светлые столбы воды встали на нежном небе рассвета, и один из них, опав, обнаружил за собой миноносец. И снова с потрясающей ясностью он увидел, как корма миноносца поднялась над водой и как одно орудие на ней продолжало бить по самолетам, пока вода не заплеснула в его раскаленный ствол.

— Держись, старшина,— сказал он себе вслух,— держись, старшина... Люди же держались...

Его охватила жалость к этим морякам, погибшим на его глазах, и внезапная ярость ожгла сердце. Он поднял к подволоку кулак и погрозил.

— Еще и лодки ждете, гансовы дети?.. Прождетесь...— сказал он тихо и отчетливо.

Ярость эта как будто освежила его и придала ему сил. Он пошел по отсекам, чтобы найти тех, кого он наметил, и перетащить их в центральный пост, чтобы при всплытии привести их в чувство. Он наклонился над электриком, когда услышал в конце отсека шаги. Перегнувшись и посмотрев вдоль лодки сквозь путаную сеть труб, штоков и приборов, он увидел, что кто-то, шатаясь, подошел к люку и взялся за задрайку. Старшина быстро прошел к нему.

— С ума сошел? Кто приказал?

Но тот, очевидно, его не понимал. Старшина попробовал его оттащить, но тот вцепился в задрайку с неожиданной силой, покачивая опущенной головой, и бормотал:

— Обожди... на минутку только... обожди...

Он боролся со старшиной отчаянно и упорно, потом вдруг весь ослаб и упал возле люка.

Борьба эта утомила старшину, и он вынужден был отсидеться. Едва он отдохнул, как упавший снова встал и потянулся к задрайкам. На этот раз схватка была яростней, и, может быть, тот одолел бы старшину и впустил бы в лодку воду, если б не пустяк: старшина почувствовал, что рука с командирскими часами прижата к переборке, и ему почему-

то померещилось, что если часы будут раздавлены в этой свалке, то он не сможет разбудить командира вовремя. Он рывком дернулся из зажавших его цепких объятий, и бредивший снова потерял силы. Для верности старшина связал ему руки чьим-то полотенцем и долго сидел возле, задыхаясь и вытирая пот. Когда он смог подняться на ноги, было уже десять минут десятого. Он прошел к командиру и тронул его за плечо:

— Товарищ капитан-лейтенант, время вышло, вставайте!

— Старшина? — тотчас же ответил тот, не открывая глаз.— Хорошо, старшина... Держись... Не забудь разбудить...

— Пора всплывать, товарищ командир, двадцать один час,— повторил старшина и поднял голову к подволоку, где за толстым слоем воды спасительная тьма и воздух, чистый воздух, который сейчас хлынет в лодку.

Нетерпение охватило его.

— Вставайте, товарищ командир, можно всплывать,— повторил он.

Но командир очнуться не мог. Он подымал голову, ронял ее обратно на койку и повторял:

— Держись, старшина... боевой приказ... двадцать один час...

Разбудить его было невозможно.

Когда старшина это понял, он просидел минут пять соображая. Потом прошел к инженеру и попытался поднять его. Но тот был совершенно без сознания.

В отчаянии старшина попробовал заставить очнуться кого-либо из тех, кого он наметил ранее. Но и они подымали голову, как пьяные, отвечали вздор, и толку от них не было.

Тогда он решился.

Он перенес командира в центральный пост и пристроил его под самым люком, чтобы воздух сразу хлынул на него. Потом подошел к клапанам и открыл продувание средней.

Все было в порядке. Знакомый удар сжатого воздуха

хлопнул в трубах, вода в системе зажурчала, и глубиномер пополз вверх. Лодка всплыла на ровном киле, и глубиномер показал, что рубка уже вышла из воды. Теперь оставалось лишь отдрать люк и впустить в лодку воздух. Тогда под свежей его струей командир очнется и все пойдет нормально.

Во всей этой возне старшина очень устал. И, как бывает всегда в последних секундах ожидания, ему показалось, что больше он выдержать не может. Свежий воздух стал нужен ему немедленно, тотчас же, иначе он мог упасть рядом с командиром, и тогда все кончится и для лодки, и для людей. Сердце его билось бешеным стуком, голова кружилась. Он полз по скобтрапу вверх к люку медленно, как во сне, когда руки и ноги вязнут и когда никак нельзя дотянуться до того, что тебя спасет. Руки его и в самом деле ослабли, и, взявшись за штурвал люка, он едва смог его повернуть. Еще одно огромное усилие понадобилось, чтобы заставить крышку люка отделиться от прилипшей резиновой прослойки.

Свежий, прохладный воздух ударил ему в лицо. Он пил его всей грудью, вытянув шею, смеясь и почти плача, но вдруг с ужасом почувствовал, что голова кружится все сильнее. Он сумел еще понять, что люк надо успеть задрать, иначе лодку начнет заливать, если разведет волну, и не будет уже ни одного человека, кто это сможет заметить. Теряя сознание, он повис всем телом на штурвале люка, крышка захлопнулась под тяжестью его тела, руки разжались, и он рухнул вниз.

### III

Очнулся он оттого, что захлебнулся. Рывком он поднял голову, пытаясь понять, где он и что случилось.

В лодке по-прежнему было светло и тихо. Он лежал рядом с командиром, лицом вниз в небольшой луже, заливавшей палубу центрального поста. Командирские часы на ру-

ке показывали 21 час 50 минут. Значит, он только что упал, и откуда появилась вода, было непонятно.

Он встал и с удивлением почувствовал, что силы его прибавились,— видимо, так помог воздух, которым ему только что удалось подышать. Но открывать вновь люк было опасно: раз в лодке была вода, значит, рубка не вышла целиком над поверхностью бухты. Он в раздумье обвел глазами центральный пост, соображая, что же могло произойти. Тут на глаза ему попались часы на переборке у глубиномера. Они показывали 0 часов 8 минут.

Это значило, что командирские часы разбились и что он пролежал без сознания больше двух часов. Все это время лодка дрейфовала в бухте, и с ней могло произойти что угодно, раз вода выступила из трюма на настил палубы.

Он пошел осматривать отсеки и понял, откуда появилась вода.

Тот, кого он связал полотенцем, сумел освободиться от него и все-таки отдраить носовой люк. Но, по счастью, он только ослабил задрайки: у него или не хватило сил открыть люк, или вода, полившаяся в щель, привела его на момент в чувство, и он понял, что делает что-то не то. Однако и этого оказалось достаточно, чтобы вода, покрывавшая над люком верхнюю палубу лодки, всплывшей только рубкой, уже залила трюмы.

Поняв, что очнулся как раз вовремя, старшина тотчас повернул задрайки носового люка, вернулся в центральный пост, пустил водоотливные помпы и только после этого решил открыть рубочный люк. Воздух снова ударил его по голове, как молотом, но на этот раз он сразу же перевесился через коминг люка и удержался на трапе. Скоро он пришел в себя и поднялся на мостик.

Торжественно и величаво стояло над бухтой звездное, чистое небо. Вспыхивающее на горизонте кольцо орудийных залпов осенило мужественный, израненный город огненным венцом славы. Шумели волны, разбиваясь о близкий берег.

Свежий морской ветер бил в лицо, выдувая из легких ядовитые пары бензина.

Старшина стоял, наслаждаясь ветром, воздухом и возвращенной жизнью. Он стоял и дышал, он смотрел в звездное небо и слушал глухой рокот волн и залпов.

Но лодка снова напомнила ему о том, что по-прежнему он остается единственным человеком, от которого зависит ее судьба и судьба заключенных в ней беспомощных, одурманенных людей: она приподнялась на волне и ударила носом о грунт. Тогда он перегнулся через обвес рубки, взгляделся во тьму и понял, что за эти два часа лодку поднесло к берегу и, очевидно, посадило носом на камни.

Опять следовало действовать, и действовать немедленно. Нужно было сняться с камней и уйти в море, пока еще темно и пока не появились над бухтой фашистские самолеты.

Он быстро спустился вниз, включил вентиляцию и с трудом вытащил командира на мостик. На воздухе тот очнулся. Но, так же как недавно старшина, он сидел на мостике, вдыхая свежий воздух и еще не понимая, где он и что надо делать. Старшина оставил его приходить в себя и вынес наверх еще одного человека, без которого лодка не могла дать ход, — электрика, одного из троих, намеченных им для всплытия.

Наконец они смогли действовать. Командир приказал продуть главный балласт, чтобы лодка, окончательно всплыв, снялась с камней. Электрик, еще пошатываясь, прошел в корму, к своей станции, старшина — к своему трюмному посту. Он открыл клапаны, и глубиномер пополз вверх. Когда он показал ноль, старшина доложил наверх, что балласт продут, и командир дал телеграфом «полный назад», чтобы отвести лодку от камней. Моторы зажужжали, но лодка почему-то пошла вперед и вновь села на камни. Командир дал «стоп» и крикнул вниз старшине, чтобы тот узнал, почему неверно дан ход.

Электрик стоял у рубильников с напряженным и сосредоточенным вниманием и смотрел на телеграф, ожидая приказаний.

— Тебе какой ход был приказан? — спросил его старшина.

— Передний, — ответил он. — Полной мощностью оба вала.

— Ты что, не очнулся? Задний был дан, — сердито сказал старшина.

— Да я видел, это телеграф врет, — сказал электрик спокойно. — Как же командир мог задний давать? Сзади же у нас фашисты. Мы только вперед можем идти. В море.

Он сказал это с полным убеждением, и старшина понял, что тот все еще во власти бензинного бреда. Заменить электрика у станции было нечем, а ждать, когда к нему вернется сознание полностью, было нельзя. Тогда старшина прошел на мостик и сказал капитан-лейтенанту, что у электрика в голове шарики вертятся еще не в ту сторону, но что хода давать можно: он сам будет стоять рядом с электриком и посматривать, чтобы тот больше не чудил.

Лодка вновь попыталась сняться. Ошибка электрика поставила ее в худшее положение: главный балласт был продут полностью, и уменьшить ее осадку было теперь уже нечем, а от рывка она плотно засела в камнях. Время не терпело, рассвет приближался. Лодка рвалась назад, пока не разрядились аккумуляторы.

Но за это время воздух, гулявший внутри лодки, и вентиляция сделали свое дело. Краснофлотцы приходили в себя. Первыми очнулись те упорные подводники, которые потеряли сознание последними. За ними один за другим вставали остальные, и скоро во всех отсеках началось движение и забила жизнь. Мотористы стали к дизелям, электрики спустились в трюм к аккумуляторам, готовя их к зарядке. Держась за голову и шатаясь, прошел в центральный пост боцман. У колонки вертикального руля встал рулевой. Что-

то вашипело на камбузе, и впервые за долгие часы подводники вспомнили, что, кроме необходимости дышать, человеку нужно еще и есть.

Среди этого множества людей, вернувших себе способность чувствовать, думать и действовать, совершенно затерялся тот, кто вернул им эту способность.

Сперва он что-то делал, помогал другим, но постепенно все больше и больше людей появлялось у механизмов, и он чувствовал, будто с него сваливается одна забота за другой. И когда наконец даже у трюмного поста появился краснофлотец (тот, кого он когда-то — казалось, так давно! — пытался разбудить) и официально, по уставу, попросил разрешения стать на вахту, старшина понял, что теперь можно поспать.

И он заснул у самых дизелей так крепко, что даже не слышал, как они загрохотали частыми взрывами. Лодка снова дала ход, на этот раз дизелями, и винты полными оборотами стащили ее с камней. Она развернулась и пошла к выходу из бухты. Дизеля стучали и гремели, но это не могло разбудить старшину. Когда же лодка повернула и ветер стал забивать через люк отработанные газы дизелей, старшина проснулся. Он потянул носом, выругался и, не в силах слышать запах, хоть в какой-нибудь мере напоминающий тот, который долгие шестнадцать часов валил его с ног, решительно вышел на мостик и попросил разрешения у командира остаться.

Тот узнал в темноте его голос и молча нашел его руку. Долго, без слов командир жал ее крепким пожатием, потом вдруг притянул старшину к себе и обнял. Они поцеловались мужским, строгим, клятвенным поцелуем, связывающим военных людей до смерти или победы.

И долго еще они стояли молча, слушая, как гудит и рокочет ожившая лодка, и подставляли лица свежему, вольному ветру. Черное море окружало лодку тьмой и вздыхающими волнами, сберегая ее от врагов.



Потом старшина смущенно сказал:

— Конечно, все хорошо получилось, товарищ капитан-лейтенант, только неприятность одна все же есть...

— Кончились неприятности, старшина,— сказал командир весело.— Кончились!

— Да уж не знаю,— ответил старшина и неловко протянул ему часы.— Часики ваши... Надо думать, не починить...  
Стоят...

1942





**Федор Гладков**

### **ОПАЛЕННАЯ ДУША**

Совсем стал другим человеком наш Маркелыч, когда возвратился с фронта. Раньше это был простодушный старик, словоохотливый — поиграть шуточкой любил и даже деловой разговор в цехе вел с улыбочкой да прибауточкой. И гостей, бывало, любил: обязательно в выходной день затянет к себе, угостит, изойдет весь говорком, даже раскраснеется весь, а потом затянет дрябленьким голоском «Мимо острова на стрежень», встанет, размахнет руками, будто обнять всех хочет, топнет ногой — пой, ежели не хочешь обижать хозяи-

на! Легко с ним было и фабзайцам, и ученикам: улыбочку и шуточку его очень любили и совсем его не боялись. Только и слышишь, бывало, как звонко кричат ребятишки: «Маркелыч! Маркелыч! Иди сюда, раздери тебя горой-то!..» А это его любимое присловье было. Даже на производственном совещании или на цеховом партсобрании начнет говорить, распалится и уснащает свою речь: «И вот, товарищи, дозвольте подчеркнуть, раздери тебя горой-то...» Он никак не мог отвыкнуть от этого смехотворного слова — «подчеркнуть». Не от пустословия это было: нет, умница был старик, высокий мастер, художник по токарно-фрезерному делу. А так — от задушевности, от панибратского сердца.

Сухощавый, седой, с клочковатыми бровями, с густыми усами до самого подбородка, он не ходил, а летал по своему участку, прицеливаясь остренькими усмешливыми глазками, и всегда появлялся у станков как раз вовремя.

Не изменил он своему характеру и во время войны, только стал придирчивее да поубавил немного шутейности, зато рьяно воевал с ворчунами, гнал из цеха прогульщиков и вольтыжников, хотя улыбочкой и не угощал. И постоянно ликовал:

— Мы три революции произвели. Чертову прорву интервентов выперли с нашей земли. Наполеона разгромили. Суворов солдат через Альпы водил. Дозвольте подчеркнуть: гитлеровцев мы перемелем в мясорубке и выбросим в помойку. Ребята, ведь мы же с вами оружие и боеприпасы делаем, раздери тебя горой-то, так от нас же зависит и напор победы.

Этой жизнерадостности старика не смяло и его личное горе. С первых же дней войны пошел на фронт и его сын, танкист. Воевал он храбро до самой зимы. Не раз отличался в боях. Награды получал. Дивизия его стала гвардейской. И вот однажды получает Маркелыч известие: пал смертью храбрых его сынок — дрался с фашистами по-богатырски, страшное опустошение произвел своим тяжелым танком в укреплениях врага. В этом жарком бою он и погиб — зажи-

во сгорел в своем танке. Старик поплакал, потосковал. А когда на собрании товарищи выразили ему свою любовь, а потом поблагодарили его за сына-героя, отдавшего свою молодую жизнь за родину, за свой народ, он сквозь слезы крикнул своим дрожащим голосом:

— Своим сыном любимым горжусь, товарищи! Буду продолжать его боевое дело. Не посрамлю, а возвеличу его имя.

Как заслуженного и отличного мастера послали его на фронт с богатыми подарками. Возвратились делегаты дней через двадцать. Слушали их отчеты и на заводских собраниях, и по радио; слушали затаив дыхание о героизме и храбрости наших бойцов, о сокрушительном действии нашего орудия, и каждый чувствовал, что гордость освежает его силы, что он способен совершить чудеса и никаких преград и трудностей не боится. И никогда, кажется, не переживали такой любви к бойцам и друг другу, как в эти минуты.

И вдруг поразил всех старик Маркелыч: вышел он на трибуну, и не узнали Маркелыча: седые брови давят на глаза, а глаза даже издали жгут, лицо — в суровых складках. Ни обычной шуточки, ни улыбочки, ни легкости духа. Потоптался на месте, покашлял, покряхтел и хрипло сказал:

— Нет таких слез у человека, друзья мои, чтобы выплакать пережитые муки. Перевернуло меня до самого нутра. Жил когда-то Маркелыч, трудился мирно со светлой душой. А теперь опалило меня, душу мою огнем охватило, и не потушить до гроба.

И вдруг голова его затряслась, лицо задергалось, и по щекам слезы потекли. Издали даже отчетливо было видно. А он и руку к глазам не поднял. И гул, и вздохи пошли по залу.

Что же перевернуло его на фронте? Черные кучи угля и головешек на снегу от сожженных сел, горы кирпича и мусора от взорванных домов в городах, и в этих черных кучах и горах щебня — обгорелые, тоже черные, как головешки, руки, ноги, тела людей, заживо сожженных. Маркелыч даже

застонал, когда упомянул о голом парнишке, которого фашисты повесили за нижнюю челюсть на крюк. И такое страдание было на вздернутом лице паренька, что вынести нельзя было этого ужаса. На груди у него висела дощечка: «Партизан». Долго стоял перед ним Маркелыч без шапки. Потом упал на колени, поклонился в землю и поцеловал ее, обливаясь слезами. Встал и пошел шатаясь.

На другой день он даже удивил всех своей важной торжественностью. Выстроились гвардейцы колонной. Делегаты поздоровались с генералом и командирами, и Маркелыч праздничным голосом сказал приветствие. Генерал ответил и особо пожал руку старику за сына-героя. Тут Маркелыч преподнес ему золотые часы и сказал:

— Этот подарочек от наших уральцев вам лично, товарищ генерал. Рабочее вам спасибо за доблестные гвардейские дела, за беспощадное истребление фашистских живорезов и палачей. Увидел я их злодейства, и сердце мое почернело от лютости к разбойникам.

И генерал обнял его, поцеловал и взволнованно завещал на прощание:

— Расскажите уральцам, что видели. Больше оружия нам давайте, чтобы сильнее, сокрушительнее били мы врага. У нас одна с вами клятва.

В цехе чумазые фабзайцы и ремесленники встретили его радостной гурьбой, сверкая глазами и зубами:

— Маркелыч! Маркелыч наш приехал! Здравствуй, Маркелыч! Без тебя мы затосковали. Чего-то и дело без тебя не ладилось.

И вместо седоусого шутейника с остренькой лукавинкой в глазах встретили они сурового старика, стальные глаза которого больно кололи их из-под клочковатых бровей. Шагал, он, правда, по-прежнему стремительно, но как-то угрожающе и молчаливо. Он как будто сам не узнавал цеха. Точно пережил он тяжелую болезнь и в его мозгу иначе отражались и люди, и машины, и вещи — вообще вся заводская

жизнь. А цех по-прежнему гремел и лязгал металлом, рокотали станки, скользил в вышине кран, и всюду в синем тумане ярко горело электричество.

Маркелыч пристально осмотрел ребят, и у него затряслась голова.

— Ну-ка, ребята... по местам! Кому вы свои минуты дарите? Эта пустая минута — удавка для всякого вот такого, как вы...

Ребята опешили и сконфуженно разбрелись по своим местам. А Маркелыч взял одного малорослого, тощенького мальчонку за плечи, прижал его к себе и молча пошел между рядами станков.

— Такой же вот, как ты, Петрушка... висит там... на железном крюку. За челюсть его... за челюсть прицепили... А? Ты чуешь, а? Это на нашей-то земле!

И с этого дня в цехе настали странные, очень тревожные дни. Маркелыча стали чувствовать везде, точно он незримо присутствовал всюду, и голос его везде слышали. Начал покрикивать, за маленькие ошибочки продираал с песком.

Одним словом, рассвирепел старик. Столкновения начались, неприятности. Стали на него жаловаться. Раза два беседовал с ним парторг...

— Нельзя же так, Маркелыч. Я очень даже хорошо тебя понимаю и чувствую. Но нужно бы как-то иначе. А то уж больно круто у тебя и вхолостую. По нервам хлещешь, туркаешь, а без всякого политического смысла и результатов. Надо брать делом, организацией, воспитанием, как на фронте. Давай-ка подумаем, как надо наверняка бить врага в наших заводских условиях.

И вот, на удивление всем, Маркелыч опять затих, хотя и без шуточек и без улыбочек, мягко и задумчиво присматривался к ребятишкам. Подойдет, порасспросит, поглядит на продукцию, посоветует, похвалит и потреплет мальчонку по плечу. А парнишке, конечно, радостно. Позеселели все и с надеждой встречают старика. Собрал он как-то после сме-

ны человек двадцать ребятишек, которые способнее да помышленнее, и устроил с ними совещание. И на этом ребячьем совещании рассказал им о своих переживаниях на фронте. Взволновал парнишек здорово и увидел по их глазенкам, что народ готов пойти за ним на любые дела. Тут же организовал артель: всем коллективом под его руководством становятся на повышенные разряды, дружно включаются в соревнование на выполнение двух норм.

Узнали рабочие об этом новшестве Маркелыча и ахнули. Некоторые с недоверием отнеслись, игрой посчитали и даже раздражительно осудили: все равно, мол, провалится старик — в таком серьезном и высококвалифицированном деле, как фрезерное, эксперимент его может окончиться крахом. Другие, наоборот, одобряли его за смелость и верили в силу и мастерской опыт Маркелыча. А он опять заулыбался, но присловья и шуточки рассыпал скупо.

— Вот, лютых мстителей готовлю,— отвечал он рабочим.— Глядишь, через месяц, через два тысячниками будут и вас на поединок вызовут. Минутку — пуля, а смена — пулемет. Вот как надо готовить гвардейские кадры, раздери тебя горой-то!

И подобрал он ребят очень осмотрительно: не только способности и любознательность учитывал, а любопытствовал, у кого из них на фронте отец ли, брат ли. Старался за сердце брать. И оказалось, что кое у кого и близкий человек убит, пал смертью храбрых. Каждую слезинку и вздох оценил и запомнил. Опаленная у него была душа, и души ребят сумел опалить. Началась горячая работа и большая учеба. Надо было видеть, с каким упорством, верой в себя и в старика, с каким вдохновением работали мальчата! И облик у них стал другой: сосредоточенные, задумчивые, зрелые были, как взрослые,— пожалуй, больше, чем взрослые! Проявились у них таланты изобретателей, рационализаторов; друг перед дружкой начали отличаться. А через два месяца ребят поставили на высокие разряды. Во время слета тысяч-

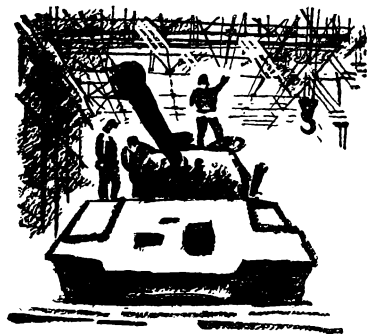
ников двое из них в президиуме сидели и выступали на трибуне.

Теперь Маркелыч уже с другим набором работает, а к прежним у него — нежная любовь.

— Сынишки мои! — покрикивает он. — Молодая гвардия! Бойцы фронта! Сколько они уже фашистских гадов истребили — не перечсть!

Ожил старик. Опять засветился улыбочками, опять стал сыпать шуточками. Только в этих шуточках и улыбочках всегда чувствуется этакий острый ожог. А без этого ожога, без опаления души, по сути дела, и настоящей лютости в работе нет, нет ни яростного вдохновения, ни мстительного творчества.

1942







**Лев Кассиль**

## **РАССКАЗ ОБ ОТСУТСТВУЮЩЕМ**

Когда в большом зале штаба фронта адъютант командующего, заглянув в список награжденных, назвал очередную фамилию, в одном из задних рядов поднялся невысокий человек. Кожа на его обострившихся скулах была желтоватой и прозрачной, что наблюдается обычно у людей, долго пролежавших в постели. Припадая на левую ногу, он шел к столу. Командующий сделал короткий шаг навстречу ему, вручил орден, крепко пожал награжденному руку, поздравил и протянул орденскую коробку.

Награжденный, выпрямившись, бережно принял в руки орден и коробку. Он отрывисто поблагодарил, четко повернулся, как в строю, хотя ему мешала раненая нога. Секунду

он стоял в нерешительности, поглядывая то на орден, лежащий у него на ладони, то на товарищей по славе, собравшихся тут. Потом снова выпрямился:

— Разрешите обратиться?

— Пожалуйста.

— Товарищ командующий... и вот вы, товарищи,— заговорил прерывающимся голосом награжденный, и все почувствовали, что человек очень взволнован,— дозвольте сказать слово. Вот в этот момент моей жизни, когда я принял великую награду, хочу я рассказать вам о том, кто должен бы стоять здесь рядом со мной, кто, может быть, больше меня эту великую награду заслужил и своей молодой жизни не пощадил ради нашей воинской победы.

Он протянул к сидящим в зале руку, на ладони которой поблескивал золотой ободок ордена, и обвел зал просительными глазами:

— Дозвольте мне, товарищи, свой долг выполнить перед тем, кого тут нет сейчас со мной.

— Говорите,— сказал командующий.

— Просим! — откликнулись в зале.

И тогда он рассказал.

\* \* \*

-- Вы, наверно, слышали, товарищи,— так начал он,— какое у нас создалось положение в районе Р. Нам тогда пришлось отойти, а наша часть прикрывала отход. И тут нас противник отсек от своих. Куда ни подадимся, всюду нарываемся на огонь. Бьют по нас фашисты из минометов, долбят лесок, где мы укрылись, из гаубицы, а опушку прочесывают автоматами. Время наше истекло. По часам выходит, что наши уже закрепились на новом рубеже. Сил противника мы оттянули на себя достаточно, пора бы и до дому, время на соединение оттягиваться, а пробиться, видим, ни в какую нельзя. И здесь остаться дольше нет никакой возможности. Нащупал нас немец, зажал в лесу, почувал, что

нас тут горсточка всего-навсего осталась, и берёт нас своими клещами за горло. Вывод ясен — надо пробиваться окольным путем. А где он, этот окольный путь? Куда направление выбрать? И командир наш, лейтенант Буторин Андрей Петрович, говорит:

— Без разведки предварительной тут ничего не получится. Надо порыскать да пощупать, где у них щелка имеется. Если найдем — проскочим.

Я, значит, сразу вызвался.

— Дозвольте, — говорю, — мне попробовать, товарищ лейтенант.

Внимательно посмотрел он на меня. Тут уже не в порядке рассказа, а, так сказать, сбоку должен объяснить, что мы с Андреем из одной деревни — кореши. Сколько раз на рыбалку ездили на Исеть! Потом оба вместе на медеплавильном работали в Ревде. Одним словом, друзья-товарищи. Посмотрел он на меня внимательно, нахмурился.

— Хорошо, — говорит, — товарищ Задохтин, отправляйтесь. Задание вам ясно?

И сам он вывел меня на дорогу, оглянулся, схватил за руку.

— Ну, Коля, — говорит, — давай простимся с тобой на всякий случай. Дело, сам понимаешь, смертельное. Но раз вызвался сам, то отказать тебе не смею. Выручай, Коля... Мы тут больше двух часов не продержимся. Потери чересчур большие...

— Ладно, — говорю, — Андрей, мы с тобой не в первый раз в такой оборот угодили. Через часок жди меня. Я там высмотрю что надо. Ну, а уж если не вернусь, кланяйся там нашим на Урале...

И вот пополз я, хоронясь по-за деревьями. Попробовал в одну сторону — нет, не пробиться: густым огнем немцы по тому участку кроют. Пополз в обратную сторону. Там на краю лесочка овраг был, буерак такой, довольно глубоко промытый. А на той стороне буерака — кустарник, и за

ним — дорога, поле открытое. Спустился я в овраг, решил к кустикам подобраться и сквозь них высмотреть, что в поле делается. Стал я карабкаться по глине наверх.

Вдруг замечаю, над самой моей головой две босые пятки торчат. Пригляделся, вижу: ступни маленькие, на подошвах грязь присохла и отваливается, как штукатурка, пальцы тоже грязные, поцарапанные, а мизинчик на левой ноге синей тряпочкой перевязан — видно, пострадал где-то... Долго я глядел на эти пятки, на пальцы, которые беспокойно шевелились над моей головой. И вдруг — сам не знаю почему — потянуло меня щекотнуть эти пятки. Даже и объяснить вам не могу. А вот подмывает и подмывает. Взял я колючую былинку, да и покорябал ею легонько одну из пяток. Разом исчезли обе ноги в кустах, и на том месте, где торчали из ветвей пятки, появилась голова. Смешная такая, глаза перепуганные, безбровые, волосы лохматые, выгоревшие, а нос весь в веснушках.

— Ты чего тут? — говорю я.

— Я,— говорит,— корову ищу. Вы не видели, дядя? Маришкой зовут. Сама белая, а на боке черное. Один рог вниз торчит, а другого вовсе нет... Только вы, дядя, не верьте. Это я все вру... пробую так. Дядя,— говорит,— вы от наших отбились?

— А это кто такие ваши? — спрашиваю.

— Ясно кто — Красная Армия... Только наши вчера за реку ушли. А вы, дядя, зачем тут? Вас могут зацапать.

— А ну иди сюда,— говорю.— Расскажи, что тут в твоей местности делается.

Голова исчезла, опять появилась нога, и ко мне по глиняному склону на дно оврага, как на салазках, пятками вперед, съехал мальчонка лет тринадцати.

— Дядя,— зашептал он,— вы скорее отсюда давайте куда-нибудь. Тут фашисты ходят. У них вон у того леса четыре пушки стоят, а здесь, сбоку, минометы ихние установлены. Тут через дорогу никакого ходу нет.

— И откуда, — говорю, — ты все это знаешь?

— Как, — говорит, — откуда? Даром, что ли, с утра наблюдаю?

— Для чего же наблюдаешь?

— Пригодится в жизни, мало ль что...

Стал я его расспрашивать, и малец рассказал мне про всю обстановку. Выяснил я, что овраг идет по лесу далеко и по дну его можно будет вывести наших из зоны огня. Мальчишка вызвался проводить нас. Только мы стали выбираться из оврага в лес, как вдруг засвистело в воздухе, завыло и раздался такой треск, словно большую половицу разом на тысячи сухих щепок расколело. Это немецкая мина угодила прямо в овраг и рванула землю около нас.

Темно стало у меня в глазах. Потом я высвободил голову из-под насыпавшейся на меня земли, огляделся: где, думаю, мой маленький товарищ? Вижу, медленно поднимает свою кудлатую голову от земли, начинает выковыривать глину из ушей, изо рта, из носа.

— Вот это так дало! — говорит. — Попало нам, дядя, с вами, как богатым... Ой, дядя, — говорит, — погодите! Да вы ж раненый!

Хотел я подняться, а ног не чую. И вижу — из разорванного сапога кровь плывет. А мальчишка вдруг прислушался, ескарабкался к кустам, выглянул на дорогу, скатился опять вниз и шепчет мне:

— Дядя, сюда немцы идут! Офицер впереди. Честное слово! Давайте скорее отсюда... Эх ты, как вас сильно!

Попробовал я шевельнуться, а к ногам словно по десять пудов к каждой привязано. Не вылезти мне из оврага. Тянет меня вниз, назад...

— Эх, дядя, дядя! — говорит мой дружок и сам чуть не плачет. — Ну, тогда лежите здесь, дядя, чтобы вас не слышать, не видеть. А я им сейчас глаза отведу, а потом вернусь, после...

Побледнел сам так, что веснушек еще больше стало, а глаза у самого блестят. «Что он такое задумал?» — соображаю я. Хотел было его удержать, схватил за пятку, да куда там! Только мелькнули над моей головой его ноги с растопыренными чумазыми пальцами — на мизинчике синяя тряпочка, как сейчас вижу... Лежу я и прислушиваюсь. Вдруг слышу: «Стой!.. Стоять! Не ходить дальше!»

Заскрипели над моей головой тяжелые сапоги. Я слышал, как фашист спросил:

— Ты что такое тут делал?

— Я, дяденька, корову ищу, — донесся до меня голос моего дружка. — Хорошая такая корова, сама белая, а на боку черное, один рог вниз торчит, а другого вовсе нет. Маришкой зовут. Вы не видели?

— Какая такая корова? Ты, я вижу, хочешь болтать мне глупости. Иди сюда близко! Ты что такое лазал тут уж очень долго? Я тебя видел, как ты лазал.

— Дяденька, я корову ищу... — стал опять плаксиво тянуть мой мальчонка.

И внезапно по дороге четко застучали его легкие босые пятки.

— Стоять! Куда ты смел? Назад! Буду стрелять! — закричал немец.

Над моей головой забухали тяжелые кованые сапоги.

Потом раздался выстрел. Я понял: дружок мой нарочно бросился бежать в сторону от оврага, чтобы отвлечь фашистов от меня.

Я прислушивался задыхаясь.

Снова ударил выстрел. И услышал я далекий, слабый вскрик. Потом стало очень тихо... Я как припадочный бился. Я зубами грыз землю, чтобы не закричать, я всей грудью на свои руки навалился, чтобы не дать им схватиться за оружие и не ударить по фашистам. А ведь нельзя мне было себя обнаруживать. Надо выполнять задание до конца. Погибнут без меня наши. Не выберутся.

Опираясь на локти, цепляясь за ветки, пополз я... После уже ничего не помню.

Помню только — когда открыл глаза, увидел над собой совсем близко лицо Андрея...

Ну вот, так мы и выбрались через тот овраг из лесу...

Он остановился, передохнул и медленно обвел глазами весь зал.

— Вот, товарищи, кому я жизнью своей обязан, кто нашу часть выволить из беды помог. Понятно, стоять бы ему тут, у этого стола. Да вот не вышло... И есть у меня еще одна просьба к вам... Почтим, товарищи, память дружка моего безвестного — героя безыменного... Вот даже и как звать его спросить не успел...

И в большом зале тихо поднялись летчики, танкисты, моряки, генералы, гвардейцы — люди славных боев, герои жестоких битв, — поднялись, чтобы почтить память маленького, никому не ведомого героя, имени которого никто не знал.

Молча стояли люди в зале, и каждый по-своему видел перед собой кудлатого мальчонку, веснушчатого и голопятого, с синей замурзанной тряпочкой на босой ноге...





**Вениамин Каверин**

### **КНОПКА**

Это была маленькая, толстая, румяная девушка, с короткими косичками, перевитыми лентами и торчавшими над открытыми ушами. У нее было много прозвищ — «Мячик», «Чижик», а один боец, когда она еще работала в госпитале, прозвал ее: «Пучок энергии». Это было очень меткое прозвище, потому что она действительно была похожа на пучок, состоявший из топота быстрых ног, скороговорки, румянца и косичек. Это была сама энергия, веселая, стремительная и действующая взрывами, как ракета.

Но из всех многочисленных прозвищ удержалось самое



простое — «Кнопка». Возможно, что оно намекало на ее маленький нос, напоминавший кнопку. Но она не обижалась. Кнопка так Кнопка! Главное было: всюду поспеть и все сделать самой. И она попевала всюду.

В этот день, самый горячий за всю ее девятнадцатилетнюю жизнь, она с утра успела поругаться с шофером, сменить повязки раненым бойцам, лежавшим в медсанбате, накормить их, съездить за письмами на полевую почтовую станцию и сделать еще десятки дел, перечислять которые было бы слишком долго.

Теперь нужно было везти раненых в тыл, и она принялась помогать шоферу, который, ворча что-то себе под нос, вот уже целый час возился с проколотой шиной.

Раненых она уже знала по имени, а кого не знала, того называла «голубушка». «Ну, голубушка, теперь вот сюда, — говорила она командиру, который, делая над собой мучительное усилие, шел, опираясь на ее плечо, к санитарной машине. — Ну-ка, еще раз!.. Умница! Вот и все».

О том, что дорога простреливается, она сказала, когда раненые уже были устроены и осталось только принести в машину снятое с них оружие.

— Вот что, товарищи, — сказала она быстро, — мы поедem на полном газу, понятно? Дорога простреливается, понятно? Так что нужно принять во внимание свои головы, чтобы при подбрасывании не разбить. Понятно?

Все было понятно, и никто не удивился, когда машина, слегка подавшись назад, вдруг рванулась с места и во всю прыть помчалась по изрытой танками дороге.

— Держитесь! Раз! — говорила Кнопка, когда, ныряя в рытвину, машина тяжело кряхтела и начинала, как лошадь, лягать задними колесами. — Есть! Поехали дальше!

Все ближе слышались разрывы снарядов. Черные столбы земли, перемешанной с дымом, вдруг вставали среди дороги, и в одном из таких столбов скрылась и взлетела на воздух сперва телега с фуражом, потом мотоциклист, почему-то

стоявший недалеко от шоссеиной сторожки, а потом и сама сторожка, рассыпавшаяся дождем досок, стропил и камня.

— Придется обождать, — обернувшись, крикнул шофер. — Эге! Кнопка!

— Давай дальше, проскочим!

Но проскочить было невозможно. Шофер свернул и, проехав вдоль обочины по полю, поставил машину среди редкого кустарника, которым некогда была обсажена дорога.

Лучшего прикрытия не было. Но и это было не прикрытия. Во всяком случае, оставлять раненых в машине, представляющей собой превосходную цель, Кнопка не решилась. Называя их всех без разбору голубушками и умницами, она вытащила раненых одного за другим и устроила в канаве, метров за двадцать пять от машины.

Был жаркий августовский день. Утро прошло. Солнце стояло в зените. Земля, перегоревшая за жаркое лето, была суха, и над нею неподвижно стоял душный, колеблющийся воздух. Вокруг ни тени. Очень хотелось пить. И первый сказал об этом маленький лейтенант с перевязанной головой, который всю дорогу подбадривал других, а теперь, беспомощно раскинувшись и тяжело дыша, лежал на дне канавы.

— Нет ли воды, сестрица? — спросил он.

И, точно сговорившись, все раненые стали жаловаться на сильную жажду.

Воды не было. Метрах в ста от разбитой сторожки виднелся колодезный сруб. Но была ли еще там вода, неизвестно. Если и была, как добраться до нее через поле, на котором ежеминутно рвутся снаряды?

— Где ведро? — спросила Кнопка у шофера.

Он посмотрел на нее и молча покачал головой.

— В машине осталось?.. Да что же ты молчишь? В машине?

— Ну, в машине, — нехотя пробормотал шофер.

— Ты за ними присмотришь, ладно?

И прежде чем шофер успел опомниться, она выскочила из канавы и ползком стала пробираться к машине.

Это было еще полдела — доползти до машины и разыскать полотняное ведро в ящике, полном всякой рухляди, которую шофер зачем-то возил с собой. Она достала ведро и, сложив его, как блин, засунула за пояс. Главное было впереди — добраться до шоссеиной сторожки, а самое главное еще впереди — от сторожки, уже не прячась в канаве, дойти до колодца.

Впрочем, первое главное оказалось не таким уж трудным. Канавка была глубокая, а Кнопка — маленькая. Так что, если бы время от времени из непонятного ей самой любопытства она не поднимала свою голову, украшенную косичками, торчавшими в разные стороны над ушами, эта часть пути показалась бы ей обыкновенной прогулкой. Правда, в прежнее время, прогуливаясь, она никогда не ползала на животе и не подтягивалась на руках, которые при этом сильно уставали. Но тогда было одно, а теперь другое.

Вот и сторожка, то есть то, что он нее осталось.

За ней начиналось второе главное.

До сих пор Кнопка не думала, есть ли в колодце вода. Эта мысль только мелькнула и пропала, когда она разглядывала сруб издалека. Но теперь она снова подумала: «А вдруг воды нет?» В первый раз ей стало действительно страшно.

Вокруг был такой ад, такой отвратительный вой свистящего и рвущегося воздуха стоял над ее головой, так трудно было дышать, так устали руки, так скрипел на зубах песок — и все это, быть может, напрасно. Но она продолжала ползти.

Сруб стоял на огороде, а огород был отделен изгородью, хотя невысокой и полуразбитой, но которую все же нужно было обойти, чтобы добраться до сруба.

Легко сказать — обойти! Это значило, что по крайней мере метров тридцать нужно было ползти под огнем. Руки

очень ныли, спину ломило, и Кнопка, прижавшись лицом к земле и стараясь ровнее дышать, решила, что не поползет. Ведро было на длинной веревке; она перебросит его через изгородь — авось угодит в колодец.

Четыре раза она перебрасывала ведро, прежде чем оно попало в колодец. Но ведро упало бесшумно, и Кнопка поняла, что колодец пуст.

С минуту она лежала неподвижно. Не то чтобы ей хотелось заплакать, но в горле защипало, и она должна была несколько раз вздохнуть, чтобы справиться с сердцем.

«Так нет же, есть там вода! — вдруг сказала Кнопка про себя. — Не может быть! Есть, да глубоко».

Она сняла пояс и привязала его к веревке. Ведро чуть слышно шлепнуло — или ей это показалось? Приблизившись к изгороди вплотную и приподнявшись на локте, она ждала несколько секунд. Веревка все натягивалась; Кнопка слегка подергала ее и поняла, что ведро наполнилось водой.

— Ну-ка, голубушка! — сказала она не то ведру, не то самой себе и стала осторожно вытягивать ведро из колодца.

Она вытащила его — мокрое, расправившееся, полное воды — и, вскочив, быстро перехватила рукой.

Прежде всего нужно было напиться. Воды было много, хватит на всех. Может быть, умыться? Но умываться она не решилась. Сейчас-то много, но много ли она донесет?

И тут она впервые задумалась над тем, как вернуться обратно с ведром, полным воды: ведь теперь его не засунешь за пояс. Эх, была не была! И, подхватив ведро, она побежала к сторожке.

Где-то близко разорвался снаряд. Земля осыпала ее с головы до ног. Она только присела на мгновение, отряхнулась и побежала дальше.

Запыхавшись, приложив руку к сердцу, она остановилась у сторожки и заботливо заглянула в ведро: не очень ли много расплескалось? Не очень! И вообще гораздо лучше бежать, чем ползти!

Теперь все было в порядке — от сторожки до машины рукой подать и можно пройти по канаве.

— Пережду, как станет потише,— сказала она себе,— и айда!

И вдруг она услышала чей-то голос. Сперва она подумала, что ослышалась, потому что этот слабый голос назвал ее так, как называл ее только один человек во всем мире:

— А, Пучок энергии! Здрóво!

— Что? — невольно откликнулась она и в ту же минуту увидела руку, торчащую из-под разбитых досок.

Это был тот самый знакомый боец, который только один во всем госпитале не соглашался на «Кнопку». Последний раз она видела его в Ленинграде, когда он выписывался из госпиталя и снова отправлялся на фронт.

— Сейчас, голубушка! — сказала Кнопка, осторожно снимая с него обломки досок. — Подожди, милый!

Она велела бойцу обнять себя руками за шею и проползла вместе с ним метров двадцать. О воде она вспомнила, уже когда была рядом с санитарной машиной.

— Ладно, скоро вернусь,— быстро пробормотала она.— Жаль только, что согреется. Эх, не прикрыла!

Шофер, заметив, что она возвращается не одна, выскок из канавы и пополз к ней на четвереньках. Вдвоем они доставили раненого в укрытие, осторожно сняли с него гимнастерку, и, быстро приговаривая, Кнопка стала останавливать кровь и перевязывать раны. Никто больше не просил пить. Никто даже не спросил у Кнопки, была ли в колодце вода. Жара стала еще душливее, и маленький лейтенант лежал, закинув голову и полуоткрыв пересохшие губы. Но он только взглянул на Кнопку и не сказал ни слова.

— Ты что, Кнопка? — спросил шофер, заметив, что она время от времени нетерпеливо поглядывает на сторожку.

— Ничего... Кажется, потише становится, а?

Становилось как раз не «поттише», а «погромче», и шофер только сомнительно покачал головой.

— Нет, потише! — упрямо пробормотала Кнопка и вдруг, выскочив из канавы, опрометью побежала к сторожке.

Через несколько минут она вернулась, таща ведро с водой. Правда, назад она летела так быстро, что с добрых полведра выплеснулось, но еще оставалось много прекрасной, не успевшей согреться, чистой, вкусной воды.

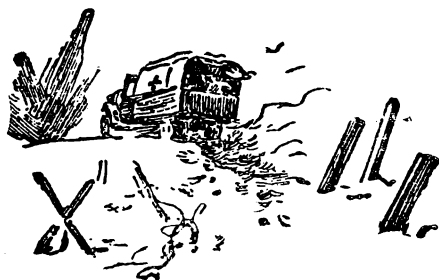
— Голубушки, принесла! Честное слово, принесла! — закричала Кнопка, подтанцовывая и сама глядя на воду с искренним удивлением. — Вот так штука! Принесла!

Через полчаса, когда обстрел прекратился и раненые, которых она напоила и умыла, были уложены в машину, Кнопка с дороги в последний раз взглянула на мертвый, изрытый снарядами кусок земли между колодцем и канавой. Песок вдруг скрипнул у нее на зубах, напомнив о том, как она ползла, подтягиваясь на руках, и как справа и слева рвались снаряды.

«Должно быть, я храбрая, что ли?» — неясно подумала она и поправила развязавшуюся ленточку на тугой короткой косичке.

Впрочем, спустя несколько минут она уже не думала об этом.

Машина по-прежнему ныряла по рытвинам, и нужно было следить, чтобы кто-нибудь из раненых не ударился головой о раму.





**Петр Павленко**

### **УДАЧА**

Было за полдень. Над тускло-золотистыми ржами медовыми волнами струился зной. Легкий ветер напоминал приливы и отливы жара, пышущего цветами и спелым хлебом.

На переднем крае было тихо. Лишь иногда редкий выстрел нашего снайпера нарушал дремоту ленивого августовского дня.

Ряды колючей проволоки перед нашими и немецкими окопами напоминали нотные строчки.

На немецкой — нотными знаками пестрели консервные банки и поленья.

Третьего дня ночью какой-то веселый снайпер — не Голуб ли? — нацепил на колья проволочного ограждения

немцев эту «музыку» — баночки и деревяшки — и до зари потешался, дергая их за веревочку из своего окопа. И до зари не спали немцы и все стреляли наугад, все высвечивали ночь ракетами, все перекликались сигналами, с минуты на минуту ожидая, видно, нашей атаки. Утром же, разобрав, в чем дело, долго — в слепом раздражении — били из крупных орудий по оврагу и речке за окопами, разгоняя купающихся.

А потом опять все затихло до темноты, и наши побежали ловить глушеную рыбу.

Вечером же, когда поля слились в одно неясно-мглистое пространство, немцы выслали патрули к своей проволоке, и те всю ночь ползали взад и вперед, взад и вперед, мешая нашим саперам, которые должны были взорвать проход в проволоке, но так и не сумели сделать из-за проклятых патрулей, хотя ходил не кто иной, как старший сержант Голуб. Ему обычно все удавалось. Ночь, в общем, пропала даром, и наступил тот самый день, с которого начат рассказ.

Было так тихо, будто на войне ввели выходной день. Окопы переднего края казались пустыми.

Роты, стоявшие во втором эшелоне, косили рожь и немело вязали снопы. Война как будто вздремнула. И никто поэтому не удивился, заметив над окопами хлопотливый «У-2», «конопляник», летевший с сумасшедшим презрением к земле, метрах в двадцати пяти, может быть даже и ниже. Немцы открыли по самолету стрельбу. «Конопляник», как губка, сразу вобрал в себя дюжины три пуль и клюнул носом в ничье пространство, между нашей и немецкой проволокой. Пока он валился, его успело все-таки отнести по ту сторону немецкого заграждения. Самолет негромко треснул и развалился, как складная игрушка. Первый выскочивший летчик был убит сразу, второй же успел сделать несколько шагов назад, к проволоке, и перебросил через нее на нашу сторону полевую сумку, а потом его свалило че-



тырьмя пулями. Видно было, как он вздрагивал после каждой.

Немцы попробовали было захватить раненого летчика, но наши, открыв пулеметный огонь, не дали им этого сделать. Летчику и полевой сумке суждено было провалиться до темноты.

Саперы и разведчики кричали раненому:

— Лежи, терпи, друг! Стемнеет — вытащим!

Но тут позвонили из штаба дивизии, и сам командир лично приказал немедленно и любой ценою доставить ему полевую сумку, в которой, подчеркнул он, находятся документы огромной важности.

Немецкие автоматчики тем временем уже пытались расстрелять сумку разрывными.

Бросились будить всемогущего Голуба, который после ночной неудачи спал, как сурок, но он уже проснулся и следил за развитием драмы, что-то прикидывая в уме.

Еще до звонка командира дивизии ротный уже поинтересовался у Голуба, что он обо всем этом думает, и тот, прищурясь на самолет, сказал:

— Гробина! До ночи и думать нечего, товарищ старший лейтенант.

Но сейчас, когда получен был точный приказ, операцию нельзя было откладывать, и Голуб без напоминания понял, что выполнять ее придется именно ему, а не кому другому.

Он был опытный, храбрый и, как говорили, еще и везучий.

С ним на самое рискованное дело без страха шел любой новичок. И, конечно, сейчас идти нужно было Голубу, он это отлично знал. Выбора не было. И сразу, как только понял он, что выбора нет, дело начало представляться ему в новом свете — и уже не таким гробовым, как раньше, бесспорно, рискованным, но отнюдь не смертным.

Он собрал всего себя на мысли, что приказ забрать сум-

ку не получен, а отдан им же самим, что это его приказ, его личная воля, он сам этого хочет.

И когда «я должен» зазвучало в нем, как «я хочу», задание не то что сразу стало более легким, но жизнь и задание слились в одно и нельзя было ни обойти его, ни остановиться перед ним в нерешительности, оно стало единственным мостом, по которому мог пройти Голуб.

Теперь, когда выбора не было, он не думал и об опасности, потому что думать о ней и о других менее рискованных делах — значило сравнивать их, то есть опять-таки выбирать, предпочитать, а он не мог этого.

Все прежние рассуждения заглушило в нем желание — сделать!

Никто и ничто не может принудить человека к героизму, так же как и к трусости. Все идет от себя. Один и тот же жестокий огонь высекает из первой души отвагу, из второй — трусость. Одно и то же побуждение — жить! — направляет первого вперед, на противника, а второго — назад, в тыл. И как первый бегущий на вражеский окоп знает, что на пути его не раз встретится смерть, но он, может быть, и даже наверное, избежит ее, так и второй, когда бежит с поля боя, отлично чувствует, что и на его пути встретится смерть от руки командира или товарища, и он точнее рассчитывает как-нибудь избежать ее.

Никто не дает приказа совершить подвиг, кроме своей души. И если может она волю командира сделать своей и добиться ее выполнения, — велика такая душа.

Волево, математическое напряжение быстро овладело Голубом.

Ничего не слыша, кроме приказа, и ничего не видя, кроме полевой сумки, он быстро, как спортсмен, соображал, выйдет или не выйдет и как именно может выйти.

— Товарищ старший лейтенант, — попросил он, — дайте огонь сразу всеми нашими пулеметами. Сразу и подружней. И «ура».

И, быстро выскочив из окопа, он с несколькими бойцами пополз к проволоке. Никто не ожидал этого. Тут пулеметы шквальным огнем прижали к земле немецких автоматчиков — те потеряли точность. Немцы предоставили слово снайперам, наши — тоже.

Вступили в дело минометы. «Ура» из наших окопов сковало внимание немцев. История с сумкой перестала быть самой важной для немцев. Она растворилась в других деталях внезапной схватки, вот-вот, казалось, могущей перейти в рукопашную.

Тем временем Голуб подполз к сумке и перебросил ее товарищу, тот мгновенно передал третьему, как мяч в футболе, и она быстро влетела в окоп.

«Ура» наших грянуло с новой силой, точно был забит гол в ворота противника.

Однако наши пулеметы продолжали вести огонь с прежней настойчивостью, ибо Голуб все еще полз куда-то вперед, к немцам. Ползли за ним и его бойцы.

Теперь, когда так удачно была проведена операция, казавшаяся невыполнимой, ощущение удачи и веры в себя не знало границ. Сначала Голуб сам даже не сообразил, что делает, и, только занося руку с ножницами для резки проволоки, которые он всегда брал с собой по ночам, понял, что ножницы по привычке повели его дальше. Зачем? Может быть, исправить неудачную ночь? И только когда рука прорезала узкий лаз в проволочной плетенке, вспомнился раненый летчик. Пулеметный и винтовочный огонь и крики «ура» еще более усилились.

Голуб полз и резал, полз и резал, пока не очутился возле истекавшего кровью летчика.

— Помоги, родной, помоги! — прохрипел тот.

Но Голуб не задержался возле него. Все самое трудное было позади. Приказа не существовало, приказ вошел в кровь, он стал отвагой, жаждущей полного торжества. И Голуб сделал еще несколько шагов, чтобы коснуться убитого

летчика. Пули обсевали его со всех сторон. Он крикнул саперу Агееву:

— Не могу работать с убитым! Ползем назад! — и повернул к раненому.

Если бы хоть один человек из тех, кто прикрывал Голуба и Агеева своим огнем, потерял веру в успех, все провалилось бы.

Схватка шла так, словно была заранее сыграна, каждый угадывал смысл своего следующего выстрела, еще не сделав его. Командовать было некогда.

Это была музыка, где звук ложится к звуку и краска к краске. И когда Голуб застрял с летчиком в узком проволочном проходе, пулеметчики, снайперы и минометчики сразу же прикрыли его таким точным огнем, что дали лишние четыре минуты на возню с проволокой.

И затем все было сразу кончено.

Отдуваясь, сдирая с брюк и гимнастерки шишки репья, чему-то смеясь, Голуб пошел докладывать о выполнении задачи ротному командиру, который, впрочем, все видел сам и уже успел позвонить в штаб дивизии.

Пулеметы смолкли. Укрылись в своих норах снайперы. В воздухе, как эхо боя, несколько секунд еще реяло «ура», но и оно затихло.

Медово-сонный зной, звеня, еще стал как-то гуще, плотнее, дремотнее и необозримее.

Командир роты сел за представление к награде, а Голуб прилег до темноты.

Но он заснул не сразу. Возбуждение спадало медленно. Мускулы, точно подразделения, рассредоточенно расходились на покой. Голуб хорошо знал это блаженное состояние после удачного дела и наслаждался им.

— Удачливый черт! — услышал он о себе и улыбнулся.

Умей он говорить, он ответил бы:

— Удача? Может быть. Но удача не в том, что я полез под огонь и вышел целым. Удача в другом. Надо, чтобы

приказ зазвучал в тебе, как свое желание, чтобы ты исполнил его не как придется, а пережил всем сердцем, чтобы оно только легонько толкнуло тебя, а там и пошло от себя, свое, на полный газ, без стеснения. Удача — уметь вобрать в себя приказ, как желание боя. И она есть у меня. Тогда многое удастся. Это закон.





**Михаил Водопьянов**

### **ШТУРМАН ФРОСЯ**

Однажды к нам в полк пришла скромно одетая белокурая девушка.

Мы, летчики и штурманы, только что кончили подготовку к боевому вылету и собирались пойти пообедать. Кто-то решил, что она пришла наниматься подавальщицей в столовую, и ей предложили:

— Пойдемте, девушка, с нами. Мы как раз в столовую идем.

— Спасибо, я не хочу есть!

— Ну, с заведующим поговорите.

— Спасибо, мне не нужно.

— А кто же вам нужен?

— Командир полка.

— Интересно, по какому же делу, если не секрет?

— Видите ли,— охотно ответила девушка,— когда я кончала десятилетку, я одновременно училась в аэроклубе летать. Теорию сдала отлично, а практически оказалась малоспособной: поломала машину, и меня отчислили.

Кое-кто засмеялся, но многих ее откровенный рассказ заинтересовал.

— Вы что же,— спросили ее,— хотите поступить в наш полк?

— Да.

— Вам незачем идти к командиру.

— Почему?

— С такой практикой вы нам не подойдете.

— Но вы ведь меня еще не знаете,— возразила девушка.— Я еще окончила школу штурманов и работала в отряде. А потом заболела, и меня отчислили в резерв. Сейчас я здорова, и мне стыдно сидеть дома, когда все воюют.

— Нет, вы все равно не подойдете,— сказал ей старший штурман ( а я в это время подумал: «Молодец, настойчивая! Люблю таких» ).— Наши штурманы летают ночью и имеют многолетний опыт. А вы?

— Я тренировалась и ночью.

— А сколько вам лет?

— Скоро двадцать два будет.

— Многовато,— сказал кто-то, и все засмеялись.

— С таким штурманом полетишь и заблудишься — домой не попадешь! — заметил один из наших летчиков.

Девушка начала кусать губы, чтобы сдержать слезы. Немного помолчав, она взяла себя в руки и сказала:

— Что ж, за смех обижаться не приходится, а серьезно меня никто не обидел. Спасибо и на этом!

Она повернулась и быстро пошла к воротам.

Всем стало жаль ее. А я, глядя вслед уходящей, вспомнил свою молодость, свое непреодолимое желание летать,

насмешки отца, который говорил, что мне «летать только с крыши».

— С характером девушка! — сказал главный штурман.

— По-моему, — заявил я, — надо попробовать ее потренировать. Характер подходящий.

Девушку вернули. Командир предложил ей пройти медицинскую комиссию и сдать испытания.

Скоро у нас в отряде появилась новая боевая единица: штурман Фрося, как ее все звали.

Фрося оказалась способным, грамотным штурманом. Кроме того, она знала радио и хорошо работала на ключе. Сначала ее посылали на боевые задания с опытными мастерами своего дела. Но вскоре она была допущена к самостоятельным полетам и начала работать с летчиком Беловым.

Однажды они вылетели в район Брянска. Связь Фроси всегда держала прекрасно. На этот раз они имели скромное задание — разведать погоду. Каждые пятнадцать минут мы получали от нее сообщения. Вдруг связь на некоторое время прервалась. Затем Фрося сообщила: «В районе Брянска большое скопление танков. Бросаю бомбы». Опять наступил перерыв — и новое сообщение: «Самолет горит. Летчик ранен. Стрелок убит». На этом связь была прервана.

У нас в полку сильно загоревали. Многие поговаривали, что, будь на месте Фроси старый, опытный штурман, надежда на спасение людей еще таилась бы. «Дивчина она хорошая, но бывалый человек в таком положении оказался бы полезнее», — так судили у нас в полку.

Тем временем от потерпевшего бедствие экипажа никаких сведений не было. Белова и Фросю считали погибшими.

Прошло три месяца.

Стояла глубокая зима. В гуще Брянских лесов скрывалось немало партизанских отрядов. Летчики нашего полка довольно часто получали задания на «малую землю»: мы возили партизанам продовольствие, оружие, одежду, вывозили раненых.



Однажды, когда самолет вернулся из такого полета, на его борту оказались Белов и Фрося.

Трудно рассказать о радости, испытываемой военными людьми, когда к ним возвращаются товарищи, которых считали погибшими. Фросю и Белова буквально на руках вынесли из самолета... И уж действительно ни с чем не сравнима была наша радость и гордость, когда мы услышали историю их спасения.

Фрося скромно молчала. А Белов рассказал нам вот что.

Когда загорелся самолет, Белов был тяжело ранен в бедро. Он не мог двигаться. Фрося вложила ему в руку парашютное кольцо и помогла перевалиться через борт машины. Тут же она прыгнула сама. Приземляясь, раненый летчик не мог самортизировать ногами и от острой боли потерял сознание.

— Надо сказать правду,— рассказывал Белов,— что, когда Фрося нашла меня на опушке леса без чувств, она решила, что я умер. Тут наш штурман повел себя не по-мужски: она кинулась на мой «труп» и так разревелась, что привела меня своими слезами в сознание. Начиная с того момента, когда она обнаружила, что я жив, ее поведению может позавидовать любой храбрейший и мужественный боец и разведчик.

Положение наше было тяжелое. Двигаться я не мог. Аварийного пайка могло хватить на два дня, и то по самой скромной порции. Кроме того, нас легко могли обнаружить фашисты. Неподалеку упал наш самолет — мы видели зарево от догоравшей на земле машины. Этот костер мог привлечь внимание врагов.

Уж не знаю, откуда у Фроси столько силы: она взвалила меня на спину и понесла. От боли я снова потерял сознание. Не знаю, сколько времени она меня так протащила. Говорит, что недалеко, но, по-моему, это неправда.

Я очнулся снова уже в шалаше на довольно мягкой «постели» из сухого мха. Убежище у нас было прекрасно за-

маскировано, но положение опять очень неважное. Есть было нечего. Рана моя горела, и я по-прежнему совсем не мог двигаться.

Мы решили расстаться. Сидеть нам обоим в шалаше значило обречь себя на голодную смерть. Если же Фросе удалось бы найти партизан или местных жителей, которые взяли бы нам помочь, мы были бы спасены. Она ушла в разведку. Фроси не было два дня... Остальное пусть она сама расскажет.

— Товарищ командир, — взмолилась Фрося, — я не умею. Вы уж начали, вы и продолжайте!

— Как же я расскажу о том, чего не видел?

— Вы и так все знаете лучше меня!

— Ну, смотри не обижайся... Так вот, друзья мои, что сделала Фрося, — продолжал Белов. — Не найдя в лесу партизан, она проникла в занятый фашистами районный городок. Она сумела войти в доверие к фрицам, и ее приняли в офицерскую столовую. Товарищи дорогие, если бы вы знали, какие изумительные блюда она мне приносила! Один раз умудрилась даже дотащить мороженое... Но разве дело в том, что она старательно выбирала для меня все самое лучшее! За каждый вынесенный для меня кусок, за каждый тайный уход в лес она рисковала жизнью. Я лично так считаю, что, добывая и доставляя мне питание, она совершила подвиг.

Тут Фрося надулась, покраснела и сказала совершенно серьезно:

— Как вам не стыдно, Николай Павлович... Никогда не думала, что вы станете такое говорить...

— Сама виновата! Я предлагал рассказывать — не захотела. Теперь не мешай.

— Правильно! — зашумели летчики. — Фрося, к порядку!

— Я вам еще не то расскажу, — продолжал Белов. — Однажды она явилась ко мне с целым провиантским складом:

им можно было полк откормить! При этом она заявляет, что, мол, не ждите меня — целую неделю не приду.

Я спрашиваю, как и что,— она отмалчивается. Когда я стал беспокоиться, что ее заметили, она рассказала, что ничего страшного нет: просто ей нужно связаться с партизанами, и все.

Пожалуй, время ее отсутствия было для меня самым тяжелым испытанием за все дни нашего бедствия. Я не мог ни есть, ни спать. Никогда в моей жизни дни не тянулись так медленно. Я воображал себе всяческие несчастья, которые могли случиться с Фросей, проклинал свое беспомощное состояние, и мне не раз приходила в голову сумасшедшая мысль выбраться из своего логова. Но как я мог прийти к ней на помощь?

Не на седьмой, а на десятый день к моему убежищу подошла Фрося вместе с партизанами.

И только уже в партизанском лагере я узнал, что она спасла весь отряд... Посмотрите на нее, дорогие товарищи! Эта скромная девушка сохранила нашей стране восемьдесят шесть человеческих жизней...

Фрося опять сильно покраснела. На этот раз она смутилась настолько, что на ее глазах появились слезы. Но, как в первый раз, когда она пришла к нам в полк, она взяла себя в руки и прервала Белова:

— Николай Павлович, честное слово, вы не так рассказываете. Уж лучше я сама.

Народ, слушавший всю эту историю, конечно, зашумел: требовали продолжения. Фрося сказала:

— Не знаю, что тут такого? Каждый бы так сделал. Я работала официанткой у них в столовой. Никакого героизма тут нет: наоборот, очень противно было подавать этим гадам. Они думали, что я не знаю их языка, и свободно говорили при мне обо всем. А я немножко понимаю. И когда я узнала, что готовится карательная экспедиция на партизанский отряд, я, конечно, пошла и предупредила. Вот и все.

— Нет, не все! — крикнул ей Белов.

— Как «не все»?

— А документы?

— А-а... Ну, вот еще что: когда я решила уйти и больше уж не возвращаться, я пошла в гардероб, где они оставляли свои шинели. Там я все повытаскивала у них из карманов — на всякий случай. Конечно, могло оказаться, что ничего ценного бы не нашлось. Но один дурак оставил в кармане шифр радиопередач и список тайных осведомителей. Все это очень пригодилось партизанам. Только, по-моему, это не моя заслуга, а глупость врага... Ну, а теперь уж окончательно все. — И Фрося вздохнула с облегчением.

В этот вечер долго не смолкали разговоры о Фросе. Она уже давно ушла отдыхать, а мы все толковали о ней.

— Помните, — сказал кто-то, — мы решили, что она пришла к нам в столовую подавальщицей наниматься?

— Да-а... А кто это сказал, что с таким штурманом улетить и домой не вернешься?

— Это я сказал, — отозвался Белов.

На этот раз пришла его очередь покраснеть.

— Нет, — добавил он, — теперь я вижу, что с ней-то как раз откуда угодно домой попадешь.





**Николай Панов**

**„С ТОРПЕДАМИ НЕ ВОЗВРАЩАТЬСЯ!..“**

Корабль вернулся из похода недавно, и вновь ему было приказано идти на поиск врага.

Старшина Павел Дронов натянул меховой комбинезон, едва просохший, жесткий от морской соли. Выбежал на стенку, к бурой воде, где торпедные катера жались друг к другу бортами. После внезапно прерванной короткой дремоты голова была тяжелой, смыкались глаза, но он ступил на борт своего корабля всегдашней четкой походкой.

Застреляли моторы, завибрировала тесная палуба: сняты обледенелые, жесткие, как железо, чехлы с пулеметов, темнеют промасленной сталью длинные стволы.

Старшина прыгнул в люк кормовой турели, привычным движением сжал рубчатый каучук пулеметных ручек.

Нежданно и резко, как это часто бывает в Заполярье, изменилась погода. Только что над студеной водой залива густо летели хлопья мокрого снега, и вдруг горизонт просветлел, из желтовато-алых облаков сверкнуло темно-красное солнце.

Рокоча моторами, маленький корабль отходил от стенки.

Командир катера старший лейтенант Шатилов стоял на обычном своем месте: высунувшись по грудь из люка над боевой рубкой, слегка пригнувшись к штурвалу.

— С торпедами не возвращаться! — крикнул со стенки комдив.

Шатилов держал руку у козырька фуражки, побелевшей от морской воды. Из-под сдвинутого на светлые брови козырька строго глядело курносое, почти мальчишеское лицо. Торпедист Демин вытянулся у рубки, руки по швам.

«Волнуется, чудак! — подумал Павел. — А ведь ничего хуже смерти не будет».

Вслед за катером Шатилова прочерчивал залив белым следом буруна второй катер звена. Старшина глянул через плечо в сторону моря, где, разбиваясь об острый гранитный мыс, взлетали пенные фонтаны.

Привычно опробовал свой крупнокалиберный пулемет. Бледная трасса прочертила небо. Вторая трасса взлетела из-за рубки, от носового пулемета Мишукова.

Все как обычно. Неустанный свист ветра в ушах, от холода немеют щеки и лоб. Павел поглубже натянул ушанку, поднял воротник куртки, дернул ремешок «молнии», меховой капюшон мягко обхватил лицо.

На выходе из залива закачало сильнее. Глянцевые синие волны вздымались все выше и выше. Того гляди, сно-

ва пойдет снег и все кругом вновь затянется промозглой мутью. И точно: плотная темная пелена заволокла горизонт. Снег покрыл мокрой коркой и брови, и кончик носа.

Дронов надавил спиной подвижное кольцо турели. Открылся новый сектор обзора. За кормой, за длинными округлостями приподнятых над палубой торпед в светлой кильватерной струе то взлетал на гребне, то почти исчезал между волнами второй катер.

По данным воздушной разведки, где-то у берегов Северной Норвегии пробирается вражеский транспорт. Нужно обнаружить его и пустить ко дну.

Старшина наблюдал за морем и небом. Взлетающая из-за борта волна покрывала палубу пузырчатой пленкой, смывала тающий снег. Тянулись часы за часами. На море пала влажная темнота.

Дронов поднес к глазам коченеющую руку. Из-под шерстяного зажима рукава тусклой зеленью мерцали стрелки часов.

«Три сорок, идем уже у норвежских берегов, а видимость — ноль. Мыслимо ли в такую темень обнаружить врага?..»

Впереди слева, над невидимым берегом, замерцали огоньки.

«Рыбачьи домики. Рано проснулись норвеги. И не затемняются. А что им затемняться? Знают: не с ними, с оккупантами воюем».

Край моря засеребрился. Выглянула луна и снова зарылась в тучи. Тьма, холод, качка, мирные огоньки вдали...

Дронов больно ударился лбом обо что-то жесткое. Вскинул голову. Еле проступал из тьмы замок пулемета, сонная истома растекалась по телу.

«Неужто заснул?..»

Старшина поднес часы к глазам. Ничего не проспал — прошло только две минуты. Встряхнулся, повел спиной, турель снова заскользила вокруг собственной оси.

На берегу желтели приблизившиеся огоньки поселка. И вдруг одно из окон погасло, словно кто-то вкрадчиво прикрыл его черным пальцем. Мгновение спустя погасло и второе окно.

Старшина весь напрягся, сонливость мгновенно пропала. Ясно: идет какое-то крупное судно, оно и заслонило окна домов.

— Под берегом большой корабль, слева семьдесят! — негромко доложил старшина, перегнувшись в сторону рубки.

Шатиллов вскинул к глазам бинокль...

Край моря опять просветлел. Медный диск луны прорезал рваную тучу.

— Молодец, старшина! — сказал вполголоса командир.

Он с трудом сдерживал волнение — так охотник боится спугнуть выслеженную дичь.

— Передать мателоту<sup>1</sup>: обнаружили вражеский конвой. Сближаться с целью на подводном выхлопе!

Катер резко изменил курс. Как осветительный снаряд, летела луна в бездонном небе, ныряя между неподвижными облаками. Отчетливо стали видны скользящие вдоль берега силуэты.

Катер бесшумно шел на подводном выхлопе. Почти погасли «усы» — двойной пенный след за кормой.

На мокрой палубе четко чернела тень распылительной трубы аппарата дымовой завесы. Грозно темнели приподнятые над бортами торпеды.

«Подобраться бы незаметно кабельтова<sup>2</sup> на три, — волнуясь, думал Дронов. — Да, пожалуй, луна не допустит. Пришлась же не вовремя эта луна...»

Луна будто услышала и опять скрылась за тучей. И вновь полился над водой зыбкий полусвет.

---

<sup>1</sup> Мателот — соседний корабль в строю.

<sup>2</sup> Кабельтов —  $1/10$  мили, 185,2 метра.



Над бугром рубки вырисовывался неподвижный силуэт командира. Ухватившись за поручень, всматривался в караван торпедист Демин. Мелькнула в люке голова старшины мотористов Андреева. Со стороны берега надвигался гул многих корабельных винтов. «Видно, не маленький конвой», — прикинул в уме Дронов.

— Аппараты. Дым. Товсь! — вполголоса скомандовал Шатилов.

Старшина дал воздух в баллон дымоаппарата. Теперь остается повернуть вентиль — и из трубы ринется дым.

Демин пробежал от рубки к корме, склонился у тележек — держателей торпед, вынимая предохранительные чеки.

В это же мгновение почти у самой береговой черты вспыхнула над водой ослепительная звезда. Упругий белый луч лег на волны — один из фашистских кораблей включил боевой прожектор.

Почти тотчас рядом вспыхнул второй длинный луч, пересекая с первым. Они мчались над волнами, срезая пенные гребни. Не нащупав катеров, пронеслись мимо.

Но вот один прожекторный луч рванулся обратно, ослепляя, уперся прямо в лицо, ярко осветил палубу катера, бугорок рубки. Дронов невольно зажмурил глаза.

И тут же его оглушил рев моторов. Будто подпрыгнув, катер рванулся вперед. Крупные, тяжелые брызги ударили по плечам и спине. Как бешеные, вздыбились у бортов пенистые «усы» — командир дал надводный выхлоп, самый полный ход.

Нечего больше скрывать! Вперед, на караван!

Прожекторный луч опять поймал их и теперь уж неотступно следовал за ними. Солено-горькая пена перехлестывала через турель, с ног до головы обдавая старшину.

— Как торпеды? — донесло ветром голос командира.

— Как торпеды? — повторил старшина, нагибаясь к Демину.

Полулежа между держателями торпед, Демин поднял вверх предохранительные чеки. Торпеды готовы к залпу!

Силуэты вражеских кораблей выростали с каждой секундой. В центре высился огромный транспорт. Корабли охраны шныряли вокруг. По бортам их вспыхивали огни оружейных залпов.

Разноцветные линии трасс, снаряды и пули — стремительно летели над черной водой. На пути катера встала стена пронизанных пламенем всплесков. Прямо в эту огневую, ревущую завесу разрывов мчались советские катера.

«Пожалуй, тут нам и конец,— подумал Дронов, еще крепче сжимая пальцами борт турели. Он не боялся смерти, да кому же охота погибать? — Прорвем завесу или вот сейчас же, через какую-то секунду, нас разнесет прямым псаданием».

Катер шатнуло. Почти отвесно встало перед глазами вздыбленное снарядами море. Но огненный вихрь внезапно отдалился, стал убегать вбок.

«Что за чертовщина! — удивился старшина. — Не отказался же командир от атаки? Нет, не мог отказаться, не таков он, наш командир!» Взглянул на старшего лейтенанта. Тот по-прежнему склонился над штурвалом, приподняв плечи, надвинув фуражку на брови. «Не таков наш командир!» — мысленно повторил Дронов.

Катер мчался в темноту. Но вот он круто повернул, срезал бортом волну и ринулся обратно, словно прыгающий по волнам снаряд.

Сделав крутую петлю, затерявшись во мраке, Шатилов возвращался к каравану с другой стороны. Враг не успел еще перенести огневое заграждение, и старший лейтенант вел свой юркий кораблик прямо на транспорт.

Вдруг раздался треск, грохот, палубу подбросило. Попадание?.. Запахло бензином. Однако корабль не сбавил хода, мчась на цель, как оперенная пеной стрела.

На мгновение командир обернулся.

— Дым! — донесся сквозь ветер приказ.

Дронов рванулся из турели и повернул вентиль. Дым вырвался из жерла трубы, взвихрился за кормой мраморно-белым облаком и стал растекаться над морем.

— Залп! — крикнул Шатилов.

Повторяя приказ, старшина высоко вскинул над головой обе руки.

Метнулась в воду одна торпеда. Огромной рыбиной прыгнула за борт вторая — и катер повернул на обратный курс.

Совсем близко перед собой старшина увидел отчаянно дымящий высокими трубами, медленно меняющий курс транспорт; молнии залпов с его бортов, маленькие фигурки мечущихся на палубе вражеских матросов.

Торпеды настигли цель. Оглушительный взрыв, столб огня, и транспорт стал разламываться.

— Есть! — крикнул в восторге Дронов.

И тут же закашлялся, зачихал. Удушливый белый дым заволок все вокруг, забивал нос, горло, жег глаза. Дронов зажмурился, затаил дыхание. Не в первый раз входил он в собственную дымовую завесу...

Они прошли сквозь дым, полным ходом уносились от кровавого зарева на горизонте. Впереди — рассветный, редящий полумрак. Ветер пронзительно свистел в ушах, над кормой хлопал и нагибался краснозвездный победный флаг.

Победа! Промокший до нитки старшина дышал полной грудью, как бы новыми глазами глядя на мир. Прекрасны были и это море — зеленые гребешки с белыми барашками пены, и облака, и полоса снежных сопков, и даже зловещий, прорезанный багровыми отблесками горизонт.

— Поздравляю с удачей! — оглянувшись, торжествующе крикнул Шатилов и осекся. — Что с Деминым, старшина?

Демин лежал ничком между пустыми держателями торпед. Рука его вцепилась в кронштейн, шапку унесло за борт.

Старшина приподнял товарища. Глаза Демина были закрыты, струйка крови змеилась в коротко остриженных волосах. Но он был жив. Дронов осторожно перенес раненого в рубку. И тут же увидел: что-то случилось и с командиром.

Старший лейтенант по-прежнему сжимал руками штурвал, но стоял он, опершись всей тяжестью на одну правую ногу. Сквозь лохмотья меховой штанины на левой ноге часто капала кровь.

— Товарищ старший лейтенант! — вскрикнул Дронов. — Разрешите сменить вас у штурвала.

Стиснув губы, Шатилов глядел куда-то вдаль. Светлые брови его сошлись в одну черту, он грузно опирался на локти.

Вскрывая на ходу индивидуальный пакет, из моторного отсека выскочил моторист Андреев.

— На боевой пост, старшина! — глухо сказал Шатилов. — К пулемету! Сделай все, что можешь, и еще в два раза больше.

Снаружи что-то загрохотало, затрещало, и всем корпусом вздрогнул корабль.

Дронов выскочил из рубки. Он сразу понял, чего требует командир.

Позади, из-за мраморной дымовой завесы, вылетел темный силуэт.

«Морской охотник — фашист!»

Павел припал к прицелу, повел спиной. Пулемет легко заскользил по кругу турели.

— Бронебойно-зажигательных не желаешь? — пробормотал Павел, лоя в прицел стреляющего из пушки и из пулемета врага.

Вести огонь сейчас можно было только из пулемета Дронова. Носовой пулемет Мишукова молчал. Мишуков не мог стрелять, пока противник был за кормой. Старшина вел огонь, совсем почти не чувствуя пальцев. Перетаскивая ра-

неного торпедиста, он обронил рукавицы, и руки окостенели от ледящего ветра. А ведь теперь только от одного него зависело спасение родного корабля. Однако все сильнее неме-ли пальцы, и обычная меткость изменила ему. Он бил длин-ными очередями, чтобы вернее накрыть треугольный, ото-роченный пеной форштевень врага, а пулеметные трассы ложились в стороне.

— Целиться нужно, а не играть! — раздался голос командира.— Все отдай, старшина. В рубку ему врежь!

Дронов вздрогнул. Ярость, горький упрек звучали в го-лосе старшего лейтенанта. Как же оживить мертвеющие пальцы? Прижал их к губам, ударил кулаком по борту ту-рели.

— Дым! — скомандовал Шатилов.

На миг оторвавшись от пулемета, Дронов отвернул вен-тиль. Дымовую струю растрепало ветром, бросило встречь фашистскому кораблю и закрыло его...

Уже совсем рассвело.

Справа отчетливо вырисовываются отвесные заснежен-ные сопки. Но это еще не наш берег. А катер идет медлен-но — барахлит мотор.

Бледное пламя полыхнуло вдруг из пробойны рядом с бортом. Выскочив с огнетушителем, Андреев сбил огонь, вытер ладонью скуластое лицо.

— Как моторы?

— Один тянет хорошо,— сообщил Андреев,— второй скис. И рация вышла из строя. Где же наш мателот?..

— Руки, старшина, отогрели? — донесся из рубки спо-койный голос командира.— Скорость мы сбавили, сближа-емся с противником, есть шанс отличиться. Как только вы-скочит из дыма — резаните его покрепче. Не оплошайте на сей раз.

— Есть не оплошать!

И в самом деле, вражеский «охотник» вскоре вынырнул из завесы. Теперь он был намного ближе.

Дронов тотчас поймал в прицел пестрый треугольник высокого носа. Грохоча, пулемет рвался из рук. Огненная трасса скрестилась с целью, и фашист стал быстро уменьшаться в размерах.

— Ура! — выглянул из рубки Андреев.

Шатилов лишь одобрительно кивнул и опять пригнулся к штурвалу.

Между тем из дыма появился новый вражеский корабль. Переваливаясь с борта на борт, он шел на полной скорости.

Старшина вновь прицелился, но тут что-то оглушительно лязгнуло, холодные ручки пулемета вырвались из пальцев. Острая выбоина от вражеской бронебойной пули наискосок прорезала вороненую сталь ствола.

— Почему не стреляете? — не оборачиваясь, спросил Шатилов.

— Прямое попадание, пулемет выведен из строя! — сухо, почти равнодушно доложил старшина.

Он знал, что дело подходит к концу. Один мотор подбит, пулемет тоже, рация не работает, и нет никакой возможности вызвать подмогу. Остается одно: в ахтерпике<sup>1</sup> среди ящиков с боезапасом лежат подрывные шашки и бикфордов шнур, припасенные на тот случай, если наступит безвыходный, критический час. Такой час наступил.

— Разрешите заложить шашки, товарищ старший лейтенант? — деловито, как о чем-то само собой разумеющемся, спросил Дронов.

— Делайте! — отрывисто сказал Шатилов.

Дронов сбежал в ахтерпик, нащупал два тяжелых кубика подрывных шашек, лакированные мотки бикфордова шнура. Присоединив концы шнура к шашкам, уложил одну между бензобаками, с другой поднялся на верхнюю палубу.

---

<sup>1</sup> Ахтерпик — помещение в трюме корабля.

Враг был уже совсем близко, меньше чем в полумиле взлетал и опускался его острый форштевень.

Дронов шагнул в рубку. Командир не отпускал штурвала, но сильно сгорбился и отяжелел. Лево́й рукой он обхватил плечо Андреева, поддерживающего его сбоку.

— Дым у тебя есть еще, товарищ Дронов?

Зачем дым, когда ход потерян, стрелять нельзя, а фашист сидит почти на корме?

— На одну короткую завесу хватит...

Дронов недоуменно взглянул на командира. Старший лейтенант молчал, словно забыв о своем вопросе. Неподвижно, уронив голову на грудь, лежал у переборки Демин.

Некогда раздумывать! Пригнувшись, Дронов вошел в моторный отсек.

Здесь по-прежнему мерно и яростно гудел уцелевший мотор. В дурманящем, остром тумане паров бензина стояли потные мотористы. Весь поход провели они здесь, ни один ни разу не вышел на верхнюю палубу. Когда Дронов подложил шашку под второй выбывший из строя мотор и стал разматывать шнур, краснофлотец Бегимов взглянул ему прямо в глаза.

— Подрывать будем, товарищ старшина? Значит, здорово нас подперло?

— Хуже смерти, друзья, ничего не будет,—пробормотал Дронов,— а в плен советский моряк не сдается! Пока шуруйте на полный! Предупрежу, если запаливать будем...

Разматывая шнур, он вернулся в рубку.

Шатилов по-прежнему стоял у штурвала, Андреев бережно поддерживал его. Над катером проносились трассы вражеских бронебойных пуль.

— А ведь это они нарочно в воздух палят, не просто так мажут,— сказал старший лейтенант.— Сдаться нам предлагают, эрзацы ихние покушать.

— Такая жизнь не про нас, товарищ командир,— хрипло рассмеялся Андреев

— Прикажете поджечь шнур? — спросил Дронов.

— Торопитесь умереть, старшина? — усмехнулся Шатилов.— А мы вот не спешим. Сами отстрелялись, а товарищу не хотите дать попробовать? Мишукова-то пулемет забыли? Нет уж, если лететь на воздух, так не одним! Возьмем их на таран, Андреев?

— Очень свободно, что и возьмем,— прогудел Андреев.— На контракурсах, да с полного хода...

— Дым! — приказал Шатилов.

Дронов бросился на корму. Повернул вентиль до отказа — и жерло распылительной трубы выбросило последнюю бело-мраморную струю. Враг исчез в молочном дыму. Корабль круто ложился на обратный курс.

— Ход у нас еще совсем неплохой,— донесся из рубки голос Андреева.

Держась за поручень, Дронов смотрел вперед.

Совсем близко, сквозь тающую завесу, вновь появился силуэт вражеского корабля. Даже черный фашистский флаг почудился Дронову над его палубой. И, словно обрадованный, захлопал, загрохотал бездействовавший все время пулемет Мишукова. Припав к прицелу, Мишуков бил длинными очередями по вражеской рубке.

Командир уже не опирался на Андреева. Сжав штурвал обеими руками, он вел катер так, чтобы подставить под обстрел самую малую площадь.

Корабли стремительно шли на сближение. И фашист не выдержал, круто сменил курс. В расчеты врага не входило взлететь в воздух вместе с русскими, казалось не имевшими уже шансов на спасение и все же не спустившими флаг.

Отворачивая от тарана, фашистский корабль не мог не замедлить ход и открыл весь свой борт. Вражеские комендоры поспешно поворачивали стволы крупнокалиберных пулеметов, и в это мгновение блеснуло высокое разноцветное пламя, грохот пролетел над волнами. Там, где только что были враги, вздымалось плотное, рваное облако дыма Бро-



небойно-зажигательная очередь из пулемета Мишукова взорвала боезапас врага...

А немного спустя на горизонте возник второй наш катер — тоже пострадавший в бою, отставший от ведущего и все-таки мчащийся на помощь товарищам...

Вокруг были волны, и скалы, и низкое, снеговое небо.

Старшина видел, как помертвели от потери крови губы Шатилова, как глубоко запали воспаленные бессонницей и водяной пылью глаза. Но в эти мгновенья победы командир как будто забыл и холод и боль. Вытянувшись, он твердо стоял у штурвала своего боевого корабля.





**Леонид Первомайский**

## **ПЫЛАЮЩАЯ ДУША**

Капитан Сергей Илларионович Величко вернулся в свою бригаду в полдень 4 июля 1943 года. Около года он пробыл в тыловом госпитале, и мало кто из друзей надеялся с ним когда-нибудь свидеться. Величко был отправлен в госпиталь в состоянии, оставлявшем мало надежды на выздоровление. Ожидали, что в лучшем случае он останется инвалидом, однако в бригаду вернулся вполне здоровый, даже несколько располневший человек. Величко был назначен командиром батальона тяжелых танков и сразу же принял свой батальон.

---

Рассказ печатается с сокращениями.

На фронте царило полное затишье, но танки, как полагаются, стояли в укрытиях в полной боевой готовности, а их экипажи в ожидании своего часа усердно проходили ежедневные учения.

День ушел на знакомство с людьми и осмотр материальной части, а вечером в блиндаже капитана собрались старые друзья.

О многом говорили в блиндаже, много воспоминаний разбудила встреча. Пожилой начальник штаба сказал задумчиво, как бы прислушиваясь к своим словам:

— О тебе, Сергей Илларионович, мы столько тут рассказывали за этот год и своим людям, и гостям, и газетчикам, что стал ты в некотором смысле личностью легендарной...

Капитан помрачнел и сказал неохотно:

— Зря, я ведь и повоевать не успел... и героем не был. Попал бы ты в мою шкуру, о тебе то же самое говорили бы.

Гости разошлись. Капитану Величко плохо спалось на новом месте. Он несколько раз выходил из блиндажа покурить, а когда уснул наконец, то, как ему показалось, сразу же проснулся... Еще не открывая глаз, он понял, что произошло. Блиндаж трясся, и сухая кора падала с бревен перекрытия на постель. Он натянул на ноги сапоги, накинул шинель на плечи и вышел.

Ночное небо на юго-западе освещалось вспышками, догонявшими одна другую и сливавшимися в одно сплошное жуткое мерцание. Земля содрогалась, глухо стонала и вздыхала, как будто она была большим живым существом, мучительно переживавшим боль сыпавшихся на нее ударов.

— Видать, началось, товарищ капитан? — сказал автоматчик, стоявший у блиндажа. Его молодое лицо в темноте казалось старым и серым, а голос прозвучал неуверенно и рсбко.

— Не трусь, — ответил Величко. — Давай-ка воды, будем умываться...

Автоматчик нырнул куда-то в темноту и вернулся с ведром воды.

Величко фыркал и ухал, вода была холодная, ключевая, а молодой боец, глядя на его тело, светящееся в темноте молочной белизной, говорил будто сам с собою:

— Слышать, немец на нас «тигров» пустит?

— Лей сюда! — прикрикнул Величко, отводя руку за спину и хлопая себя тыльной стороной ладони по хребту. — А мы сами чем не медведи? Вода еще есть?.. Нету, и шут с ней...

Он долго растирал тело шерстяной рукавицей, бормотал что-то, подшивая свежий воротничок к гимнастерке, насвистывал любимую песню и, когда его вызвали к командиру бригады, был уже одет и гладко выбрит.

Полчаса спустя капитан Величко садился в свой командирский танк. Он был уже полон того напряжения, какое обычно появляется у людей перед боем, хотя знал, что должно пройти еще много времени, прежде чем его батальон встретится с врагом.

Танки шли по дороге, растянувшись колонной. Он стоял, высунувшись по грудь из башни, и наблюдал за дорогой, за движением, за воздухом... Кусты, поля, деревни в предрассветной дымке кружились и летели вспять по сторонам дороги. Жизнь мчалась, как стремительная река, и жаркий поток ее нес его с собой.

...Было на Днепровском правобережье местечко Млиев, известное садоводам всего мира. Величко вспоминал о Млиеве в прошедшем времени, потому что сам был свидетелем его разрушения и гибели. До войны он работал в садах Млиевской опытной станции. Знойная тишина украинской осени приносила плоды, которые были настолько же делом природы, насколько творением молодого садовода. У Величко была жена, ее звали Лизой, и шестилетний сын Сережа.

Летом первого года войны танковая часть, в которой Сергей Величко служил командиром взвода, отходила на

восток. Кривая сабля Днепра должна была преградить дорогу врагу. На подступах к реке шли ожесточенные сражения, и судьбе было угодно, чтобы Сергей Величко, садовод, вел бой с немецкими танками у развалин горящего Млиева, среди отягощенных обильным урожаем своих садов.

Пламя ночного пожара освещало танки, стоявшие под деревьями. Танкисты, не выходя из машин, срывали ранние яблоки, но, кажется, никто не знал, что среди них находится человек, трудившийся в этих садах, творец этих крупных сочных плодов, свежестью своей пробуждающих воспоминания о детстве.

Сергей Величко сидел на броне своего танка. Обстановка не позволяла ему отлучиться, хотя в двух-трех километрах его дом. Тяжелые мысли одолевали танкиста в ту ночь. За ним были его сады, жена, чье ласковое имя будило в нем печаль и тревогу, сын, вихрастый шалун и непоседа. Впереди, освещенные отблесками пожара, лежали большие участки саженцев выращенных им сортов яблонь. Перенесенные в колхозные усадьбы, через несколько лет они стали бы плодоносить.

Сергей Величко в ту ночь понял, что немецкое нашествие не только уничтожает уже совершенный труд народа, но угрожает уничтожением всему, что народ и каждый человек могут совершить в будущем.

На рассвете немецкие танки возобновили атаку. Они выползли из-за холмов на участки саженцев. Тоненькие молодые деревца гибли под гусеницами, оставались лежать в колее, напоминавшей бесконечный складень, вдавленные в землю, как будто препарированные для гербария.

Величко ничего не видел перед собой. Он стал протирать триплекс рукавом гимнастерки, но лучше ему было бы вытереть слезы, застилавшие глаза. Танкисты встретили немецкие машины огнем. Грохот боя разбудил охваченного смертной тоской вчерашнего садовода. Он взял себя в руки вовремя — снарядом заклинило башню его танка, пушка

вышла из строя, а немцы были уже совсем близко от их за-  
сады. Сергей Величко приказал механику-водителю пускать  
мотор. Он еще не знал, что пойдет на таран, за него действо-  
вали сложные человеческие чувства, из которых он громче  
других слышал одно... ему на мгновение показалось, что  
ослепительно отполированная гусеница немецкого танка,  
который двигался навстречу ему через сажены, подминает  
под себя не молоденькое, едва развившееся деревце, а что  
это хрупкое тельце его Сережи хрустнуло в страшной тиши-  
не, внезапно наступившей в мире.

— Газу! — закричал он механику-водителю. — Давай га-  
зу, сержант!

С этого времени Сергей Величко стал настоящим сол-  
датом.

Он был весел, пел песни, никогда ни с кем не говорил  
о семье. Отходя на новый рубеж, он остановил свой танк  
у полуразрушенного дома. Стекла были выбиты, потолок  
упал. Кусок еще горячего железа лежал в кровати сына.  
Он снял со стены карточку, на которой Сережа был снят  
вместе с Лизой, и прикрепил ее перед собой в танке.

О чем было толковать? Теперь он жил только войной.  
Он жил в ней спокойно и уверенно, слеза — даже слеза яр-  
ости — не застилала больше его глаз. Иногда только на при-  
вале в придорожной деревеньке он подолгу мог стоять у ка-  
кой-нибудь захудалой яблоньки, трогать ее ветки почти не-  
слышными прикосновениями пальцев, снимать с листьев ка-  
ких-то жучков и долго рассматривать их, держа на ладони.

Он был уже лучшим командиром роты в бригаде, когда  
в жестоком бою на Дону летом незабываемого сорок второго  
года немцы подбили его танк. Ночь спустилась мгновенно  
и укутала мягкой мглой холмы. Величко рассчитывал в  
темноте исправить гусеницу и пробиться с машиной к своим.  
Танк стоял на высотке, тут же, где его настиг снаряд. Нем-  
цы ползли на высотку, осыпая танкистов горячим ливнем  
свинца и забрасывая гранатами. Величко со своим экипа-

жем закрылся в танке. К рассвету боеприпасы были израсходованы. Немцы стучали прикладами в броню и кричали: «Сдавайся, рус!» Сергей Величко радировал: «Всем, всем! Танк окружен. Отбиваться нечем. Умираем, но не сдаемся!» Затем он перечислил имена танкистов, бывших с ним в машине, и затынул свою любимую песню.

Когда утром наши войска отбили гряду придонских холмов, из танка вытащили мертвых бойцов и чудом уцелевшего Сергея Величко. В госпитале танкиста, как говорят на войне, заново сшили из лоскутков. Врачи бились над ним около года. Когда Величко выписался из госпиталя, он был совершенно здоров, только шрамы от многочисленных ранений свидетельствовали о том, что перенес этот могучий человек. Что сыграло решающую роль в победе над смертью — искусство врачей или воля к жизни, не побежденная страданием, — сказать трудно. Еще в госпитале, задолго до полного выздоровления, Величко начал заново учиться. Война требовала знаний, и, хотя это были не совсем привычные для бывшего садовода знания, он овладевал ими с помощью книг и опытных командиров, которые находились вместе с ним на излечении.

...Дорога окончилась. Танки остановились в небольшой рощице. Воспоминания улетели, улеглись на дне души, как улеглась пыль, поднятая на дороге танками. Жизнь была неотложным делом.

У капитана Величко на руках было много машин и живых людей.

Дыхание боя чувствовалось здесь уже совсем близко. Над горизонтом вздымались черные фонтаны земли, смешанной с клубами дыма разных оттенков, от темно-лилового до светло-серого и даже розового и голубого. Над рощей все время кружили самолеты. С одной стороны, у горизонта, наши самолеты штурмовали колонны немецких наступающих танков; с другой — немецкие бомбардировщики пытались смять наш передний край; в центре небосвода, оглу-

шительно воя на крутых виражах, наши истребители вели бой с «мессершмиттами»; немецкие летчики опускались на парашютах, их игрушечные фигурки нелепо болтали ногами и были похожи на картонных паяцев,двигающихся по нитке; сторонкой, ныряя в ослепительно белых кучевых облаках, пробирались через линию фронта в ту и другую сторону звенья тяжело груженных бомбардировщиков, непрерывно били зенитки, трещали счетверенные пулеметы, раздавалось звонкое тьяканье нацеленных по самолетам противотанковых ружей... Мимо рощи, по дороге в тыл, шли легко раненные, этот вернейший барометр боя. Они отмахивались от расспросов о ранениях, зато охотно рассказывали о том, что происходит на переднем крае. Они совсем не были похожи на тревожных раненых первого года войны. Танков они не боялись, об окружении говорили презрительно — они сами этой зимой окружали немцев. Новый немецкий танк, именуемый «тигром», они называли «лампой на колесах», потому что он горел не хуже других немецких танков.

— Вы не сомневайтесь, товарищ капитан, — весело улыбаясь, рассказывал пожилой усатый гвардеец, раненный в правую руку выше локтя, — горят, как проклятые... И от бронебойки горят, и от снаряда горят, а бутылкою подпалишь — тоже горят... Аж чад стоит!

— Только много еще у немца танков, и авиация дуже бомбит, — прощаясь, сказали раненые.

Но капитан Величко и сам отлично знал об этом.

Его не смущало большое количество танков и то, что авиация «дуже бомбит», потому что из слов раненых и по самому виду их он почувствовал, что перед ним только что прошли бойцы новой, родившейся в жесточайших испытаниях армии, люди нового закала, веселые, задорные, презирающие смерть и уверенные в победе солдаты пятого и ю ля сорок третьего года.

Весь день и часть следующей ночи батальон стоял в роще. Боевой приказ был получен за полночь.



Предстояло контратаковать немцев и выбить их из деревеньки, рассыпавшейся по косогору в нескольких километрах от шоссе.

Сама по себе деревенька не имела никакого значения. Было в ней не больше двадцати дворов, и жители ушли из нее, как только поблизости начались бои. Но то, что она была ближе к шоссе, чем все другие деревеньки, захваченные немцами, делало ее сейчас особо важной.

Чем ближе подходил час, назначенный командованием для штурма немецких позиций у деревеньки, тем спокойнее становился капитан. Он присматривался к лицам своих танкистов, прислушивался к их разговорам, и постепенно им овладевало убеждение, что эти люди, которых он знал всего лишь один день, мыслят и чувствуют точно так же, как он, что каждый из них — командиры рот и взводов, водители и башенные стрелки и все другие, — понимает свою задачу как самую главную, как бы узка и маловажна на первый взгляд она ни была.

В назначенное время, когда танки пошли в атаку, капитан Величко не сомневался в победе, как, впрочем, не сомневался он в ней никогда. Но, в отличие от прошлых боев, когда он верил в победу, сегодня капитан Сергей Величко твердо знал, что победа будет, потому что ей невозможно не быть, коль скоро родилась и созрела для победы такая армия, какую он узнал и почувствовал перед нынешним сражением.

После артиллерийской подготовки танки капитана Величко прошли через боевые порядки нашей пехоты и ринулись на штурм немецких позиций. Пехота вышла из окопов и пошла за танками под страшным огнем немецких пушек и минометов, под ливнем пуль, под жестокими ударами с земли и с воздуха.

Были минуты, когда солнце, уже высоко поднявшееся в небо, окутывалось мглой, будто в неурочный час на землю возвращались сумерки, но ветер разгонял пелену туч, и

солнце, словно и оно участвовало в битве, яростно ослепляло немецких артиллеристов, как будто хотело выжечь их оловянные глаза.

Да, в это утро, несмотря на огонь немецких пушек, несмотря на то что навстречу нашим танкам вышли немецкие «тигры», победа шла в наших рядах, и жаркий ветер боя развеивал ее огненные волосы... Капитан Величко, выглянув из танка, почувствовал у своего лица дыхание победы, он увидел, как из-за холмов в деревеньку врывается рота танков, которую он послал в обход.

— Газу! — крикнул капитан Величко, снова ныряя в машину. — Давай газу, сержант!

В это мгновение снаряд угодил в гусеницу танка, танк развернуло на ходу, поставило боком к немцам, и второй снаряд разорвался в его бензобаках. Пламя вспыхнуло, как шаровая молния. Горящие танкисты один за другим выпрыгнули из машины. Чувствуя, что сейчас начнут взрываться снаряды в танке, Величко лег на землю и сразу же услышал грохот и треск над головой. Поднявшись с земли, он увидел, что пехота, шедшая за танками, лежит на земле, так как не только его танк, но и несколько других стоят, подбитые немецкими снарядами... Победа ускользала. До деревеньки было не больше трехсот метров. Нужен был последний бросок, чтобы завершить исход боя...

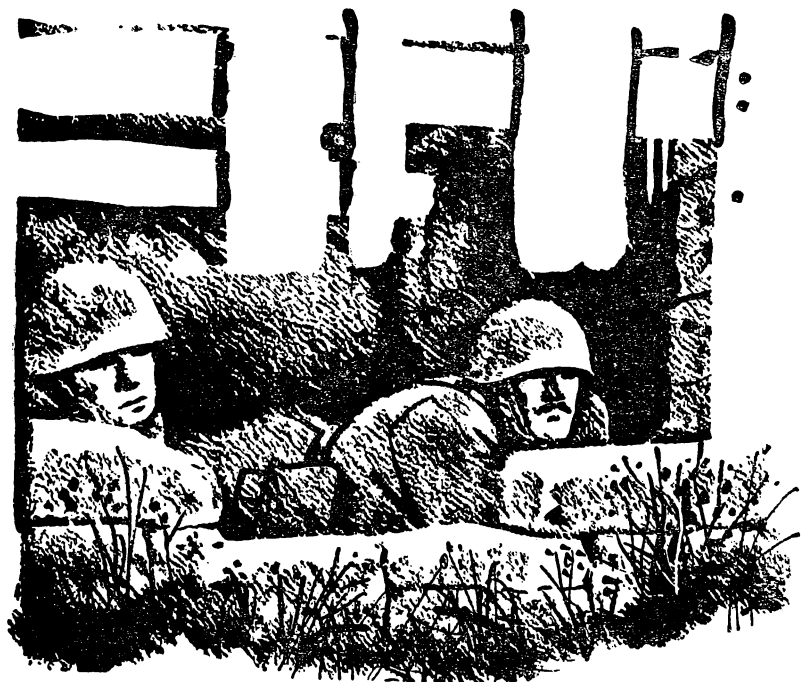
Пехотинцы, лежавшие за танками, увидели вдруг, как с земли поднялся горящий человек, повернулся к ним лицом и, подняв над головой автомат, прокричал что-то. Они не сразу поняли, что кричит горящий человек, но зато они увидели, как он повернул в сторону немцев и двинулся вперед, весь охваченный пламенем.

Бой как бы затих в это мгновение, которому суждено было стать решающим мгновением дня. Сотни глаз, смотревших на горящего танкиста, словно зажглись от его пламени; люди легко отрывались от земли, танкисты выпрыгивали из подбитых танков и, охваченные восторгом и яр-

стью, под железным ливнем бежали вперед и вперед, словно пылающая душа штурма встала в строй и вела их по полю, вспаханному железными лемехами войны...

Деревенька была взята, потому что каждый выполнил свою задачу — маленькую задачу величайшей важности, верно понятую капитаном Величко и всеми, кто был в этом бою.





**Константин Симонов**

### **ПЕРЕД АТАКОЙ**

Уже много лет не запомнят в этих местах такой непогожей весны. С утра и до вечера небо одинаково серо, и мелкий холодный дождик все идет и идет, перемежаясь с мокрым снегом. С рассвета и до темноты не разберешь, какой час. Дорога то разливается в черные озера грязи, то идет между двумя высокими стенами побуревшего снега.

Младший лейтенант Василий Цыганов лежит на берегу взбухшего от весенней воды ручья перед большим селом,

название которого — Загребля — он узнал только сегодня и которое он забудет завтра, потому что сегодня село это должно быть взято и он пойдет дальше и будет завтра биться под другим таким же селом, названия которого он еще не знает.

Он лежит на полу в одной из пяти хаток, стоящих на этой стороне ручья, над самым берегом, перед разбитым мостом.

— Вася, а Вася, — говорит ему лежащий рядом с ним сержант Петренко. — Что ты молчишь, Вася?

Петренко когда-то учился вместе с Цыгановым в одной школе-семилетке в Харькове и, по редкой на войне случайности, оказался во взводе у своего старого знакомого. Несмотря на разницу в званиях, когда они наедине, Петренко называет приятеля по-прежнему Васей.

— Ну, что ты молчишь? — повторяет еще раз Петренко, которому не нравится, что вот уже полчаса, как Цыганов не сказал ни слова.

Петренко хочется поговорить, потому что немцы стреляют по хатам из минометов, а за разговором время идет незаметней.

Но Цыганов по-прежнему не отвечает. Он лежит молча, прислонившись к разбитой стене хаты, и смотрит в бинокль через пролом наружу, за ручей. Собственно говоря, место, где он лежит, уже нельзя назвать хатой, это только остов ее. Крыша сорвана снарядом, а стена наполовину проломлена, и дождь при порывах ветра мелкими каплями падает за шинель и за ворот.

— Ну, чего тебе? — наконец оторвавшись от бинокля, повертывает Цыганов лицо к Петренко. — Чего тебе?

— Что ты такой смурный сегодня? — говорит Петренко.

— Табаку нет.

И, считая вопрос исчерпанным, Цыганов снова начинает смотреть в бинокль.

На самом деле он сказал неправду. Молчаливость его сегодня не оттого, что нет табаку, хотя это тоже неприятно. Ему не хочется разговаривать оттого, что он вдруг полчаса назад вспомнил: сегодня день его рождения, ему исполнилось тридцать лет. И, вспомнив это, он вдруг вспомнил еще очень многое, о чем, может, было бы лучше и не вспоминать, особенно сейчас, когда через час, с темнотой, надо идти через ручей в атаку. И мало ли еще что может случиться!

Однако он, сердясь на себя, все-таки начинает вспоминать жену и сына Володьку и трехмесячное отсутствие писем...

Когда в августе они брали Харьков, их дивизия прошла на десять километров в стороне от города, и он видел город вдалеке, но зайти так и не смог и только потом, из писем, узнал, что жена и Володька живы. А какие они сейчас, как выглядят, даже трудно себе представить.

И когда он лишний раз сейчас думает о том, что три года их не видел, он вдруг вспоминает, что не только этот, но и прошлый и позапрошлый дни рождения исполнялись вот так же, на фронте. Он начинает вспоминать: где же его заставляли эти дни рождения?

Сорок второй год. В сорок втором году, в апреле, они стояли возле Гжатска, под Москвой, у деревни Петушки. И атаковали они ее не то восемь, не то девять раз. Он вспоминает Петушки и с сожалением человека, много с тех пор повидавшего, с полной ясностью представляет себе, что Петушки эти надо было брать вовсе не так, как их брали тогда. А надо было зайти километров на десять правей, за соседнюю деревню Прохоровку, и оттуда обойти немцев, и они сами бы из этих Петушков тогда посыпались. Как вот сегодня Загреблю будем брать, а не как тогда — все в лоб да в лоб.

Потом он начинает вспоминать сорок третий год. Где же он тогда был? Десятого его ранили, а потом? Да, верно,

тогда он был в медсанбате. Хотя ногу и сильно задело, он упросил, чтобы его оставили в медсанбате, чтобы не уезжать из части, а то в военкоматах ни черта не хотят слушать. Попадешь оттуда куда угодно, только не в свою часть. Да, он лежал тогда в медсанбате, и до передовой линии было всего семь километров. Тяжелые снаряды перелетали через голову. Километров пятьдесят за Курском. Год прошел. Тогда — за Курском, а теперь — за Ровно. И вдруг, вспоминая все эти названия — Петушки, Курск, Ровно, — он неожиданно для себя улыбается, и его угрюмое настроение исчезает.

«Много протопали, — думает он. — Конечно, все одинаково шли. Но, скажем, танкистам или артиллеристам, которые на механической тяге, так им не так заметно, а, скажем, артиллеристам, которые на конной тяге, тем уже заметней, как много прошли... А всего заметнее — пехоте».

Правда, раза три или четыре пришлось марши на машинах делать, подбрасывали. А то все ногами.

Он пытается восстановить в уме, какое большое это расстояние, и почему-то вспоминает угловой класс семилетки, где в простенке между окнами висела большая географическая карта. Он прикидывает в уме, сколько он мог пройти от Петушков и досюда. По карте получается тысячи две километров, не больше, а кажется, что десять. Да, пожалуй. По карте — мало, а от деревни до деревни — много.

Он поворачивается к Петренко и говорит вслух:

— Много...

— Что «много»? — спрашивает Петренко.

— Пршли много.

— Да, у меня со вчерашнего марша еще ноги ноют, — соглашается Петренко. — Больше тридцати километров прошли, а?

— Это еще не много... А вообще... Вот интересно — от Петушков...

— Какие Петушки?

— Есть такие Петушки... От Петушков досюда два года

иду. И, скажем, до Германии еще тоже долго идти будем, не один месяц. А вот война кончится, сел в поезд, раз — и готово, уже в Харькове. Ну, может быть, неделю в крайнем случае проедешь. Сюда больше двух лет, а обратно — неделю. Вот когда пехота поездит, — совсем размечтавшись, добавляет он. — Будут поезда ходить. И до того докатаемся, что лень будет даже пять километров пешком пройти. Идет, скажем, поезд, проезжает мимо деревни, в которой боец живет, он — раз, дернет «вестингауз», остановил поезд и слез.

— А кондуктор? — спрашивает Петренко.

— Кондуктор? А ничего. Нам тогда право будет дано, — продолжает фантазировать Цыганов, — по случаю наших больших трудов останавливать поезд каждому у своей деревни.

— Ну, нам-то прямо до Харькова, — рассудительно говорит Петренко.

— Нам-то? — переспрашивает Цыганов. — Нам с тобой пока прямо до Загребли. А там и до Харькова, — после паузы добавляет он.

Над их головами пролетают несколько мин и падают где-то позади, на поле.

— Должно быть, Железнов назад ползет, — повернувшись в ту сторону, говорит Цыганов.

— А ты его давно послал?

— Да уже часа два.

— С термосом?

— С термосом.

— Ох, горячего бы чего поесть! — мечтательно, как о чем-то почти недостижимом, говорит Петренко.

Цыганов опять смотрит в бинокль.

Петренко лежит рядом, поглядывает на него и пробует себе представить, о чем бы в этот момент мог думать Цыганов. Он беспокойный. Все, наверное, соображает, как через ручей лучше перебраться. Два часа все смотрит. Высказывая эту мысль вслух, слово «беспокойный» Петренко произ-



нес бы с некоторой досадой, однако именно об этом качестве Цыганова он думает с уважением.

Вот лежит рядом с ним Цыганов Вася, с которым они вместе учились до седьмого класса, когда он ушел из школы, а Цыганов остался учиться в восьмом... Лежит и смотрит в бинокль... И не школа это, а война, и не Харьков, а село где-то около границы. И уже не Вася это, а младший лейтенант Цыганов, командир взвода автоматчиков. Над верхней губой у него рыжеватые усы, которые придают ему солидный и даже пожилой вид: один полковник как-то спросил его, не участвовал ли он в той германской войне.

«Беспокойный,—про себя повторяет Петренко.—И сколько ему довелось всего испытать! Четыре ранения, три орденна и медаль... И уже, кажется, мог бы иногда себя беречь, когда есть возможность... По дороге к повозочному подсесть, проехать километров пять, чтобы хоть ноги не болели. Нет, топает впереди своих автоматчиков. И просыпается раньше всех, а засыпает неизвестно когда».

Петренко сам на фронте недавно, месяца три. И, когда он думает о том, что Цыганов воюет почти три года, и прикидывает это на себя, то Цыганов ему кажется героем. В самом деле — сколько уже воюет! И вот идет, идет своими ногами впереди батальона, первый в села входит...

Так думает он, глядя на Цыганова, а Цыганов, на время оторвавшись от бинокля, в свою очередь думает о Петренко. И мысли его совершенно противоположные петренковским.

«Черт ее знает! — думает он.— Что, если не подвезли в батальон кухню? Железнов термос пустой притащит. А этому вот подай горячего. Он и так выдержит, конечно, он терпеливый, но горяченького хочется. Три месяца всего воюет, трудно ему. Если бы, как я, три года, тогда бы ко всему привык, легче было бы. А то попал прямо в автоматчики да прямо в наступление. Трудно».

Он смотрит в бинокль и замечает легкое движение меж-

ду обломками большого сарая, стоящего на той стороне ручья, на краю деревни.

— Товарищ Петренко,— обращается он на «вы» к Петренко,— сползайте к Денисову, он там, у третьей хаты, в ямке лежит. Возьмите у него снайперскую винтовку и принесите мне.

Петренко уползает. Цыганов остается один. Он снова смотрит в бинокль и теперь думает только о немце, который ворочится в сарае. Надо его из винтовки щелкнуть, из автомата не стоит, спугнешь. А из винтовки сразу дать — и нет немца.

Правый берег высок и обрывист. «Если наступать, как тогда под Петушками, половину батальона уложить можно»,— думает Цыганов.

Он смотрит на часы. До наступления темноты осталось еще тридцать минут. Утром его к себе вызывал командир батальона капитан Морозов и объяснял задачу. И у него сейчас весело на душе, оттого что он знает, как все будет. Что в 20.30 одна рота обходным путем выйдет на дорогу за село, а он с шумом пойдет прямо — и тогда немцам капут со всех сторон.

Слева раздается подряд несколько автоматных очередей.

— Жмаченко бьет,— прислушиваясь, говорит он.— Правильно.

Он три часа тому назад приказал трем из своих автоматчиков через каждые десять—пятнадцать минут подавать немцам треску, чтобы они из-за излишней тишины не догадались, что их обходят.

Подумав о Жмаченко, Цыганов начинает по очереди вспоминать всех своих автоматчиков. И тех шестнадцать—живых, что сейчас лежат с ним вместе тут, на выселках, и ждут атаки, и других — тех, что выбыли из взвода: кто убит, кто ранен...

Много народу переменялось. Много... Он вспоминает рыжеусого немолодого Хромова, который когда-то соблазнил

его отпустить такие же усы, а потом в бою под Житомиром спас его, застрелив немца, а потом, под Новоград-Волыньским, погиб. Хоронили его зимой, но тоже шел дождь, и когда стали забрасывать могилу, то с лопат сыпалась грязь, и было как-то тяжело и обидно, что земля — такая грязная, мокрая — падает на знакомое лицо. Он спрыгнул в могилу и закрыл лицо Хромова пилоткой. Да. А теперь кажется, что это было давно. Потом еще шли, шли...

Стараясь не думать о тех, которых нет, он вспоминает живых, тех, что сейчас с ним. Железнов ушел с термосом в батальон. Этот — такой, в кровь разобьется: если в походной кухне есть хотя бы ложка горячей каши, так принесет. А Жмаченко ленивый. Идет на своих длинных ногах, ватник без пуговиц, только ремнем затянут. Как грязь на ложе автомата налипла, так и носит ее с собой, а когда окапываться приходится — другой за полчаса себе как следует выкопает, а он против всех только наполовину.

«Жмаченко, а Жмаченко, что ты своей жизни не жалеешь?»

«Та земля, товарищ лейтенант, дуже грязная».

«Будешь так рассуждать, убьют тебя из-за твоей лени».

«Та ни...»

И в самом деле: за два года во все атаки ходит, и ни разу не только не поцарапало, даже шинель не задело осколком.

После Жмаченко Цыганов вспоминает о Денисове, к которому он послал сейчас Петренко за снайперской винтовкой. Тот бережет оружие. И автомат и винтовку всегда при себе носит. Откуда она попала к нему — снайперская винтовка? Кто его знает. А следит хорошо. И сейчас небось пожалел, что винтовку требуют... Хотя лейтенант требует, а все же жалко отдавать. Хозяин...

Он вспоминает щуплого, рябоватого младшего сержанта по фамилии Коняга, на которого он на прошлой неделе раза три накричал: плетется всегда в хвосте, отстает. Тот только покорно вытягивался и молчал. А потом на пятый или шес-

той день, когда пришлось наконец стать в деревне на ночь, Цыганов, неожиданно зайдя в хату, где расположился Коныга, увидел, как тот, разувшись, закрыв глаза и тихонько вскрикивая от боли, отдирает от ног портянки. Ноги у него были распухшие и окровавленные, так что идти ему не было никакой возможности. Но он все-таки шел... И, когда Цыганов увидел, как он сдирает с ног портянки, и окликнул его, он вскочил и растерянно посмотрел на младшего лейтенанта, как будто был в чем-то виноват.

«Милый ты мой,— с неожиданной лаской сказал ему Цыганов,— чертушко, что же ты не сказал?»

Но Коныга, как обычно, стоял и молчал, и, только когда Цыганов приказал ему сесть и сел с ним рядом и обнял его одной рукой за плечо, Коныга объяснил, почему он не хотел говорить: тогда ему пришлось бы уйти на несколько дней в медсанбат, и потом, может быть, он обратно к своим не попал бы.

И Цыганов понял, что Коныга, человек от природы тихий, застенчивый и робкий, так привык к окружающим его товарищам, что расстаться с ними казалось ему более страшным, чем идти днем и ночью на своих распухших ногах. Он так и остался во взводе. Взводу сутки удалось передохнуть, и фельдшер помог Коныге.

Были во взводе и другие, самые разные люди. Цыганов у некоторых из них не успел подробно расспросить об их прошлой довоенной жизни, но ко всем им он уже присмотрелся и, шагая по дороге, иногда занимался тем, что представлял себе, кем бы они могли быть раньше, и бывал доволен, когда, спросив их, выяснял, что не ошибся в своих догадках.

— Товарищ лейтенант!

Последний месяц, с тех пор как его из старшины произвели в младшие лейтенанты, во взводе его называли просто «лейтенант», отчасти для краткости, отчасти, может быть, из бессознательного желания польстить.

— Товарищ лейтенант!

Цыганов не оборачивается. Он и так слышит по голосу, что это вернувшийся из батальона Железнов.

— Ну, что скажешь? Кухня приехала?

— Нет, товарищ лейтенант.

— Что же ты?.. А говорил — из-под земли достану.

— Ночью будет кухня, — отвечает Железнов, — так в батальоне сказали. Кухня вышла, но грязь сильная. Еще две лошади припрягли, так что ночью будет. Как село возьмем, прямо туда кашу привезут.

— Ночью — это хорошо, — говорит Цыганов. — А что сейчас нет — плохо.

— Зато подарочек вам принес.

— Что за подарочек? Фляжку, что ли, достал?

— Кабы фляжку! — прищелкивает языком Железнов при одной мысли о водке. — Подарочек от капитана. Сказал мне: «Вот отнеси».

Железнов снимает ушанку и достает из-за отворота ее маленький комочек бумаги. Цыганов с интересом следит за ним. В бумажку, оказывается, завернуты две маленькие латунные звездочки.

— Капитан для себя делал, ну и для вас приказал сделать.

Цыганов протягивает руку и, взяв звездочки на ладонь, смотрит на них. Ему приятно и внимание капитана, и то, что у него теперь есть звездочки, которые можно нацепить на погоны.

— А вот и погоны, — говорит Железнов. — Это уж лично я достал.

И он, вытащив из кармана, протягивает Цыганову пару новеньких красноармейских погон.

— Так это ж красноармейские. Полоски нет.

— А вы на них звездочки прицепите и носите, а полоски я вам прочертить могу.

К Цыганову подползает Петренко.

— Принес? — не отрывая глаз от бинокля, спрашивает Цыганов и, не поворачиваясь, берет из рук Петренко снайперскую винтовку.

Отложив в сторону бинокль, он широко, чтоб было удобнее, раскидывает ноги и, прочно вдавив в землю локти, ловит в телескопический прицел тот угол развалин сарая, где прячется замеченный им немец. Теперь остается только ждать. В развалинах не заметно никакого движения.

Цыганов терпеливо ждет, весь сосредоточившись на одной мысли о предстоящем выстреле. Дождь продолжает накрапывать, капли падают за воротник шинели, и Цыганов, не отрывая рук от винтовки, вертит головой. Наконец показывается голова немца. Цыганов нажимает спуск. Короткий стук выстрела — и голова немца там, в развалинах, исчезает. Хотя в этом нельзя убедиться сейчас, а потом, когда будет взято село, уже и не до того будет, но Цыганов определенно чувствует, что он попал.

Жалость к людям всегда жила в Цыганове, от природы добром человеке. Несмотря на привычку, он, не показывая этого внешне, до сих пор внутренне вздрагивает, видя наших убитых бойцов, и какая-то частица воспитанного с детства ужаса перед смертью оживает в нем. Но в каком бы жалком и растерзанном виде ни представляли его глазам немецкие мертвецы, он вполне и непритворно равнодушен к их смерти, они не вызывают у него другого чувства, кроме подсознательного желания посчитать, сколько их.

Цыганов, устало вздохнув, говорит вслух:

— И когда же они кончатся?

— Кто? — спрашивает Петренко.

— Немцы. Ты сиди тут, а я пойду, всех обойду и вернусь.

Взяв автомат, Цыганов выходит из хаты и, то перебегая, то переползая, по очереди заглядывает ко всем своим автоматчикам. Немецкие мины продолжают рваться по всему берегу, и сейчас, когда он не лежит за стенкой, а пере-

двигается по открытому мосту, поющий их свист становится не то что страшнее, а как-то заметнее.

Цыганов переползает от одного автоматчика к другому и в последний раз рукой показывает каждому те переходы через низину и ручей, которые он давно приглядел для атаки.

— А колы прямо, товарищ лейтенант,— спрашивает верный себе ленивый Жмаченко,— зачем идти наискоски, когда можно махнуть прямо?

— Дурья твоя голова,— говорит ему Цыганов.— Тут же берег отлогий, а там, вот видишь, гребешок, там, как на берег выскочил — сразу и мертвое пространство. Он тебя из-за гребешка достичь не сможет огнем.

— А колы прямо, так швидче,— внимательно выслушав Цыганова, говорит Жмаченко.

— В общем, все,— рассердившись и уже официально, на «вы», говорит Цыганов.— Делайте, товарищ Жмаченко, как вам приказано, и все. А вот, когда село возьмем, будете кашу кушать, тогда ее ложкой из котелка, як вам швидче, так и загребайте.

Цыганов заходит к Коняге. Тот лежит, укрывшись за земляной насыпью, насыпанной над глубоким погребом, подвернув ноги и положив рядом с собой автомат.

В дверях погреба, на предпоследней ступеньке, рядом с Конягой сидит старуха, повязанная черным платком. Видимо, у них шел разговор, прерванный появлением Цыганова. Рядом со старухой на земляной ступеньке стоит наполовину пустая кринка с молоком.

— Может, молочка попьете? — вместо приветствия обращается старуха к Цыганову.

— Попью,— говорит Цыганов и с удовольствием отпивает из кринки несколько больших глотков.— Спасибо, мамаша.

— Дай вам бог, на здоровьице.

— Что, одна тут осталась, мамаша?

— Нет, зачем одна. Все в погребе. Только старик корову в лес угнал. Вижу, хлопчик у вас лежит тут,— кивает она на Конягу,— такой тощенький да бледненький, вот молочка ему и принесла.— Она смотрит на Конягу с материнским сожалением.— Мои двое сынов тоже воюют, где они — кто их знает.

Цыганову хочется рассказать ей о Коняге, что этот худой маленький сержант — храбрый солдат и уже которые сутки идет, не жалуясь на боль в распухших ногах, и пять дней назад он застрелил двух немцев.

Но вместо этого Цыганов ободряюще похлопывает рукой по плечу Коняги и спрашивает его:

— Ну, как ноги, а?

И Коняга отвечает, как всегда:

— Ничего, подживают, товарищ лейтенант.

— В темноте главное друг друга не растерять,— говорит ему Цыганов.— Ты — крайний, ты за Жмаченко и за Денисовым следи. В какую сторону они, туда и ты, чтобы к селу вместе выйти.

— А мы уже тут с Денисовым сговорились,— отвечает Коняга,— вот через тот бродик и влево брать будем.

— Правильно,— говорит Цыганов,— вот именно, через бродик и влево, это вы правильно.

Ему хочется сказать Коняге что-нибудь твердое, успокоительное, что, мол, ночью будут они в селе и что все будет в порядке, все, наверное, живы будут, разве кого только ранят. Но ничего этого он не говорит. И кто его знает, может быть, вот этот Коняга, с которым он сейчас говорит, дойдет в своем солдатском пути только до этого села Загребля и никуда уж не пойдет дальше, а ляжет в землю под маленький безвестный холмик. На то и война.

Цыганов возвращается к себе. Уже почти совсем стемнело, и немцы, боясь темноты, все бросают по всему косогору мины. Цыганов смотрит на часы.

Если в последний момент не будет какой-нибудь пере-



мены, значит, до атаки осталось всего несколько минут. Но капитан Морозов, командир батальона, перемен не любит. Цыганов знает, что он и сам пошел с ротой в обход Загребли, и, должно быть, если на то есть хоть какая-нибудь возможность, сейчас Морозов, утопая в грязи, уже обошел село и даже перетащил туда, как и хотел, батальонные пушки.

Несколько минут... Мысль о предстоящей смертельной опасности овладевает Цыгановым. Сейчас мокрая земля, лежащая впереди, кажется особенно неудобной, и боязно расставаться даже с этой жалкой глиняной стенкой, за которой лежишь. Он представляет, как они побегут вперед к Загребле и как будет стрелять по ним немец, особенно вот из тех домов — на самой круче. Он представляет свист и шлепанье пуль и чей-то крик или стон, потому что непременно же будет кто-нибудь ранен в этой атаке. И неприятный холодок невольного страха проходит по его телу. Впервые за день ему кажется, что он озяб, сильно озяб. Он поеживается, расправляет плечи, одергивает на себе шинель и затягивает ремень на одну дырку потуже. И ему кажется, что уже не так холодно и страшно. Он упрямо старается подготовить себя к предстоящей трудной минуте, забыть о мокрой, грязной земле и о свисте пуль, о возможности смерти. Он заставляет себя думать о будущем, не о близком будущем, а о далеком, о городах, которые они еще будут брать, о границе, до которой они дойдут, и о том, что дальше будет, там, за границей. И, конечно, еще и о том, о чем думает каждый, кто воюет третий год, — о конце войны.

«А через Загреблю не перепрыгнешь, — думает Цыганов, — ее надо взять».

И от этой мысли ему, только что жаждавшему растянуть подлиннее оставшиеся до атаки минуты, хочется сократить их, начать сейчас же, сию секунду.

За селом, за полтора километра отсюда, вдруг разом раздается несколько пушечных выстрелов, и Цыганов узнает знакомый голос своих батальонных пушек. Потом сразу во-

круг всего села вспыхивает пулеметная трескотня, и снова стреляют пушки.

«Все-таки дотащили их! В последнюю минуту!» — с восхищением думает о капитане Морозове Цыганов.

Поднявшись во весь рост, закусив зубами свисток, Цыганов громко свистит и бежит вперед, по косогору, вперед, вниз, к броду через неизвестный ручей, за которым лежит знакомое ему еще только по названию село Загребля.

1944





**Вадим Кожевников**

### **НА БЕРЕГУ ЧЕРНОГО МОРЯ**

На каменном спуске сева­сто­поль­ско­го Приморского буль­ва­ра, у са­мо­го зе­ле­но­го моря, опу­стив в во­ду бо­сые на­тру­жен­ные, уста­вшие но­ги, си­дел за­пы­лен­ный боец. На ра­зост­лан­ной шинели его — ав­то­мат, пу­стые рас­стрелян­ные дис­ки. Трудно ска­зать, сколь­ко лет это­му сол­да­ту: брови его се­ды от пы­ли, ли­цо в мор­щинах.

Не­бо над го­ро­дом е­ще че­рно от не­рас­таяв­шей тучи ды­ма — ды­ха­ние не­дав­ней бит­вы. У при­чалов при­станей полу­

затопленные, пробитые снарядами суда, на которых враг искал спасения в море. Возле причалов лежат трупы немцев, и головы их в воде, и кажется, что они обезглавлены самой черноморской волной.

Но солдат не смотрит на изрешеченные посудины, не смотрит на вражеские трупы, взор его устремлен в море, словно что-то необыкновенное видит он в его глубине.

— Отдыхаете?

Боец повернулся и тихо сказал:

— Садитесь. Вот, знаете, о чем я сейчас думаю... Пришел я сейчас к самому краешку нашей земли. А позади меня — огромное пространство, и все это пространство я со своей ротой с боями прошел. И были у нас такие крайности в боях, я так полагал, что выше сделанного человеческим силам совершать больше невозможно. То, что Сталинград отбили, навсегда меркой солдатского духа будет. На всю историю оставит измерение. Я человек спокойный, воевал вдумчиво и с оглядкой, а вот на Сталинградском тракторном здании, вроде конторы было, так мы в нем с немцами дрались без календаря — то мы на верхнем этаже сутки, то они.

Только когда бои смолкли и наступила в городе тишина, вышли мы на вольный воздух, взглянули на разбитые камни города и вот вдруг эту тишину почувствовали. Только тогда дошло, что мы пережили, что сделали, против какой страшной силы выстояли. От тишины это до нас дошло.

Вот и сейчас от этой тишины я словно заново бой переживаю сегодняшней. Я вас, верно, разговором задерживаю, а рассказать хочется... Закурите трофейную. Верно, табак у них дрянь, копать во рту одна... Так если время вам позволяет, я еще доложу. Пришли мы к Сивашу. Это такое море, гнилое и ядовитое. Его вода, словно кислотой, обувь ест. Очень скверная, извините за грубое слово, вода. Не стынет она, как прочие воды, не мерзнет зимой, все без льда, ну яд, словом, и мороз не берет ее. По этой проклятой воде мы

вброд под огнем шли в атаку. Тело болело в холоде ну хуже, чем от ранения, а шли под огнем, и кто раненый был — тоже шел, знал: упадет — добьет вода, и только на берегу позволял себе упасть или помереть.

Столкнули мы немцев с небольшого кусочка земли, и прозвали ее все «малой землей».

А когда мы с «малой земли» на Крым ринулись, тут чего было — трудно описать. Какой-нибудь специальный человек — он бы выразил, а я не могу всего доложить. Одним словом, действовали с душой. А на душе одно было — уничтожить гадов, которые в Крыму, как гадюки под камнем, засели. Били в Джанкое, в Симферополе, в Бахчисарае и в прочих населенных пунктах. Но немец сберег себе последнюю точку — вот этот город, где каждый камень совестливый боец целовать готов, потому здесь каждый камень знаменитый.

Мы с ходу позиции заняли у подножия гор. Неловкая позиция. Немцы — на горах, горы эти пушками утыканы, камень весь изрыт, доты, дзоты, траншеи. Доты бетонные. Дзоты под навесными скалами. Траншеи в полный рост. Нам все это командир роты доложил, старший лейтенант Самошин, может, встречали, — три ордена. Спокойный человек, бесстрашный. Заявил он нам так: «Вот смотрите, товарищи бойцы, на то, что нам предстоит сделать. Горы эти, конечно, неприступные. А самая главная из них Сапун-гора, и взять ее — значит войти в Севастополь».

Мы, конечно, сталинградцы, но после Сиваша гордости у нас еще прибавилось. А тут, у гор, мы без задора глядели на крутые скалы и знали, что пройти по ним живому — все равно что сквозь чугунную струю, когда ее из летки выпускают. Знали, что восемь месяцев высоты эти держали наши люди дорогие, герои наши бессмертные. Ведь немец каждую щель, которую они нарыли, использовал да за два года еще строил, население наше сгонял и оставшуюся артиллерию на эти горы со всего Крыма натащил. И опять

же, ведь это горы! А мы все в степи дрались, на гладком пространстве. Скребло это все, честно скажу.

А надо командиру ответить. Встал Баранов. Есть такой у нас, очень аккуратный пулеметчик. Когда он тебя огнем прикрывает, идешь в атаку с полным спокойствием, словно отец за спиной стоит. Такое чувствовали все, когда Баранов у пулемета работал.

Выступил этот самый Баранов и сказал: «Я так думаю, товарищи. Те люди наши, которые до последней возможности своих сил Севастополь защищали, в мысли своей самой последней держали, что придут сюда несколько погодя снова советские люди, и такие придут, которые все могут. Они такую мысль держали, потому что они свой народ знали, потому что сами они были такими. Кто чего соображает — я за всех не знаю, но я человек русский. Вот гляжу всем в глаза, и вы мне все в глаза глядите, я сейчас клятву скажу перед теми, которых сейчас нет».

Тут все вскочили и начали говорить без записи. Просто как-то из сердца получилось. Знаете, такой момент был, сказал бы командир: «Вперед!» — пошли, куда хочешь пошли.

...И боец этот, сидевший у берега моря, зачерпнул горстью воду, солено-горькую воду, и отпил ее, не заметив, что она горько-соленая, помолчал, затягиваясь папиросой так, что огонь ее полз, шипя, словно по подрывному бикфордову шнуру, и потом вдруг окрепшим голосом продолжал:

— Назначили штурм. Вышли мы на исходные. Рань такая, туман, утро тихое. Солнце чуть еще где-то теплится, тишина, дышать бы только и дышать. Ждем сигнала. Кто автомат трогает, гранаты заряжает. Лица у всех такие, ну, одним словом, понимаете: не всем солнце-то сегодня в полном свете увидеть, а жить-то сейчас, понимаете, как хочется. Сейчас особенно охота жить, когда мы столько земли своей прошли, и чует весь праздник наш человек, чует всем сердцем, он ведь скоро придет — окончательный праздник.

А впереди Сапун-гора, и льдинка в сердце входит. Льдинка эта всегда перед атакой в сердце входит и дыхание теснит. И глядим мы в небо, где так хорошо, и вроде оно садом пахнет. Такая привычка у каждого — на небушко взглянуть, словно сладкой воды отпить, когда все в груди стесняет перед атакой.

И тут, понимаете, вдруг словно оно загудело, все небо: сначала так, исподволь, а потом все гуще, словно туча какая-то каменная по нему катилась. Сидим мы в окопах, знаете, такие удивленные и потом увидели, что это в небе так гудело. Я всякое видел, я в Сталинграде под немецкими самолетами, лицом в землю уткнувшись, по десять часов лежал. Я знаю, что такое самолеты. Но поймите, товарищ, это же наши самолеты шли, и столько, сколько я их видел, никогда не видел. Вот как с того времени встала черная туча дыма над немецкими укреплениями, так она еще, видите, до сего часа висит и все не расходитя. Это не бомбежка была, это что-то такое невообразимое! А самолеты все идут и идут, конвейером идут. А мы глядим, как на горе камень переворачивается, трескается, раскалывается в пыль, и давно эта самая льдинка холодная под сердцем растаяла, горит сердце, и нет больше терпения ждать.

Командир говорит: «Спокойнее, ребята. Придет время--пойдете» — и на часы, которые у него на руке, смотрит. А тут какие такие могут быть часы, когда вся душа горит. Сигнал был, но мы его не слышали, мы его почуяли, душой поняли и поднялись. Но не одни мы, дорогой товарищ, шли. Впереди нас каток катился, из огня каток. То артиллерия наша его выставила. Бежим, кричим и голоса своего не слышим. Осколки свистят, а мы на них внимания не держим, это же наш огонь, к нему жмемся, словно он и ранить не имеет права.

Первые траншеи бились долго. Гранатами мы бились. Пачку проволокой обвяжешь — и в блиндаж. Подносчики нам в мешках гранаты носили. Когда на вторые траншеи

пошли, немец весь оставшийся огонь из уцелевших дотов и дзотов на нас бросил. Но мы пушки с собой тянули, на руках в гору. Не знаю, может, четверку коней впрячь, и они бы через минуту из сил выбились, а мы от пушек руки не отрывали, откуда сила бралась! Если бы попросили просто так, для интереса, в другое время хоть метров на пятнадцать по такой крутизне орудие дотащить, прямо доложу: нет к этому человеческой возможности. А тут ведь подняли до самой высоты, вон они и сейчас стоят там. Из этих пушек мы прямой наводкой чуть не впритык к дзоту били, гасили гнезда. Били, как ломом.

Третья линия у самого гребня высоты была. Нам тогда казалось, что мы бежали к ней тоже полным ходом, но вот теперь, на отдохнувшую голову, скажу: ползли мы, а кто на четвереньках,— ведь гора эта тысяча сто метров высоты, и на каждом метре бой. Под конец одурел немец. Дымом все поднято было, и камни, которые наша артиллерия на вершине горы вверх подняла, казалось нам тогда, висели в небе и упасть не могли, их взрывами все время вверх подбрасывало, словно они не камни, а вроде кустов перекасти-поля (видели во время бурана в степи?).

Стал немец из окопов выскакивать, из дзотов, из каменных пещер, чтобы бежать. Но мы их достигали. Зубами прямо за камень хватались, на локтях ползли. Как вырвались на вершину Сапун-горы, не знаю.

Не знали мы, что такое произошло. Только увидели — внизу лежит небо чистое, а там, впереди, какой-то город красоты необыкновенной и море, как камень, зеленое. Не подумали мы, что это Севастополь, не решались так сразу подумать. Вот только после того, как флаги увидели на концах горы зазубренной, поняли, чего мы достигли. Эти флаги мы заранее на каждую роту подготовили и договорились: кто первый достигнет, тот на вершине горы имеет знаменитое право его поставить. И как увидели мы много флагов на гребне, поняли мы, что не одни мы, не одна наша рота,



а много таких, и что город этот — не просто так показалось, он и есть — Севастополь!

И побежали мы к городу.

Ну, там еще бои были. На Английском кладбище сражались. Серьезно пришлось. Остановились, чтобы уничтожить до конца. Когда окраины города достигли, тут опять немножко остановились. В домах там немцы нам стали под ногами путаться, но для нас в домах драться — это же наше старое занятие, сталинградское. Накидали мы, как полагается, гранат фрицам в форточку. Которых в переулках, на улицах застigli. Кто желал сдаться — тех миловали, они на колени становились и руки тянули. Очень противно на это глядеть, товарищ.

И когда потом стало вдруг нечего делать, оглянулись мы, и как-то нам всем чудно стало. Вроде как это мы и не мы, смотрим и даже радоваться не смеем.

Спрашивают: «Ты жив, Васильчиков?»

Это моя фамилия — Васильчиков, Алексей Леонидович.

«Вроде как да», — отвечаю, а до самого не доходит, что жив.

Стали город смотреть. И все не верится, что это Севастополь. Кто на исторические места пошел, чтобы убедиться, а я вот сюда, к морю, думал к самому краю подойти, чтобы фактически убедиться. Я эту мысль берег, когда еще на исходных стоял, думал: к самому морю подойду и ногами туда стану. Но вот ноги помыл и сейчас думаю с вами вслух.

Я, может, сейчас немного не при себе — после боя все-таки. Говорю вам и знаю, что каждому слову нужно совесть иметь, а я так без разбору и сыплю, хочу сдержаться и не могу, и, может, самое главное, что у меня вот тут, в сердце есть, я вам и не проговорил как следует. Но вы же сами горю видели, как наша сила истолкла ее всю в порошок. Ехали ведь через нее, по белой пыли у вас вижу, что ехали. Так объясните вы мне, — может, знаете, где есть еще такое мес-

то, которое вот эти солдаты — они сейчас по улицам ходят, все на Севастополь удивляются — пройти не смогут!

Я вам и свой и ихний путь объяснил. Есть у меня такая вера, что нет теперь такого места на немецкой земле, чтобы мы его насквозь пройти не могли! И решил я сейчас так: как то самое главное последнее место пройду, сяду на самом последнем краю, все перечту, все припомню, где прошел, как прошел...

Васильчиков помолчал, снова закурил, поглядел на море, потом вытер полый шинели ноги, обулся, встал, поправил на плече ремень автомата и вдруг застенчиво попросил:

— Только вы про меня чего-нибудь особенного не подумайте, я же даже не в первых рядах шел, только иногда выскакивал, вы бы других послушали, настоящих ребят, есть у нас такие, только разве они будут рассказывать! Это я так вот тут для разговора на ветерке посидел, ну вот, значит, и отдохнул. Счастливо оставаться!

Попрощавшись, Васильчиков поднялся по нагретому солнцем камню набережной и скоро скрылся из глаз в гуще идущих по севастопольской улице таких же, как он, опаленных, покрытых пылью бойцов.

1944





**Константин Паустовский**

### **СТЕКЛЯННЫЕ БУСЫ**

На рассвете всюду в избах одно и то же — и у нас, под Костромой, и на Украине, и в гуцульской деревушке у подножия Карпат. Пахнет кисловатым хлебом, вздыхает старик, бормочут в сених сонные куры, торопливо тикают ходики.

Потом за окнами воздух начинает синеть, и по тому, как запотевают стекла, догадываешься, что во дворе, должно

быть, весенний заморозок, ясность, роса на траве. Постепенно начинаешь различать черное распятое над дверью, баранью безрукавку на табурете, прикрытую выгоревшей фетровой шляпой, и вспоминаешь: да ведь это совсем не под Костромой, а на самой западной нашей границе, в Гуцулии. И синие глухие тучи, проступающие за оконцем, вовсе не тучи, а Карпатские горы. Далеко в горах, за лесом, за туманом, гремит протяжный пушечный выстрел. Начинается боевой день.

Выходишь умыться во двор. От холодной воды сразу исчезает ночная путаница в голове, и с ясностью вспоминаешь все, весь вчерашний день.

На поляне перед домом столько ромашки, что бойцы стесняются ходить по поляне, а обходят ее стороной. Среди поляны цветет одинокий куст шиповника. В утренней прохладе он пахнет сильнее, чем днем. Солнце еще за горами, но верхушки лесов на западных склонах уже зажигаются ржавчиной от его первых лучей.

В избе живет дед Игнат со своей внучкой Ганей. Дед очень стар и болен. Он бывший дровосек. Вот уже год, как дед не может удержать в руке тяжелый топор. «Слава богу,— говорит дед,— что достало у меня силы перекреститься, как увидел я русские пушки». До церкви и то деду дойти трудно. Его туда отводит Ганя.

Дед становится на колени перед алтарем, убранным голубыми бумажными цветами, его седые косматые волосы вздрагивают на голове, и он шепчет слова благодарности за хлеб, за то, что освободилась его «краина» от проклятых пвабов и довелось ему, старому, увидеть еще одну весну в родной стране.

Страна эта прекрасна. Она закутана в светлый туман. Кажется, что этот туман возникает над ее мягкими холмами от дыхания первых трав, цветов и листьев, от распаханной земли и поднявшихся зеленей.

Маленькие радуги дрожат над шумящими мельнич-

ными колесами, брызжут водой на черные прибрежные ветлы.

Холмы сменяют друг друга, бегут от горизонта до горизонта. Они похожи на огромные волны из зелени и света. Небо такое чистое и плотное, что невольно хочется назвать его по-старинному — небосводом. Солнце отликает желтизной. И с каждым вздохом втягиваешь целебный настой из сосновой коры и снега, что еще не всюду растаял на вершинах гор.

Только вчера мы заняли эту деревушку. Жители еще спасались по лесам от немцев. В деревне никого не было, кроме детей, старух и дряхлых стариков. Немцы засели вблизи, за ущельем, над единственной горной дорогой. Нужен был проводник, чтобы подняться по кручам выше немцев на скалу, носящую название Чешске Лоно. Только оттуда, сверху, можно было выбить немцев и очистить дорогу.

Вместо проводника к лейтенанту привели десятилетнюю девочку. Она была в новых постолах, в длинной бордовой юбке с белой каймой, в желтой безрукавке со множеством перламутровых пуговиц и шелковом платке. Маленькая, празднично разодетая, она стояла, потупив глаза, и теребила край синего фартука.

— Неужели нет проводника постарше? — спросил озадаченный лейтенант.

Тогда старики, стоявшие рядом, переглянулись, сняли фетровые шляпы, почесали затылки и объяснили, что эта девочка — внучка знаменитого в их местах охотника и дровосека деда Игната и никто, к сожалению, лучше ее не знает дороги на Чешске Лоно. Знает, конечно, сам Игнат, но вот уже год, как он не ходит в горы — очень слаб.

Лейтенант с сомнением покачал головой.

— Доведешь, не заблудишься? — спросил он девочку.

— Ага! — ответила девочка и покраснела.

— Так, чтобы даже птица нас не заметила?

— Ага! — повторила девочка и покраснела сильнее.

— А ты не боишься? — строго спросил лейтенант.

Бойцы стояли вокруг, хмурились. Что это за провожатый! Несерьезный получается разговор.

Девочка не ответила. Она только подняла на лейтенанта большие серые глаза, улыбнулась и снова потупилась. Невольно улыбнулся и лейтенант. Заулыбались и бойцы. Никто не ожидал увидеть из-под темных ресниц этот счастливый и смущенный взгляд.

Все молчали. Только вихрастый мальчишка с бегающими глазами, высунувшись из-за плетня, сказал со страшной завистью: «Ух, Ганька!» Девочка насупилась. Бойцы оглянулись. Мальчишка спрятался. Старики качали головами: да, есть чему позавидовать, хлопчик. Действительно, есть чему позавидовать!

Девочка провела отряд на Чешске Лоно. Дорога была очищена от немцев. К вечеру девочка вернулась вместе с раненым бойцом Малеевым. Боец он был исправный, смелый, и никаких недостатков за ним не числилось, если не считать некоторой болтливости.

Вечером Малеев сидел около дома Игната на камне, пил молоко и, отставив забинтованную правую руку, беседовал со стариками. Старики слушали почтительно, ласково, но вряд ли что-нибудь понимали. Малеев был рязанский. Разговор у него с гуцулами получался не очень вразумительным.

— Ничего,—говорил Малеев,— наше начальство ее наградит. Беспрекословно! За шустрость и за смелость. За нами геройство не пропадет! Так что вы, граждане старики, в этом не сомневайтесь.

Старики улыбались, кивали головами.

— Начальство начальством,—говорил Малеев,— а вот бойцы больно девочке этой благодарны, не нахвалятся. И следовало бы ей от бойцов чего-нибудь преподнести за внимание. Только вот беда — не придумаешь чего. Сами

знаете, у бойца в мешке неприкосновенный запас, а в подсумке патроны. А ей, видишь ли, куклу нужно или что-нибудь в этом смысле.

Малеев, излагая эти обстоятельства из жизни бойцов, хитро подмигивал, поглядывал на смущенную девочку, позванивал чем-то у себя в кармане, но никто не понял его тонких намеков.

В кармане у Малеева были спрятаны стеклянные бусы. Их дал Малееву лейтенант и приказал наутро подарить Гане, но, по возможности, неожиданно. Не просто так, по-грубому, вынуть и сунуть в руку: «На, мол, получай!» — а с некоторой деликатностью и таинственностью.

Малеев хорошо понял задание и с радостью взялся его выполнить, хотя считал это дело трудным и щекотливым.

Старики в темноте разошлись. Запылали над Карпатами звезды, сильнее зашумели водопады. Из вечерних лесов запахло сыростью, дикими травами.

Дед Игнат, Малеев и Ганя долго еще сидели около дома. Малеев притих. Ганя робко спросила:

— А у вас за Москвою такие речки, как наши? Или другие другие?

— Другие, — ответил Малеев. — У вас хорошо, и у нас хорошо. Наши реки льются широкие, чистые, в цветах, в травах. Льются в далекие крымские моря. Плывут по тем рекам белые пароходы с красными шелковыми флагами, и горят-светятся по берегам бесчисленные наши города.

— И лес другой? — спросила Ганя.

— И лес другой, — сказал Малеев. — Грибной лес у нас. На тыщи километров. Разный бывает гриб: боровик, подберезовик, рыжик. Живет в наших лесах мудрая птица дятел. Каждое дерево клювом долбит, пробует. Какое дерево сухостойное или с гнильцой, делает на нем отметины для лесников: руби, мол, не сомневайся!

Малеев замолчал. Ганя его больше ни о чем не спрашивала. Тогда Малеев не выдержал.

— А что же ты про людей наших не спрашиваешь? — спросил он.— Какие они, наши люди?

— А людей я знаю,— ответила Ганя и улыбнулась.

— Вот правильно! — сказал Малеев.— Весело с тобой разговаривать.

Утром Малеев проснулся очень рано, вышел из дому, оглянулся, вытащил из кармана бусы, повесил их на плетень около дома, а сам спрятался за углом, стал ждать. Ганя пошла к речке за водой и на обратном пути должна была пройти около плетня. По расчетам Малеева, она должна была обязательно заметить бусы. Недаром Малеев долго дышал на них, тер о шинель. Бусы горели на солнце, как пригоршня алмазов!

На тропинке показалась Ганя. Малеев следил за ней, не спуская глаз.

Ганя увидела бусы, остановилась, заулыбалась, поставила на землю ведра, потом медленно пошла к плетню, несмело протянув к бусам худенькую руку.

Она подходила к плетню так осторожно, будто боялась спугнуть птицу.

Но вдруг она вскрикнула, схватилась за концы платка, повязанного на голове, и заплакала.

Малеев от удивления выскочил из-за угла и увидел вихрастого мальчишку. Он мчался вдоль плетня, зажав в руке блестящие бусы.

«Углядел!» — подумал Малеев и закричал страшным голосом:

— Брось! Тебе говорю, брось! Раскаешься!

Мальчишка оглянулся, швырнул бусы в траву и помчался еще быстрее.

Все случилось именно так, как не хотел лейтенант. Малеев подобрал бусы, подошел к плачущей Гане, сунул ей бусы в руку и, покраснев, пробормотал:

— Это тебе. Получай!

Вышло, конечно, грубо и без всякой таинственности, но



Ганя подняла на Малеева такие заплаканные и благодарные глаза, что Малеев отступил и мог только сказать:

— Начальство, конечно, своим порядком... А это от нас.

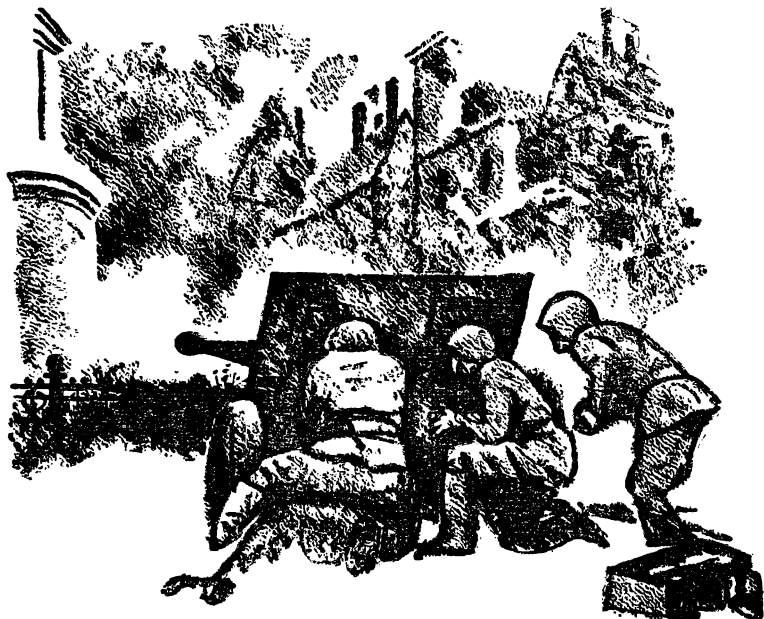
Дед Игнат стоял на пороге, усмехался. Когда Малеев и Ганя подошли, дед взял у Гани бусы, позвенел ими на солнце, надел их на Ганину шею и сказал:

— Монисто это краше золота. Эх, серденько мое, увидят твои ясные глаза счастье. С такими людьми — увидят!

Ганя поставила на траву ведра с водой и, потупившись, смотрела на бусы сияющими глазами. Вода качалась в ведрах, отражала солнце, светила снизу на бусы, и они горели на смуглой шее у девочки десятками маленьких огней.

1944





**Евгений Воробьев**

### **ОДНА МИНУТА**

Ветер совсем притих, и листья, похожие на хлопья желтого снега, падали бесшумно и неторопливо. Листья падали на землю, на лафет пушки, на каски и плечи артиллеристов, на скамью, стоящую поодаль.

Пушка Выборнова только недавно сменила огневую позицию и сейчас обосновалась в сквере, который вытянулся мыском у развилки двух улиц. Несколько тщедушных кленов, афишная тумба, скамья с изогнутой спинкой — вот и все достопримечательности сквера.

Выборнов воевал в этом немецком городке с рассвета.

Весь день пушка кочевала по городу, и весь день под ее колесами и под ногами артиллеристов хрустели черепица и битое стекло. С рассвета над городом висела красным облаком кирпичная пыль. Она оседала на лицах, противно скрипела на зубах. Шинели были присыпаны красным, как у каменщиков.

Расчет успел расправиться с пулеметом на шпилье ратуши, с пулеметом в слуховом окне дома на рыночной площади и с фашистами, которые отстреливались с горящего чердака.

В последней стычке был ранен командир расчета, исполнявший также обязанности наводчика, Семен Семенович Казначеев.

Сперва он не позволял себя увести и пытался стоять у прицела. Но скоро силы его оставили, он сник и уже не противился, когда товарищи понесли его.

Казначеев подозвал к себе Выборнова и сказал едва слышно:

— Так что ты теперь, Петро Иванович, больше не второй номер. За весь расчет хлопочи. Обуглись, а выстой!

Он беззвучно, как бы собираясь с силами, пошевелил губами и добавил:

— А меня пусть на родную землю отправят. Не хочу здесь ни лечиться, ни умирать.

— Как я теперь без вас, Семен Семенович? — спросил Выборнов растерянно.

Он так и не нашел, что еще сказать своему командиру, — ни слова в утешение, хотя бы в напутствие. Выборнов весь поглощен был тревожной мыслью о предстоящем бое, в котором ему придется быть старшим.

На батарее уже давно намеревались перевести Выборнова наводчиком в другой расчет, но Петр Иванович каждый раз отнекивался, находил отговорку.

Перед выходом на прусскую границу Казначеев опять затеял разговор на эту тему:

— А не пора тебе, Петр Иванович, в наводчики определиться? Наводку знаешь прилично. Или неохота?

— Нет, почему же? — замялся Выборнов.— Придется, если приказ выйдет. Хотя ответственное дело...

— Значит, весь век хочешь вторым номером называться?

— Не обязательно, чтобы меня Петром Ивановичем величали. Пусть второй номер! Меня пусть хоть горшком назовут, да только в печь не ставят.

Казначеев рассмеялся, махнул рукой и пошел по своим делам. Выборнов же принялся снова хлопотать у пушки, очень довольный тем, что остается в старой должности — замковым...

А сейчас ему все-таки пришлось взять на себя командование расчетом, и от одного сознания, что он отвечает за пушку, что ему доверили жизнь людей, на душе стало неспокойно. Случись все это в другое время—полбеде, но сегодня — первый бой на немецкой земле. Все вокруг чужое: и дома, и вывески, и фургоны со скарбом, брошенные на улицах, и подстриженные кусты в сквере, и само небо, затянутое дымом и жесткой неоппадающей пылью.

Эта вездесущая кирпичная пыль покрыла потные, закопченные лица артиллеристов и разукрасила их причудливыми красно-черными пятнами.

Однако никто этого не замечал, как не замечал усталости и голода... Они дадут о себе знать позже, когда спадет напряжение боя. А сейчас можно думать только о том, что с минуты на минуту из-за угла вот того левофлангового дома с островерхой крышей и маленькими, какими-то враждебными окнами выскочит танк и помчится прямо на пушку.

Выборнов обвел взглядом своих людей.

Подносчик Боконбаев был, как всегда, невозмутимо спокоен. Для удобства он установил ящики со снарядами на садовой скамейке.

Самойленок суетился больше, чем нужно, и без умолку говорил — горячность, еще не остуженная опытом.

Мельников, занявший место Выборнова, деловито подрывал для сошника землю, все время отирая пот с безбрового лица.

Выборнов еще подумал о выгодах своей позиции у развилки улиц и в тот же момент услышал нарастающее громыхание танка.

— По местам! — закричал он визгливо, чужим голосом, хотя понимал, что команда, в сущности, ни к чему, все и так наготове.

Выборнов узнал «пантеру» в профиль на повороте, когда та показалась из-за угла. Их разделял один квартал.

Он хотел сосредоточиться, но мысли путались, опережали одна другую, сбивались, и ему никак не удавалось заставить себя думать только о танке и считать метры, которые их разделяют.

Танк уже прошел мимо углового дома, миновал его низкие сводчатые ворота и какую-то лавчонку рядом с ними. Выборнов скосил глаза и увидел окурок, брошенный им и лежащий на желтых листьях, — вот бы сейчас затянуться! Пожалуй, покурить уже не придется, если не ударить сейчас прямо в башню, да так, чтобы без рикошета. Или попробовать сперва по лобовой броне? А если первым снарядом не пробьешь? Останется ли время на второй выстрел? Как поступил бы сейчас Казначеев? Наверно, он уже добрался до госпиталя. «Обуглись, а выстой!» А лечь в чужую землю кому же охота? Здесь и цветов на могилу никто не принесет... Такое несчастье с Казначеевым. Вот теперь он, Выборнов, замковый, должен отвечать за весь расчет. Знают ли товарищи, что их жизнь сейчас зависит от его спокойствия, от того, как он повернет пальцами левой руки механизм наводки? Одна минута, может быть, какая-нибудь доля минуты дана сейчас Выборнову. В этот маленький срок он должен вложить все свое умение, всю свою злость. Поз-

же они уже будут ни к чему. И, если он не выстоит сейчас, его вместе с товарищами похоронят в неудобной, чужой земле.

О многом можно успеть подумать и многое вспомнить в ничтожную долю минуты, за несколько секунд, необходимых танку, чтобы пройти на полном ходу мимо ворот и лавочки рядом с ними.

Выборнов произвел выстрел по башне, но снаряд только чиркнул по округлой броне и ушел рикошетом в сторону. Выборнов почувствовал, как за одно мгновение вымок весь — от затылка до пяток. Противный холодок пробежал по спине.

Но почему же фашисты не стреляют? Или просто хотят раздавить пушку и расчет?

Он не отрывал взгляда от танка, дрожавшего в перекрестии прицела. Танк шел, не сбавляя хода. Выборнов, не обращившись, отчетливо представил себе лица всех людей расчета.

У Самойленка дрожат губы. Как всегда, он шепчет себе под нос ругательства и горячится.

Боконбаев так спокоен, что со стороны может показаться беззаботным.

Лицо Мельникова сосредоточенно, у рта легли суровые складки. Он изо всех сил старается казаться спокойным. Лицо его покрыто кирпичной пылью, но Выборнов знает, что все оно в веснушках, даже на ушах веснушки.

Рядом с Мельниковым возникает почему-то лицо Леночки, будто она тоже номер расчета и хлопчет у пушки. Где она сейчас? На заводе? И в сознании мелькает картина его цеха.

Он работал мастером пролета поршневых колец. Несколько раз ему предлагали стать сменным мастером цеха, но каждый раз он находил повод, чтобы уклониться от повышения: все-таки ответственность, вдруг не справится?

Только бы ему вернуться в сборочный цех после войны!

Нет, он теперь не станет отказываться, сам попросится в сменные мастера и знает, что Георгий Михайлович поставит его на эту должность, не задумается.

Бег мыслей опережает отсчет секунд и метров. Танк поравнялся с третьим от угла домом, и тотчас же страшный удар потряс все вокруг.

Выборнова швырнуло на землю, он упал и, может быть, даже пролежал секунду в беспамятстве, но сразу же очнулся, открыл глаза и очень удивился, увидев над собой невидимое предзакатное небо.

Он поднялся на ноги и огляделся. Афишная тумба с обрывками почерневшей афиши покосилась, садовая скамейка расщеплена.

Боконбаев лежал на желтой листве, так и не выпустив из рук снаряда — подносчик прижал снаряд к груди в свою смертную минуту.

Самойленок закрывал замок пушки и при этом что-то кричал.

По щеке Мельникова стекала струйка крови, и казалось, что это алый ремешок, на котором держится каска.

Выборнов рванулся к прицелу и увидел, что тот разбит. Он не слышал ничего, кроме шума в ушах. Не слышал тяжелой поступи «пантеры», хотя она была уже так близка, что доносился ее горячий запах, душный и сладковатый запах отработанного газойля.

«Обуглись, а выстой!» — опять вспомнил Выборнов.

Он молниеносно навел пушку по стволу и выстрелил, целясь в башню.

Спустя мгновение Выборнов увидел, что танк стоит, упершись в стену дома, и дымится. Сослепу танк въехал на тротуар и проломил стену. Пробоина в башне не была видна, дым из нее валил, как из трубы.

Радист в танке был жив — по орудийному щиту нетерпеливо и зло простучали пули. Затем горящий фашист выскочил из переднего люка. Он еще успел пробежать в смерт-

ном отчаянии несколько шагов, но тут же, раскинув руки, упал навзничь на тротуар, на толченное стекло. Волосы его быстро сгорели, лицо почернело, короткая куртка с розовым кантом на погонах продолжала тлеть, в подсумке на поясе рвались патроны.

В танке что-то взрывалось, и он чадил черным дымом, затмившим полнеба.

Солнце только что скрылось за разбитой крышей, но пепельно-красное зарево заката еще не погасло. И дым, подсвеченный сзади, был зловещего багрового цвета.

С того момента, как из-за угла дома появился танк, прошло не больше одной минуты — как много и как мало!

Выборнов склонился над Боконбаевым, лежавшим на желтых листьях; но тотчас же услышал характерное громыхание гусениц по мостовой. Он вскочил и кинулся обратно к разбитому прицелу.

Второй танк выскочил из-за левофлангового дома на полном ходу, как и первый. Но Выборнов не ощутил былой неуверенности и острой тревоги.

За орудийным щитом стоял не второй номер, а командир расчета, полномостный и ответственный хозяин пушки и людей, с которыми он воевал вместе много месяцев, а сверх того — еще одну минуту.

1945







**Николай Богданов**

## **ДРУЖБА**

Дружба везде нужна, а на войне в особенности.

Дружили в одной пехотной роте радист Степан Кузнецов и пулеметчик Иргаш Джафаров.

Кузнецов был синеглазый, русоволосый, веселый паренек, родом рязанский; а Джафаров — казах, смуглый житель степей, всегда задумчивый и всё песни про себя напевал.

Кузнецову его песни нравились.

— Мотив хороший, грустный, за сердце трогает, а вот слов не понимаю, — говорил он. — Надо выучить.

И во время похода все учился казахскому языку.

И на марше, и на привале всегда дружки вместе, из одного котелка едят, одной шинелью укрываются. И перед сном всё шепчутся.

— Как по-вашему «родина»? — спрашивает один.

— Отаны, — отвечает другой.

— А как по-казахски «мать»?

— Ана.

— Отаны ана. Очень хорошо!

В конце концов Кузнецов стал понимать песни Джафарова и часто переводил их на русский язык.

Идут, бывало, под дождем. С неба льет, как будто оно прохудилось. Солдаты нахохлились, как воробьи. Вода за шиворот течет. Грязь непролазная, ноги от земли не отрвешь. А идти нужно: впереди бой.

Джафаров поет что-то, но никто внимания не обращает.

Тогда Кузнецов возьмет да повторит его напев по-русски:

Ой, за шиворот вода течет,  
Под дождем наш взвод идет...  
Зачем ходим, зачем мокнем,  
За все сразу с немца спросим!

— Правильно, во всем фашисты виноваты! Скорее дойдем — скорее расквитаемся!

Засмеются солдаты и зашагают веселей.

Дружба и сил прибавляет, и в бою выручает. Казалось бы, не она, пришлось бы друзьям погибнуть накануне самой победы.

Случилось это при штурме Берлина.

Рота захватила дом на перекрестке, закрывавший подход к рейхстагу, и тут попала в окружение. Кончились гранаты, на исходе патроны. Кузнецов запросил по радио подмогу, но вражеский радист напал на волну и подслушал.

Когда на помощь пехотинцам пытались прорваться наши танки, их в упор расстреляли два «тигра», спрятавшиеся в воротах дворов.

Танкисты едва спаслись, а танки горели среди улицы, как два дымных костра.

Что делать? Многие солдаты были ранены. Пулемет Джафарова разбит снарядом. Сам он с осколками в груди лежал на паркетном полу старинного дома, и его смуглое лицо, запорошенное известкой, казалось мертвым.

— Ты жив, Иргаш? — наклонился к нему Кузнецов.

Казах лишь чуть-чуть улыбнулся уголками губ.

— Ну, давай прощаемся, дружба... Вон фашисты на-капливаются, а нам и встретить их нечем.

— Подмогу зови. Танки зови. Пускай магазином идут, через витрину, как я сюда шел... Магазин большой, пол бетонный,— шептал Иргаш, как в бреду, по-казахски.

— Беда, брат: перехватывает мои слова фашистский радиоволк, хорошо знает по-русски.

— Зачем по-русски, говори по-казахски!

Услышав эти слова, Кузнецов стиснул руку Джафарову и прошептал:

— Это верно... Но кто же меня поймет? Только я да ты знаем в нашем полку по-казахски!

— Вызывай штаб, проси Узденова. Земляк мой Берген Узденов.

Джафаров смежил веки и умолк, обессилев от разговора.

Кузнецов припал к радию и, надев наушники, стал вызывать полк. Он вспомнил, что видел в штабе маленького смуглого танкиста в кожаном шлеме, прибывшего для связи из танковой части.

— Узденов, прошу к аппарату танкиста Узденова! — решительно потребовал Кузнецов, замирая от волнения.

Фашисты, почуяв, что рота ослабла, становились все наглее. Они строчили по дому из автоматов, швыряли гранаты, били по окнам ослепляющими фауст-патронами. И, крадучись вдоль стен, продвигались все ближе.

Наши отвечали редкими выстрелами, сберегая патроны для последней схватки.

— Я — Узденов, слушаю! — раздался в наушниках резковатый голос.

— Я — Кузнецов, друг Джафарова, — сказал в ответ Кузнецов по-казахски. — Слушайте меня, слушайте внимательно. К нам можно прорваться через универсальный магазин, прямо через витрину... там, где дамские наряды выставлены. Пол бетонный. Это напротив того места, где горят танки. Отвечайте по-казахски: нас подслушивают!

— Вижу горящие танки.

— Так вот, улицей не ходите: там в воротах «тигры». А прямо через магазин. Его задний фасад выходит на наш двор.

— Есть, сейчас будем на месте! — сказал Узденов.

Его мужественный голос еще звучал в ушах Кузнецова ободряющей музыкой, когда, взглянув в окно, он увидел в нем фашистов. Они лезли в дом со двора. Пробрались по канализационным трубам и теперь, серые, грязные, как крысы, карабкались в окна дома, срываясь с карнизов и подсаживая друг друга.

Не успев снять наушники, Кузнецов схватился за автомат, но выстрелов не последовало — патроны вышли все. Он хотел крикнуть товарищам, но все были заняты: отбивали атаку фашистов с улицы.

«Вот и смерть пришла!» — подумал Кузнецов. И такая его взяла досада, что схватил он свою походную радиостанцию, которую берег и лелеял всю войну, и обрушил ее на ненавистные каски со свастикой.

Но в это время над головой радиста взвизгнули пули, ударили в потолок, и его засыпало штукатуркой, словно он попал под пыльный душ. Все скрыло белой пеленой.

Это ворвался во двор советский танк и, поворачивая башню, стал сметать фашистских солдат с окон карнизов пулеметным огнем.

Появление его было для них полной неожиданностью. Фашистский радист долго ломал голову: на каком это шиф-

ре переговариваются русские радисты? Учен был, хитер немец, а казахского-то языка не знал. Все слышал, а ничего не понял и не успел предупредить своих, как в тыл им провалился наш грозный танк.

Опоздай он на минуту — погибли бы наши герои.

Это был командирский танк самого Узденова, других не было под рукой. Когда контратака была отбита и Кузнецов пришел в себя, он больше всего жалел, что сгоряча разбил свою радиостанцию о фашистские головы.

— Ничего, была бы своя голова цела. Рацию новую наживем, дружба, — утешил его Узденов и, деловито оглядываясь, тут же спросил: — Нет ли здесь местечка, откуда стрельнуть по рейхстагу?

...Джафарова удалось спасти, раны его оказались не смертельными. Кузнецов остался в Берлине, а Джафаров поехал домой, порядочно заштопанный докторами, но живой и веселый. И всю дорогу пел.

Интересная это была песня: слова казахские, а мотив рязанский.

Многим было любопытно, о чем поет в ней казах, но он не мог перевести точно и все ссылался на своего дружка Кузнецова, оставшегося на службе: вот тот бы точно перевел.

— Одним словом, про дружбу, хорошая песня!.. — говорил Иргаш и снова пел.





**Николай Богданов**

### **СОЛДАТСКАЯ КАША**

Шел штурм Берлина. Грозно грохотали советские орудия, от разрывов мин и снарядов содрогалась земля. Огромные каменные здания рушились и горели с треском, как соломенные. Особенно жестокий бой шел на подходах к рейхстагу и у канцелярии Гитлера.

С шипением, с пламенем взрывались фауст-патроны. Танки вспыхивали, как дымные костры. А в узком переулке, совсем рядом с грохотом и взрывами, — мирная картина. Бородатый русский солдат варит кашу. Привязал к решетке чугунной ограды пару верблюдов, запряженных в походную кухню, задал им корма. А сам деловито собирает обломки мебели и подбрасывает в дверцу печки, поставленной

на колеса. Открывает крышку, помешивает кашу, чтобы не пригорела, и снова подкинет дров. За его мирной работой наблюдает множество детских глаз из подвала полуобвалившегося дома напротив. Детворе очень страшно, но любопытно. Преодолевая страх, немецкие ребятишки уставились во все глаза на первого русского солдата, появившегося в их переулке.

И, хотя ружье у него за плечами, а в руках вместо оружия большой половник, им жутковато. Страшат и его лохматые брови, и его внимательные хитроватые взгляды исподлбья. Словно он видит их и хочет сказать: «Вот я вас, постойте...»

Особенно страшат немецких детей его кони, чудовищные горбатые животные с облезлой шкурой. Они живут где-то там, в сибирских пустынях, и называют их верблюдами...

Такие и в Тиргартене были, только за решетками, и над ними — предупреждение: «Близко не подходить, опасно».

А русский похлопывает их по шершавым бокам, поглаживает страшные морды.

— Это Маша и Вася. Умные, от самой Волги с нами дошли...

Солдат достает кашу большим половником и пробует с довольной гримасой: «Ах как вкусна!»

Наверное, она действительно вкусна, эта солдатская каша. Запах ее прекрасен. Так и щекочет ноздри, так и зовет попробовать. Ах, если бы съесть хоть маленькую ложку... Так есть хочется, так оголодали дети, загнанные в подвалы! Который день не только без горячего супа — совсем без еды...

И, когда солдат стал облизывать ложку, подмигивая детворе, самый храбрый не выдержал. Выскочил из подвала и застыл столбиком, испугавшись своей резвости.

— Ну, давай-ка, давай топай, зайчишка, — поманил его солдат. — Подставляй чашку-миску. Что, нету? Ну, давай в горстку положу.

И, хотя никто не понял чужого говора, до всех дошел

ласковый смысл его слов. Из подвала мальчишке бросили миску. С великим напряжением, вытянув тощие шеи, малыши наблюдали, как миска храбреца наполняется кашей. Как он возвращается, веря и не веря, что остался жив, и говорит удивленно-счастливо:

— Она с мясом и маслом!

И тут подвал словно прорвало. Сначала ручейком, а затем потоком хлынули дети, толкая друг друга, звеня мисками, кастрюльками.

— По очереди, по очереди, — улыбался солдат.

Многие ребята просили добавки. Иные, получив добавку, бежали в подвал и возвращались с пустой миской.

— Что, свою муттер угостил? Ну бери, тащи, поделись с бабушкой.

И солдат ласково поддавал шлепка малышу. Вскоре у походной кухни появился старый немец. Он стал наводить порядок, не давая вне очереди получать по второй порции.

— Ничего, — усмехнулся солдат, — кто смел, тот два съел.

— У вас есть приказ кормить немецких детей, господин солдат? — спросил старый немец, медленно выговаривая слова. — Я был пленным в Сибири в ту войну, — объяснил он свое знание русского языка.

— Сердце приказывает, — вздохнул солдат. — У меня дома тоже остались мал мала меньше...

Старый немец, потупившись, протянул свою миску, попробовал кашу и, буркнув «благодарю», сказал:

— А не совершаете ли вы воинского проступка? Разве у вас нет строгости дисциплины?

— Все есть, любезный. Порядки воинские знаем, не беспокойтесь...

— Но как же...

Старый немец не договорил. Ударили фашистские шестиствольные минометы, а их накрыли русские «катюши». Все вокруг зашаталось. Переулок заволокло едким дымом.



Дети присели, сжались, но не убежали.

С площади донеслись крики, застучали пулеметы.

— Ну, пошли рейхстаг брать, — проговорил солдат. — Теперь уже недолго, возьмем Берлин — войне капут! А ну, детвора, подходи! Давайте, господин, вашу миску, добавлю! Не стесняйтесь, это за счет тех, кто из боя не вернется, — видя его нерешительность, сказал солдат.

Но эти слова словно обожгли старого немца. Отойдя за угол, он сел на развалинах, уронив на колени миску с недоеденной кашей. А дети еще долго вились вокруг походной кухни. Они освоились даже с верблюдами. И не испугались, когда к кухне стали подходить русские солдаты. В окровавленных бинтах, в разорванных гимнастерках. Закопченные, грязные, страшные. Но немецкие дети уже не боялись их.

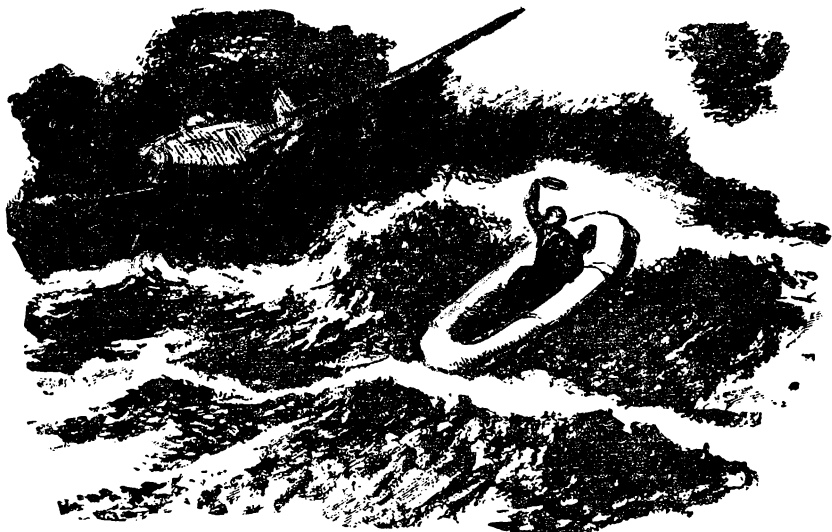
Уцелевшие после боя солдаты не хотели каши, а просили только пить. И произносили отрывисто непонятные слова: «Иванов», «Петров», «Яшин»... Бородатый солдат повторял их хриплым голосом, каждый раз вздрагивая. И, добавляя немецким детям каши, говорил:

— Кушайте, сироты, кушайте...

И украдкой, словно стесняясь, все смахивал что-то с ресниц. Словно в глаза ему попадали соринки и пепел, вздыбленные вихрем жестокого боя.

Дети ели кашу и, поглядывая на солдата, удивлялись: разве солдаты плачут?





**Николай Чуновский**

### **В ПОСЛЕДНИЕ ДНИ**

В тот самый день, когда по радио сообщили, что Берлин взят нашими войсками, летчик Коля Седов был сбит зенитным снарядом.

Это видел летчик Лукин, всегда летавший вместе с Седовым. Они вдвоем кружили над морем, следя за движением немецких кораблей, удиравших из Либавы. В Либаве и ее окрестностях немцы были нашими войсками вплотную прижаты к морю и могли удирать только по воде. Истребители Лукин и Седов вели разведку: выслеживали удиравшие немецкие суда.

Оба они знали, что война вот-вот кончится, что немцы обречены и что эта разведка, быть может, последнее боевое

задание, которое им поручили. Чувство торжества и счастья не покидало их в полете ни на мгновение. А между тем разведка оказалась трудной, потому что ветер гнал по морю длинные полосы тумана. Коля Седов только оттого и попал под снаряд, что слишком близко подошел к удиравшему суденышку, стараясь разглядеть его сквозь туман.

У Лукина горючего оставалось на семь минут полета — ровно столько, сколько нужно, чтобы долететь до аэродрома. Он как раз собирался повернуть к дому и приказал Седову следовать за собой. Они могли разговаривать друг с другом в полете, потому что у обоих были радиоаппараты. Но не успел он произнести ни слова, как услышал у себя в шлемофоне резкий грохот: это в самолете Седова взорвался снаряд. Лукин обернулся, увидел пылающий самолет, волочащий за собой столб бурого дыма, и помчался к нему.

Седов выпрыгнул из самолета. Метров восемьсот пролетел он, не раскрывая парашюта. Наконец парашют раскрылся, и падение резко замедлилось. Лукин успел, снижаясь, два раза облететь вокруг Седова, прежде чем тот коснулся гребней волн.

Кружась вокруг парашюта, мечущегося на ветру, Лукин думал только об одном: раскроется у Седова резиновая лодка или не раскроется? Как все морские летчики в последний год войны, Седов был снабжен резиновой лодкой, занимавшей в сложенном виде очень мало места и раскрывавшейся от прикосновения к воде.

Лукин тоже имел такую лодку, но никогда не видал, как она раскрывается, и потому не был уверен, раскроется ли лодка Седова. Но не успел он сделать третьего круга, как лодка раскрылась. Она была похожа на байдарку или на каюк эскимоса. В ней сидел Седов и махал Лукину рукой.

Летя теперь над самой водой, Лукин с удивлением заметил, как высоки волны. Сверху, с высоты двух тысяч метров, где он только что был, море не казалось ему таким бурным. Седов в своей лодочке подпрыгивал на белых гребнях. Во-

лосы его развевались по ветру: он, падая, потерял свой шлем.

Лукин ничем сейчас не мог ему помочь. Он убедился, что немецкого судна, сбившего Седова, отсюда, снизу, не видно. До берега было километров восемь. Горючего у Лукина осталось на три минуты. Медлить больше невозможно. Он взмыл и помчался.

Чтобы добраться до аэродрома, ему нужно было долететь до берега и перемахнуть через береговую полосу, где все еще держались немцы. Аэродром был расположен позади немцев, на поляне посреди леса, и на такой далекий путь горючего уж никак хватить не могло. Был только один выход — за оставшиеся три минуты подняться как можно выше и оттуда, с высоты, попытаться спланировать на аэродром. И Лукин понесся к берегу, круто набирая высоту.

О себе он не беспокоился. Он был уже немолод, двадцать лет проработал в авиации, обучил несколько поколений летчиков, служа инструктором в летной школе, провоевал всю войну с первого дня и управлял самолетом, как собственным телом, — почти без размышлений, твердо и уверенно. Он думал только о Седове. Коля Седов был гораздо моложе Лукина и казался Лукину почти ребенком. Последние три года они не разлучались, спали вместе, ели вместе, во всех полетах и боях были вместе.

Летчики-истребители летают парами, и такую пару составляли Лукин и Седов: Лукин был ведущий, а Седов ведомый. В воздушном бою ведущий выслеживает и догоняет противника, наносит ему удар, а ведомый сзади охраняет ведущего, потому что летчик-истребитель на самолете один и не может одновременно смотреть и вперед и назад. Седов, охраняя Лукина, столько раз спасал его от смерти, что между ними установилась совсем особая близость, редко встречающаяся между людьми других профессий.

Три минуты кончились, когда Лукин находился как раз над береговой чертой. Мотор замолк, наступила странная,

непривычная тишина. В этой тишине самолет продолжал двигаться вперед, медленно снижаясь. Немецкая зенитка раза три выстрелила по Лукину и замолчала: слишком еще высоко он находился, чтобы надеяться в него попасть. Ветер дул с моря, попутный, и очень помогал Лукину, однако над линией фронта он прошел уже так низко, что мог различить пулеметчиков, лежавших у пулеметов.

Теперь до самого аэродрома был только лес, ни одной поляны, где можно было бы сесть. Лукин медленно плыл на беззвучном самолете над щетиною елок, которые, казалось, поджидали его. Прямо перед собой он увидел бугор, поросший лесом, и в течение нескольких секунд был почти убежден, что этого бугра ему не преодолеть. Но порыв ветра перетащил его через верхушку бугра. Отсюда уже виден был аэродром. Самолет Лукина выпустил шасси. Почти касаясь колесами острых еловых вершин, он пролетел последнюю сотню метров и опустился на самый край аэродрома.

Приказав своему технику заправить самолет горючим, Лукин побежал к землянке, где помещался командный пункт полка. Снег сошел еще совсем недавно, на аэродроме блестели лужи, меховые унты Лукина сразу намокли, и бежать было трудно. Пар валил от него, когда он, запыхавшийся, стоял перед командиром полка и докладывал о том, что случилось с Седовым.

Офицеры штаба полка, сидя между неотесанных бревен, подпиравших потолок, были сегодня заняты той же работой, что всегда,— говорили по телефону с дивизией, составляли донесения, чертили графики боев; как всегда, несколько летчиков, неуклюжих и огромных, словно медведи, толпились у входа в ожидании приказаний; как всегда, как каждый день, дневальные и связные топили печурку, подметали пол; но на всех лицах сегодня было что-то новое — торжественное и счастливое. Все они уже знали, что победа одержана, что Берлин взят, что вот-вот гитлеровцы капитулируют и войне конец.

Выслушав доклад Лукина, командир полка приказал немедленно позвонить в дивизию, чтобы на помощь Седову выслали гидросамолет и катер. Посмотрев на лицо Лукина, расстроенное, утомленное и раскрасневшееся, он сказал ему мягко:

— А вы пойдите и отдохните.

К Лукину в полку относились с особым уважением не только потому, что он был один из лучших летчиков, но и потому, что он был старше всех по возрасту. Сам командир полка лет десять назад курсантом учился у Лукина фигурам высшего пилотажа. Он всегда старался предоставить Лукину покой и отдых, если это было возможно. Но Лукин не ушел.

— Гидросамолет могут подбить «фокке-вульфы», — сказал он.

— Я вышлю кого-нибудь из наших летчиков для сопровождения гидросамолета, — ответил командир полка.

Лицо Лукина стало упрямым.

— Они не найдут, — сказал он. — А я знаю это место наизусть.

Командир понял, что удерживать его не стоит. Лукин выскочил из землянки командного пункта и, тяжело дыша, побежал к своему самолету.

С гидросамолетом он встретился в условном месте над морем. Гидросамолет, громоздкий, неуклюжий, с трудом преодолевал ветер, который стал еще сильнее. Созданный и для полета и для плавания, он и летал и плавал недостаточно хорошо. Два длинных поплавка, подвешенных снизу — реданы, — делали его медлительным и неповоротливым в воздухе. В безветренную погоду он, конечно, имел бесспорные достоинства, так как был силен и мог поднять много груза, но при ветре летать на нем было трудно. Ветер не обтекал его, а ударял плашмя в его широкое тело с разными пристроечками и башенками, сбивал с курса, кренил, поворачивал. Лукин кружился перед ним: то залетал далеко впе-

ред, то возвращался, чтобы не потерять его из виду. Эта необходимость возвращаться раздражала и тревожила Лукина. Он чувствовал, что приближаются сумерки.

В сущности сумерки уже начались. День был пасмурный, тусклый, но к этой тусклости примешивалась уже особая тень — знак близящейся ночи. Еще чуть-чуть стемнеет, и нелегко будет отыскать Седова в его крохотной лодочке среди бесконечного простора моря. Не совладав со своим беспокойством, Лукин оставил гидросамолет далеко позади и помчался вперед один.

Он то взмывал ввысь, чтобы видеть как можно шире и дальше, то спускался к самым волнам, чтобы лучше их разглядеть. Волны испугали его. Они вздымались тяжелыми бурями буграми, рябыми от ветра, и были теперь гораздо больше, чем во время его прошлого полета. Ветер, как назло, крепчал, тучи стремительно неслись над морем, разыгрывалась буря, и страшно было подумать, что должен был чувствовать Коля Седов в своей крохотной лодочке. Жив ли он еще?

И вдруг Лукин заметил над морем хорошо знакомый ему силуэт «фокке-вульф».

Немецкий истребитель «фокке-вульф» взлетал свечкой вверх, потом переворачивался и почти отвесно шел к воде, стреляя из пулемета. Вода кипела под ним от пуль. Выпустив очередь, «фокке-вульф» переворачивался над самой водой и опять несясь вверх, чтобы снова ринуться вниз, стреляя.

Круто повернув, Лукин помчался к «фокке-вульфу». Но «фокке-вульф», заметив советский истребитель, бросил свое занятие и на предельной скорости понесся к берегу. В эти последние дни войны немецкие летчики уже не решались вступать в бой с советскими самолетами.

Лукин не стал его преследовать. Он домчался до того места, где только что вода кипела под пулями, и увидел маленькую лодочку, которая качалась на волнах. Седов не

сидел в лодочке, а лежал ничком. Лукин видел только его спину. Он уже не сомневался, что «фокке-вульф» удалось застрелить Седова. Вдруг Седов поднял лицо и взглянул прямо на самолет Лукина. Он сел и замахал Лукину рукой. Несмотря на сумерки, Лукин был убежден, что Седов ему улыбнулся.

Лодочка Седова с необыкновенной легкостью взлетала на гребень волны, а потом скользила вниз, в провал между волнами. Надутая воздухом, она оказалась удивительно устойчивой. Седов сидел в ней и греб руками, как веслами. Он греб, направив нос лодочки в сторону открытого моря, стараясь уйти от захваченного немцами берега, к которому его несло ветром.

Лукин давно заметил, что расстояние между Седовым и берегом сильно уменьшилось. Гребя ладонями, трудно держаться против такого сильного ветра. Да и долго ли можно так грести? Ветер принесет его к немцам. Лукин сделал круг и опять помчался к Седову. На этот раз он пронесся от него так близко, что едва не задел. В течение мгновения между ними было не больше двух-трех метров, и все же он не мог помочь ему, не мог сказать ему ни слова. Промчавшись мимо, он увидел приближающийся гидросамолет.

Гидросамолет шел низко над водой, почти касаясь вершечек волн своими длинными поплавками. Командир экипажа — на гидросамолете был экипаж из трех человек — вел свой странный, похожий на громадную водяную птицу корабль прямо к Седову.

Лукин ждал, что гидросамолет вот-вот сядет на воду и подберет Седова. Но случилось не так. Долетев до Седова, гидросамолет, вместо того чтобы сесть, понесся дальше, слегка набирая высоту. Отойдя метров на двести, он сделал круг и полетел обратно. Но опять не сел возле Седова, а пронесся мимо.

Лукин связался с командиром гидросамолета по радио.  
— Садитесь! — закричал он ему. — Отчего вы не сели?



— Сесть при таком ветре нельзя,— услышал он в ответ.— Нас перевернет.

— А вдруг не перевернет?

Лукин и сам понимал, что перевернет. Командир гидросамолета сказал ему, что с юга идут три катера на помощь Седову; он сам их видел несколько минут назад. Лукин полетел навстречу катерам.

Быстро темнело, и катера он заметил только по белым бурунчикам. Он подлетел к ним ближе. Они стремительно шли кильватерной колонной, рассекая волны, тонкие радиомачты раскачивались. С катеров заметили его самолет, и он повел их прямо к Седову, то залетая вперед, то возвращаясь.

До Седова оставалось не больше двух километров, как вдруг катера замедлили ход. Они перестроились, слегка отступили и начали медленно обходить Седова по большой дуге. Эта непонятная задержка вывела Лукина из себя. Темнота сгущалась каждое мгновение; через несколько минут он уже и сам не найдет Седова.

Не имея возможности разговаривать по радио с командиром катеров, он связался с командным пунктом своего полка. Может быть, там что-нибудь знают. С командного пункта полка позвонили на базу катеров, а тем временем, пока тянулись эти переговоры, все три катера повернули и пошли прочь, в открытое море.

Лукин в отчаянии и бешенстве кружил над ними. Наконец с командного пункта полка ему сообщили:

— Мины.

— Какие мины?

— Море в этих местах заминировано. Седов находится в самой середине минного поля. Катера подойти к нему не могут. Вот если бы не так темно...

Все это было как колдовство. Словно заколдованный, сидел Седов в своей резиновой лодочке, и снять его оттуда не было никакой возможности. Совсем стемнело. Лукин больше не видел ни волн, ни Седова. Дальнейшие попытки спасения

приходилось отложить до утра. Лукину оставалось только одно: вернуться на аэродром. В мучительной тоске летел он над темным морем, над темным лесом.

Мины Седову не страшны: лодочка его слишком легка, чтобы подорваться на mine. Не страшны ему пока и «фокке-вульфы»: они не найдут Седова в темноте, да и не станут искать. Вот разве на рассвете... Но увидит ли еще Коля Седов этот рассвет? Его или перевернет волной, или вынесет на берег, к немцам...

Сдав самолет технику, Лукин, не ужиная, побрел по темному, пустынному аэродрому к кубрику. Морские летчики, подобно морякам, то помещение, в котором спят, называют кубриком. Обычно это просторная землянка на краю аэродрома, защищенная от вражеских бомб тремя-четырьмя накатами толстых бревен. В кубрике, где жил Лукин, горела яркая электрическая лампа, озарявшая девять коек.

Летчики уже поужинали и только что пришли из столовой. В столовой они слушали московскую радиопередачу, полную подробностей взятия Берлина, и обсуждали ее, рассяживаясь по своим койкам.

Они все уже знали о несчастье с Седовым и, увидев Лукина, примолкли. Они любили Седова, боялись за его судьбу и жалели, что в такой счастливый день его нет вместе с ними. Им было жалко и Лукина: лысеющий, пожилой, с утомленным лицом, он, казалось, осунулся за этот день и еще постарел. Они стали убеждать его, что, пока Седов жив, еще не все пропало, и советовали ему пойти поужинать.

Но Лукину совсем не хотелось есть. Не раздеваясь, он лег на свою койку. Койка Седова была пуста. Лукин всегда спал рядом с Седовым, между их койками стояла только небольшая тумбочка, вроде шкафчика, служившая им обоим. Лукин привык видеть совсем близко голову Седова с раскинутыми по подушке почти желтыми волосами, привык слышать его дыхание.

Дверца тумбочки была выломана, и там внутри, на виду у всех, лежали вместе мелкие вещи Лукина и Седова. У Лукина вещей было мало: зубная щетка, бритвенный прибор; зато Седов хранил в тумбочке много всяких пустяков, которыми он дорожил: карандашик в металлической оправе, трубка с чертиком, кинжал, набор зажигалок и мундштуков, коробочки, флакончики, даже пуговицы... В увлечении Коли Седова этим вздором было много еще совсем детского, очень милого для Лукина. Каждая эта вещь была хорошо знакома Лукину, и, глядя на них, он вспомнил смех Седова, его веселые, смелые, добрые глаза.

Толстой пачкой лежали в тумбочке письма, которые Седов получил из дома за три года войны. У Седова были отец и мать и две сестры, обе моложе его, младшая совсем маленькая. У Лукина не было родных: родители давно умерли, а своей семьей он не обзавелся. Родных Седова он никогда не видел, но знал о них все, словно прожил вместе с ними много лет. Седов всегда рассказывал про них, показывал все письма из дому. И Лукину было хорошо известно каждое письмо в этой пачке.

Все уже спали, и один только Лукин бессонными глазами глядел в потолок, когда в кубрик вошел командир полка. Он подошел к койке Лукина, сел у его ног и вполголоса, чтобы никого не разбудить, стал обсуждать с ним план спасения Седова. Он говорил деловито, не выражая ни сожаления, ни соболезнований, не уверяя, что все непременно кончится благополучно. И за эту сдержанность Лукин был ему благодарен.

Они оба сразу сошлись на том, что Лукину следует вылететь при первых проблесках зари, чтобы найти Седова раньше, чем его найдут «фокке-вульфы». Командир полка больше не предлагал послать кого-нибудь вместо Лукина. В остальном опять было решено испытать и катера и гидросамолет. Ничего другого нельзя было придумать.

— Прогноз погоды на завтра хороший,— сказал коман-

дир полка, уходя.— Через час ветер уляжется и волны станут меньше.

После его ухода Лукин вышел из землянки посмотреть, что делается на дворе. Ночь для начала мая была на редкость темная, черные тучи низко неслись над лесом, ветер кидал из стороны в сторону тяжелые лапы елей. Все это не предвещало ничего доброго. О хорошей погоде командир полка говорил, конечно, просто так, в утешение.

Вернувшись в кубрик, Лукин опять лег на свою койку, даже не пытаясь заснуть. Светало очень рано, до рассвета оставалось часа два. Два часа пролежал он не двигаясь. Потом снова вышел.

Ночь еще не кончилась. Но как все изменилось! Тучи исчезли, и большие звезды сияли на высоком небе, начавшем уже слегка бледнеть. Очертания деревьев неподвижно чернели в холодном воздухе. Ветра не было.

На востоке за лесом чуть-чуть розовело. Пора. В тающих сумерках самолет Лукина понесся на запад к морю.

Он перелетел через немцев, прижатых к берегу, и был уже далеко над морем, когда сзади, из-за берега, встало солнце. Оно сначала позолотило легкие облачка в вышине, потом озарило самолет. Лучи его сверкали так ослепительно, что в сторону берега было нестерпимо смотреть. И только до моря они еще не добрались: над морем все еще клубился синий сумрак.

Но вот наконец озарилось и море. Волны все еще были велики, но катились как-то лениво. Ветер не рябил их, как вчера, не срывал с них вершушки, не пенил. Ни клочка тумана над волнами; весь огромный простор был отчетливо виден от горизонта до горизонта.

Бесконечная сияющая пустыня. Ни дымка, ни паруса. И нигде ни малейшего признака маленькой лодочки Седова.

Лукин несся то вверх, чтобы видеть подальше, то над самыми волнами, чтобы не пропустить ни одного метра по-

верхности. Он то приближался к берегу, то уходил в одну сторону, то в другую. Седова не было.

Лукин в отчаянии готов был уже сообщить на командный пункт, что ночью Седов погиб и дальше искать его бесполезно, как вдруг на поверхности моря, в стороне берега, заметил несколько всплесков — словно большая рыба, разыгравшись на солнце, пыталась выскочить из воды. Лукин отлично знал, что это такое. Такими с высоты кажутся разрывы артиллерийских снарядов, упавших в воду. Немецкие береговые батареи обстреливали море. Почему?

Солнце, висевшее над самым берегом, слепило глаза и мешало смотреть. Лукин мчался навстречу солнцу, к берегу. Теперь, когда он подлетел ближе, разрывы снарядов казались ему не всплесками, а столбами белой пены и бурого дыма. Эти столбы, возникающие на широком пространстве, были особенно густы в одном месте. И там, где разрывы снарядов были гуще всего, Лукин увидел лодочку Седова.

Лукин понял, почему он не видел ее до сих пор. Она находилась слишком близко от берега, ближе, чем он предполагал, и солнце мешало ему смотреть. От Седова до берега было не больше двух километров.

Немцы видели Седова отлично, солнце им не мешало, и они били по нему прямой наводкой. Снаряды разрывались то справа от него, то слева, то перед ним, то за ним. В такую маленькую цель попасть нелегко, и все же некоторые снаряды разрывались так близко, что лодочку подкидывало.

Среди всех этих взрывов Седов неподвижно сидел в своей лодочке, ко всему равнодушный. Казалось, он дремал. Он больше не греб руками — вероятно, у него уже не было сил грести. Может быть, он умер? Но когда Лукин пронесся над самой головой Седова и обернулся, ему показалось, что Седов приподнял голову и смотрит на него.

Наконец появился гидросамолет. Ветра не было — гидросамолет мог сесть на воду, не рискуя перевернуться. Лукин помчался к нему навстречу, чтобы привести его к Се-

дову. Теперь Лукин был спокоен. Если в ближайшие три минуты ни один снаряд не попадет в лодочку, Седов будет спасен.

Гидросамолет сел на воду в полукилометре от Седова и, как большая белая водяная птица, поплыл к нему, оставляя за собой длинный пенистый след. И сразу же немецкие артиллеристы, обрадовавшись, что перед ними такая крупная мишень, оставили Седова в покое и перенесли весь огонь на плывущий гидросамолет. По Седову стреляла одна батарея, по гидросамолету било, по крайней мере, пять батарей,— весь берег осыпал его снарядами. Столбы воды ежесекундно обступали его со всех сторон, окружали его все теснее.

Гидросамолет несколько замедлил ход, свернул сперва вправо, потом влево. Некоторое время он, плывя широкими зигзагами, все еще пытался двигаться в сторону Седова. Но скоро взрывы окончательно преградили ему путь, и он только метался, стараясь увернуться. Лукин понял, что гидросамолет погибнет, если сейчас же не взлетит. И гидросамолет взлетел.

Лукин низко носился большими кругами над Седовым, мучаясь от своей беспомощности. Немцы на берегу окружены, разгромлены, и надеяться им не на что. Седов жив, качается на волнах в своей лодочке, озаренный ласковым майским солнцем; лучший друг его, Лукин, то и дело проносится над самой его головой, и все же он обречен и спасти его никак не удастся. Гибель Седова не принесет немцам никакой пользы, их злоба бессмысленна, и все-таки они его погубят. Неужели им позволят его погубить?

Командный пункт полка поминутно запрашивал Лукина о положении дел. Из переговоров по радио Лукин знал, что все наши авиационные, морские и сухопутные части, расположенные вокруг на сто километров, знают о Седове и внимательно следят за его судьбой.

Сам командующий флотом приказал сделать все воз-

можно, чтобы Седов был спасен. И действительно, все возможное делалось: там, за минным полем, уже сияли на солнце присланные для спасения Седова катера.

По правде сказать, к их появлению Лукин вначале отнесся довольно равнодушно: они ведь приходили сюда и вчера вечером. Впрочем, на этот раз у них, видимо, был какой-то особый план. Два катера — один совсем маленький, другой побольше — двинулись необыкновенно сложным и извилистым путем в глубь минного поля. Лукин понимал, что вблизи от берега мин нет и что минное поле уже осталось позади Седова: немцы обычно не ставили мин у самого берега, чтобы дать возможность своим судам двигаться вдоль береговой полосы. Но катерам, стремящимся подойти к Седову со стороны открытого моря, нужно преодолеть широкое заминированное пространство.

Страшно было смотреть, как шли они ощупью, один по следу другого, то сворачивая, то останавливаясь, иногда даже пятясь назад. При свете дня мину легче заметить, чем в сумерки, и все же каждое мгновение Лукин ждал взрыва. Однако взрыва не было. Оба катера медленно, но упорно приближались к берегу, и мало-помалу их движения становились все увереннее. Видимо, самую страшную часть минного поля им удалось уже преодолеть.

И все-таки Лукину казалось, что они совершили этот опасный и сложный подвиг напрасно. Он знал, что катер — еще лучшая мишень для артиллерии, чем плывущий по воде гидросамолет.

Немцы пока не стреляли. Они притаились, следя за движением катеров, чтобы подпустить их поближе и бить наверняка. И первый снаряд взорвался как раз в то мгновение, когда оба катера, почувствовав, что вышли на свободную воду, стремительно понеслись вперед.

Они неслись, а снаряды рвались вокруг, и сверкающие столбы воды обступали их все гуще и гуще. И вдруг над передним катерком возникло небольшое плотное облачко

дыма. Лукину сначала показалось, что в катер попал снаряд и поджег его. Нет, он ошибся. Облачко дыма росло, росло, росло, протянулось за катером бесконечным хвостом и, повиснув огромным занавесом, скрыло полморья. И Лукин, ликуя, понял: дымовая завеса!

Немцы тоже поняли, и огонь всех своих батарей сосредоточили на маленьком катерке. Волоча за собой все расширяющийся дымный хвост, он, бесстрашный, мчался... нет, не к Седову, а прямо к берегу по клокочущему от взрывов морю, потом повернул и понесся между берегом и Седовым. Опять повернул и сам скрылся за своей завесой.

Стена плотного дыма, растянувшись на много километров, скрыла от немцев и Седова и оба катера. Немцы перестали стрелять. Лукин тоже ничего не видел, потому что и сам попал в дымную мглу, подымавшуюся все выше.

Когда он наконец из нее выбрался, он снова нашел лодочку Седова. Она была пуста. Два катера осторожно пробирались гуськом через минное поле, направляясь в открытое море.

Час спустя Лукин сидел в землянке командного пункта полка и звонил по телефону на базу катеров. Оттуда ему сообщили, что Седова уже привезли.

— Ну как он? Здоров?

— Здоров.

— Что делает?

— Спит.

Лукин и сам очень хотел спать. От бессонной ночи, от длинного полета, от пережитого волнения он весь был полон счастливой усталости. Он пошел в кубрик, разделся и лег. «Седов спасен!» — думал он, засыпая.

Спал он спокойно и очень долго, много часов. «Седов спасен!» — подумал он, проснувшись. Он пошел в землянку командного пункта и опять позвонил на базу катеров.

— Седов спит, — ответили ему.

— Еще не просыпался?



— Не просыпался.

В этот день так ему и не удалось поговорить с Седовым: Седов спал. Только на следующее утро Седов наконец подошел к телефону.

— Коля!.. Ну как, выспался?

— Выспался.

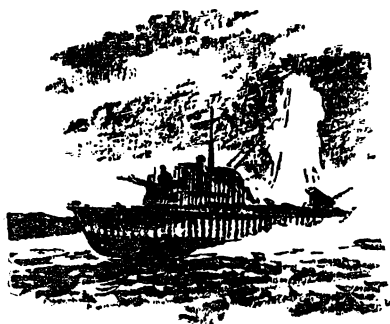
— Очень было трудно на лодке?

— Очень. Ночью меня чайки измучили, кружились надо мной, садились на голову, на плечи, я только и делал, что гонял их... Я знал, что меня выручат.

— Знал?

— Не сомневался.. А ты слышал новость? Только что сообщили: Германия капитулировала.

Война кончилась. Это был первый день мира.





**Борис Полевой**

### **СБЫЛОСЬ!**

В конце декабря 1941 года пришла из редакции на фронт телеграмма. Просили написать, как встретят Новый год в одном из наступающих подразделений. Сделать это казалось не очень трудным. Хотя первое зимнее наступление Советской Армии было в те дни в самом разгаре, линия

фронта после взятия Калинина еще не успела отодвинуться далеко.

В ясную, хрусткую, остро сверкавшую звездами и снегом ночь мы по знакомым лесным дорогам, до глянца укатанным колесами наступающих батарей, часа за полтора добрались до передовой, которая никак особенно тогда не обозначалась, а скорее угадывалась по близкому зареву пожаров, по автоматной трескотне да по непрерывному мерцанию синеватых немецких ракет.

Все двигалось. Смерзшийся до твердости фарфора снег скрипел под ногами пехоты. Звеня цепями, ревели на подъемах грузовики. Тарахтели тракторы, тащившие огромные пушки; измученные заиндеветшие лошади, храпя и фыркающая, тянули орудия. Звенели хриплые крики повозочных: «Марш, марш, марш!» От мороза трещали стволы деревьев и стонали оборванные, скрученные штопором провода.

В сутолоке бурно развивавшегося наступления найти какой-нибудь низовой штаб, все время менявший свое место, оказалось невозможным. Узкие лесные дороги были совершенно забиты обозами наступавших полков. Местами образовались многоверстные пробки. Завязнув в хвосте одной такой пробки, мы пешком добрались до придорожной деревни, — собственно, даже не деревни, а огромного догоравшего пепелища, у пожарниц которого грелись озябшие шоферы, обозники и пехотинцы, — зашли в единственную уцелевшую просторную избу, где, по всему виду, когда-то помещались колхозные ясли, и тут решили встретить Новый год.

Изба эта, как сказочный терем-теремок, была набита военным людом. На полу от тесноты нельзя было ни лежать, ни даже сидеть. Зашедшие погреться и перекурить в тепле стояли стеной, прижимаясь друг к другу. Забиты были и сени. Оттуда несся густой, богатырский многоголосый храп. Печь и полаты заселили сибиряки-лыжники, здоровые, как на подбор, ребята. За сизыми слоями тяжелого мажорочного дыма они в своих белых маскировочных халатах

походили на привидения. Лыжи стояли перед избой, и часовой, карауливший их, сказал, что батальон этой ночью идет в атаку преследования.

Близость боя не волновала, скорее возбуждала этих бывалых, обстрелянных солдат. Они расположились на огромной печи по-калмыцки, так, что посреди оказалось свободное пространство. Тут они хозяйственно разложили снесь.

Печь была такой просторной, что на нее втянули появившегося в дверях раненого пехотинца с перебитой рукой, привязанной бинтом к куску драни, а потом, переведя на полати еще кого-то из своих, подняли на печь и женщину с грудным младенцем, который, как детеныш кенгуру, торчал у нее на животе, в разрезе расстегнутого полушубка, пестрого от заплат. Снизу мы видели, как под шутки и смех они заботливо усаживали ее у стенки. Растроганными и грустными глазами смотрели при этом солдаты на раздумявшееся личико спавшего малыша.

— Милости прошу к нашему шалашу, товарищ командир, извиняюсь, не вижу под шубой вашего звания,— гостеприимно прохрипело с печи одно из веселых белых привидений, обращаясь, по-видимому, ко мне.— Мы сегодня богатые, Новый год встречаем, как говорится, чем бог послал.

По тем трудным временам сибиряки оказались действительно богатыми. На двух чистых полотенцах лежали перед ними три алюминиевые фляги, горка крупно нарезанного пожелтевшего свиного сала, искрившиеся жиром куски колбасы, замерзшей настолько, что ее приходилось не резать, а рубить, и бурые, правда совершенно высохшие и заплесневевшие, но вкусно пахнущие ржаной кислотцой коржики на сметане, выпеченные по всем правилам мирного времени.

— Из посылок. На праздник землячки подкинули,— пояснил один из лыжников, невысокий старшина с русыми, подкрученными вверх усиками, тоненькими, как мышинные хвостики.— Кушайте, не стесняйтесь, от самого чистого

сердца присланы, от самой, как говорится, глубины души. Вот оно и письмо тут. Может, интересуетесь? Прочтите, вкуснее пища покажется.

И острым лучом потайного фонарика он осветил изрядно потертый и совершенно промасленный, должно быть долго ходивший по рукам читаный-перечитаный листок бумаги:

«Родные наши бойцы! От чистого сердца поздравляем вас с Новым годом. Мы желаем вам в новом году всемирно-исторических побед над проклятым фашизмом, а также шлем вам наш скромный подарок. Кушайте и пейте себе на доброе здоровье и вспоминайте о неизвестных вам девушках... Мы тоже сейчас делаем, что можем, для победы, а что — секрет, но это неважно, потому что вы видите это у себя на фронте... А за всем этим примите наш низкий поклон. Неизвестные вам, но сердечно вас любящие стахановки артели «8 Марта», город Киров».

Старшина прочел все это с чувством, и текст был, по-видимому, ему уже настолько знаком, что он почти не смотрел при этом на бумагу. Потом он сложил письмо, сунул его в бумажник, убрал в карман и взглянул на часы.

— Последние минутки этого года, провалиться бы ему совсем, отстукивают. Ну, готовы?

Он осмотрел новогодний «стол».

Содержимое посылки отделение лыжников решило съесть сообща в эту новогоднюю ночь перед атакой, а обнаруженные в посылке неделимые вещи — вышитый кисет и теплые варежки-шубенки — разыграли по справедливому солдатскому способу: кому-кому. И достались они: кисет — юноше, который и затычки табаку не пробовал, а варежки — бойцу, который только что получил с зимним обмундированием отличные меховые рукавицы.

Но оба они ни за что не хотели расстаться с этими ненужными им вещами, и это служило поводом для шуток в последние минуты года. Старшина, приподняв рукава телогрейки, следил за медленным ходом минутной стрелки. Ха-

та тряслась от близкой канонады, но все слышали тиканье его часов.

— Есть! Старый отчалил, даешь новый! — просипел он наконец.

С фляг были свинчены пробки, и пошли фляги по кругу, и каждый пригубливал, по уговору, два «средних глотка».

Первую здравицу выпили за победу, затем за удачу предстоящего боя, за тех, кто прислал посылку, и вообще за женщин, в эту минуту думающих о фронтовиках.

После каждой здравицы фляжки двигались по кругу. Угостили раненого и женщину, оказавшуюся единственной жительницей этой деревни. Она вернулась несколько часов назад из-за Калинина в родные места и увидела на месте дома догоравшие головешки.

Становилось шумней. Ворота ватников и шуб распахнулись, на лбах выступил пот, глаза бойцов засверкали, на языке появилось то, что носили глубоко в душе в трудные дни этого наступательного похода, с чем ходили в атаки, о чем думали, засыпая в снегу у костров, но о чем обычно не говорили, что береглось только для себя.

— Ребята, слушай, ребята, вот охота мне сказать... Да слушайте вы, дьяволы, кончай шум!.. Как попал я неделю назад первый раз на нашу землю, что была под фашистом, хошь — верь, хошь — нет, сон потерял, — хрипел старшина, оказавшийся командиром отделения. — И нет мне покоя, ребята. Ну нет. Глаза закрою и вижу: горит кругом. Слышу, пожарища на морозе трещат. Ну прямо въявь слышу. У шапки уши спущу, надвину, спать же надо, силы беречь... Где тут... Ихнюю вон сестру, бабу то есть, извиняюсь, женщину, женщину нашу вижу, ребятишек малых мертвыми в снегу... Нет, постой, постой, слушайте, дай кончу... И все думаю: как это может быть, к чему это? По какой-такой причине Гитлер лютует так на нашей земле? Почему избы жжет? Нешто избы ему наши воевать мешают? Нешто от женщин, от старых и малых он нынче поражение терпит?

Так чего же он, собака, их мертвит? Ну? Вот о чем я думаю, ребята...

Из дымной, прокуренной мглы зашумели, загомонили голоса:

— Расходился старшина... Эк вопрос: фашист — на то он и фашист.

— Это разве ответ? Выпек: фашист — это известно.

— Надо полагать, знает, собака: пока хоть одна наша изба на земле стоит, ему над миром не сидеть.

— Потому и лютует, что сила-то не его. Нашла коса на камень, смерть свою он чуёт, вот отчего.

— Чего там слова рассусоливать, их бить надо. Ты бы нам, старшина, флягу прислал, разок хлебнуть за победу, вот это да, а тут все ясно.

Лыжники попробовали уgomонить расходившегося отделенного. Невысокий, щуплый, он с силой, которую трудно было в нем предположить, сердито отбросил их:

— Стой, не мешай! В атаку иду, может, убьют сегодня, дайте сердце перед боем опростать... Разве это война? Нет, это не война. Нешто это война — города рвать, избы жечь, таких вот, как она с маленьким, — он указал пальцем на женщину, кормившую грудью младенца, мирно причмокивавшего во сне, — таких вот, как она, на снегу без куска посреди поля оставлять? Разве так воюют?.. Только б нам до их вожakov добраться, горло бы им своими зубами перегрыз.

Этот парень, минуту назад казавшийся таким обыкновенным и незамысловатым, сказал, должно быть, именно то, о чем постоянно думал, но о чем не умел и не любил говорить военный люд, наполнявший придорожную избу.

С пола, из густой жаркой тьмы, из дверных пролетов, где не виднелись, нет, скорее угадывались по тяжелому дыханию столпившиеся люди, несся многоголосый одобрительный гул:

— Твоя правда, верно!

— Крой, Сибирь, правильно, так оно и есть!

— Вот, ребята, и я тоже думаю: кабы не был я коммунистом, кабы не партбилет в кармане, ей-богу б, я пленных не брал, нет, не брал бы.

— Партбилет! А беспартийные что? Чай, все мы — советские люди. Пленный-то тут при чем, он оружие сложил. Вон Сибирь верно говорит, до вожаков бы их добратья.

— И доберемся, а что?

— Идти-то ох далеко!

И старшина в ответ на это уверенно прохрипел с печи:

— Дойдем, лишь бы они в какую щель, гады, не запрятались, уж мы весь Берлин перевернем, а сыщем, уж мы...

Внизу слышался шум распаиваемой двери, и вместе с облаками морозного пара, с острой струей чистейшего, пахнущего снегом воздуха влетел в избу чей-то выкрик:

— Эй, из седьмого лыжного люди есть? Майор командовал строгиться.

Старшина на полуслове оборвал свою речь. Лыжники стали собираться, подпоясывались, затягивались, завязывали тесемки балахонов. При свете фонарика они хозяйственно собрали остатки новогоднего пиршества, свернули их в дареное полотенце и оставили женщине.

— Угощайся, молодуха, нам это ни к чему.

Обладатель кисета протянул его раненому:

— Тебе нужней, ты, я вижу, куришь...

Потом старшина собрал у всех, у кого были, письма, в том числе и коллективный ответ кировским девушкам, приславшим новогодние подарки. Он передал письма мне и наказал опустить в ящик полевой почты. Отправлялись в глубокий рейд, и мало ли что могло случиться.

Перед выходом старшина скользил лучом фонарика по лицам своих людей, с трудом выдиравшихся из густой, набивавшей избу толпы. На лицах было будничное, деловито-озабоченное выражение. Солдаты поправляли на груди автоматы, снимали тряпочки, которыми были аккуратно закутаны затворы, надвигали на брови капюшоны.



Проходя мимо, старшина спросил:

— А как думаете, товарищ командир, удастся вот их, этих вот самых гитлеров, когда-нибудь поймать и... — Он скрипнул зубами и не договорил.

Я нашел в темноте его большую жесткую ладонь и молча пожал ее. Он ответил вздохом.

— Эх, кабы удалось! — с этим и скрылся в облаке холодного пара, снова хлестнувшего в дверь со двора, где уже резко скрипели лыжи и слышались крики команды.

Долго еще потом гудела битком набитая придорожная изба. Уходили одни, заходили другие. Вновь вошедшие узнавали, о чем разговор, и все сходились на том, что правильные слова сказал сибиряк, хорошо сказал, справедливое пожелал перед атакой.

Много пришлось с тех пор проехать, пройти, пролететь по пятам врага, по путанице бесконечных фронтовых дорог. Все они в конечном счете сошлись в одном пункте, в Берлине. Но где бы ни лежал боевой путь, по щебню ли и головням сожженных деревень Калининщины, через великие руины Сталинграда, по Орловской ли рябой от разрывов, заросшей бурьяном земле, через ограбленную ли, разоренную Украину, на Волге, на Днестре, на Днестре, на Пруте, на Висле, Одере, Эльбе и на самой Шпрее, — везде доводилось мне слышать о справедливой мечте советских людей, о которой так выразительно говорил старшина в новогоднюю ночь.

Чем дальше уходил фронт от родной земли, тем чаще, тем настойчивее звучала мысль о справедливом возмездии. Советская Армия в великом единоборстве сломала хребет фашизму, с боем прошла тысячи верст, водрузила победный флаг над остовом рейхстага. И потом мы искали фашистских главарей в закоптелых развалинах разоренного Берлина, в подземельях разбитого Дрездена, в головнях Лейпцига, в руинах Кенигсберга. Искали по всей Германии, искали и нашли.

Сбылось!.. Они сидели на скамье подсудимых в старин-

ном Нюрнберге. Белесые продолговатые лампы, обрамлявшие потолок, лили яркий свет на мундиры и мантии судей, восседавших на возвышении под четырьмя флагами держав-победительниц, на причудливые прически стенографисток, на малахит и черный резной дуб стен, на белые котлы шлемов американских солдат-конвоиров, на раскрытые блокноты, вечные перья, карандаши на местах прессы.

В прямоугольном загоне за черной стеной защитников сидели те, кого, как личных своих врагов, ненавидели все честные люди на земле. Сидели такие обыкновенные, заурядные с виду, в помятых костюмах, с помятыми, будничными, пошлыми физиономиями. Даже странно было думать, что это они мнили себя владыками мира, залили кровью половину земного шара и мучительно умертвили многие и многие миллионы людей.

Изо дня в день слушая историю своих злодеяний, они дожевывали не законченные в перерыв завтраки, устало потягивались, переговаривались между собой, читали из-за спин защитников свежие газеты, что-то записывали в тетради, при этом с немецкой аккуратностью стирая резинкой неверно написанное, передавали защитникам бумажки, менялись наушниками. Позорную скамью они обжили, как дом. И все удивлялись: какая мелкая мразь! В показаниях своих они от всего отпирались. Прижатые к стене, загнанные в угол вещественными доказательствами, даже не покраснев, соглашались: «Да, это было, но я запомнил...» Какое ничтожество!

Становилось скучно слушать бесконечные судебные доказательства. Одной миллионной того, что они совершили, с избытком хватило бы для того, чтобы каждого из них ждала веревка. Даже судьи с трудом прятали позевоту. Места прессы начинали пустовать.

Но тут произошло событие, которое вихрем ворвалось в однообразную многомесячную скуку судебных заседаний. На дубовую трибуну поднялся главный советский обвини-

тель, обычный человек в мундире Министерства юстиции. Раскрыв перед собой папку с бумагами, он глуховатым голосом произнес:

— От имени Союза Советских Социалистических Республик, от имени всего советского народа...

Точно щедрый раскатистый вешний гром грянул над истомленной под солнцем засушливой степью, точно порыв бодрого влажного вихря ворвался в зал и сдунул со всех лиц налет вежливой скуки. Насторожились судьи. Защитники в монашеских балахонах заерзали, напряглись, как рота в окопе перед решающей атакой. На местах прессы вдруг стало очень тесно. Карандаши, перья забегали по бумаге.

— От имени Союза Советских Социалистических Республик...

Это было произнесено очень просто, негромко и твердо. Но фраза эта потрясла обвиняемых. Они инстинктивно задвигались на своих местах и как-то отпрянули, сдвинулись в далекий угол, как овцы перед бурей.

Вздрогнув, побледнел и выпрямился, как от удара, Геринг в широченном голубоватом замшевом мундире, болтавшемся на нем, как на вешалке. Невольная гримаса передернула его широкий лягушачий рот. Гесс еще выше вытянул неподвижную змеиную головку. Он, должно быть, хотел изобразить на лице ироническую улыбку, но улыбка не вышла, он только скалился, и это еще увеличило его сходство с мертвой, уже тронутой тленом головой. Кейтель, наоборот, втянул голову в плечи, отчего морщинистая красная солдатская шея покрылась складками, как у черепахи, и дряблые эти складки легли на воротник кителя. Его сосед, уже совершенно облезший за дни процесса Риббентроп, страдальчески поджал побелевшие губы и изнеможенно закрыл глаза, близкий к обмороку. Щечки-котлетки поползли вниз на бритом актерском лице Розенберга. Наместник Гитлера «на Востоке», что-то шепча про себя, стал нервно хрустеть суставами пальцев, а палач Польши Ганс Франк, юрист по обра-

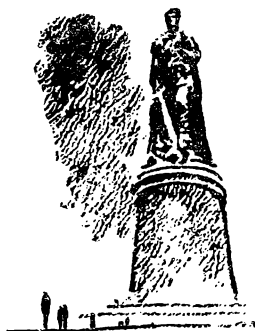
зованию, должно быть давно уже мысленно вынесший себе смертный приговор и смирившийся с ним, циничным взглядом обвел всю эту компанию, не сумевшую спрятать своего животного страха, и злорадно захохотал.

— От имени Союза Советских Социалистических Республик...

Казалось, слова эти, произведшие в зале впечатление электрического разряда, произнес не плотный русоволосый человек в мундире Министерства юстиции, а сказал их, незримо шагнув за ним на трибуну, советский народ, своей бесконечной любовью к Отчизне сломивший силы фашизма.

И вспомнился мне, ясно вспомнился, как будто мы виделись с ним вчера, старшина-сибиряк, с которым встретились мы когда-то на заре нашего первого наступления. Сбылась его мечта, так страстно высказанная в новогоднюю ночь, за час перед атакой. Незримо стояли в торжественном зале простые маленькие и великие советские люди и от имени своего народа требовали смерти фашизму.

Всегда сбывались мечты и планы наши. Сбылась и эта. Советский прокурор обвинял фашизм от имени Союза Советских Социалистических Республик.



# НА БОЕВОМ ПОСТУ



*Мы сильны! Берегись, поджигатель войны,  
Не забудь, чем кончаются войны!  
С нами люди простые из каждой страны,  
Мы в грядущее смотрим спокойно.*

*Е. ДОЛМАТОВСКИЙ*



**Владимир Монастырев**

### **ПЕРВАЯ ПОБЕДА**

Василий Щукин принадлежал к числу людей, с которыми часто случаются разные происшествия и над которыми обычно посмеиваются и подшучивают товарищи. Уже через несколько дней после водворения в карантин Вася приобрел широкую известность. Случилось это следующим образом. Вечером, когда молодые солдаты после занятий принялись за свои личные дела, прибыла еще одна группа новобранцев. Они были пока не обмундированы, и размещали их в первом этаже казармы, а обмундированные новички жили во втором. Там, на лестничной площадке, у них уже стоял

дневальный со штыком на поясе. Тут же висело небольшое зеркало, и Щукин частенько вертелся около него, любуясь новым обмундированием. По правде сказать, любоваться было нечем: гимнастерка — самого малого роста — была для Васи большой, на животе морщилась, а из-под ремня сзади торчал такой длинный хвост, что Васю, того и гляди, могло занести ветром в сторону. Однако все это не смущало Щукина; военная форма ему нравилась, и он не упускал случая посмотретья в зеркало.

Вася Щукин первым и увидел новичков. Он перегнулся через перила, посмотрел вниз, потом обернулся к двери и крикнул:

— Ребята, пополнение прибыло!

В эту минуту он чувствовал себя уже бывалым солдатом и крикнул, разумеется, голосом густым, как и подобает ветерану. А голос у Васи еще, что называется, «не устоялся» и выдал его молодость — сорвался на тонкий петушиный вопль.

Вся казарма — первый и второй этажи — так и покати-лась со смеху. Даже дневальный, которому во всех случаях жизни полагалось хранить серьезность, согнулся пополам от смеха.

Урок этот, однако, Щукин скоро забыл, и, когда новобранцев перевели в роты, Вася опять попал впросак. К тому времени он уже подхватил и употреблял с самым независимым видом, на который был только способен, словечки вроде «гражданка», «положено», «довольствие» и тому подобное. Но этого ему показалось мало, и он занялся своим внешним видом. Его удручала девственная свежесть гимнастерки и шаровар, которые не успели обноситься. И он решил поторопить события: взял да и вытер несколько раз вымазанные в ружейном масле руки о локтевые и надколенные нашивки, чтобы походить на видавшего виды солдата.

Старшина Звягин заметил подозрительный блеск на лок-



тях и коленях рядового Щукина, подозвал его и поинтересовался, где это он успел вымазаться.

Ничего путного Василий ответить, конечно, не смог.

Если бы старшина понял, что побудило Щукина вымазаться, он, может быть, и смягчился бы. Но старшина просто отчитал Василия, да так, что того прошиб холодный пот, а в заключение обещал строго взыскать, если еще раз уличит в неряшливости.

Надо сказать, что Вася Щукин любил прихвастнуть и нос у него задирался быстро. Когда в отделении производили боевой расчет, Карамышева назначили наводчиком ручного пулемета, Щукина — помощником наводчика.

— Не завидую я тебе,— сказал Карамышеву рядовой Зимин,— попробуй потаскаться по этим горищам с пулеметом. Это же не карабин.

Зимин говорил так потому, что все-таки завидовал. Пулемет был интересной машиной, не в пример карабину, простота которого прямо-таки удручала Зимина: он пришел в армию из колхоза и ко всяким машинам и механизмам испытывал неодолимое влечение.

Карамышев ничего не ответил Зимину, только пожал плечами. Зато Щукин сейчас же бросился в спор.

— А вот и завидуешь,— сказал он,— сам хотел пулемет получить, да не дали. Пулемет дают самым лучшим солдатам.

Щукин не сказал «солдату», он употребил множественное число, и Зимин понял его именно так, как Васе хотелось.

— Это ты лучший? — спросил он, посмотрев на Щукина сверху вниз.

— А хотя бы и я... Мы с Карамышевым.

Зимин рассмеялся. Вася стал петушиться.

— Ну чего смеешься, чего? — наседали на Зимина.

Карамышев успокоил его:

— Оставь, Вася, человеку весело — он и смеется. Никто

же не сказал, что ты плохой солдат, а самому хвалиться не надо.

Относились к Щукину в отделении по-разному. Зимин и Снытко, например, поддразнивали его и не упускали случая уличить в хвастовстве. Карамышев ему покровительствовал и если подтрунивал над Васей, то делал это добродушно, по-дружески. А вообще-то Щукин прослыл в роте человеком легкомысленным, для серьезного дела не очень пригодным. Все знали: Вася парень не вредный. Но если кто спрашивал: «Откуда ты это знаешь?» и ему отвечали: «Щукин говорил», то спрашивающий махал рукой в том смысле, что, мол, слово Щукина стоит недорого. Такое отношение к Васе держалось среди солдат довольно долго...

В полку два раза в год — летом и зимой — проводились состязания по стрельбе. «Дуэлька» — так сокращенно и ласкательно называли состязание — проводилась вот как. От каждой роты получало право на участие в состязании отделение, которое имело лучшие показатели по огневой подготовке и не отставало во всем остальном. Состязание устраивалось в один из воскресных дней, обставлялось празднично.

Победители уносили в свою роту переходящий приз — кубок, увенчанный фигурой солдата.

Отделение сержанта Терехова выходило по огневой подготовке на первое место в роте, и вопрос о его участии в летних состязаниях был почти решен. Солдаты, отлично понимая, что приз так просто не выиграешь, тренировались весьма старательно: после занятий они почти каждый день часа полтора под руководством сержанта, а если он был занят, то самостоятельно отрабатывали выдвигание на огневой рубеж, зарядание, прицеливание и другие приемы. Разделялись попарно, тренировали друг друга. Бекмурадов занимался с Зиминным, Небейворота — со Снытко, Карамышев — с Щукиным.

Занимались все увлеченно, забывая иногда о времени.

Вот бежит по полю с карабином Щукин. Он не так ловок, как шустр: движения у него мелкие, торопливые, потому и ошибается он часто. Добежал Вася до огневого рубежа, лег, поерзал на месте и не сразу изготовился. Наконец он целится, прижав пухлую щеку свою к прикладу и смешно щуря правый глаз.

— Еще раз,— посылает его Карамышев назад.

— А что, плохо получается? — подозрительно спрашивает Вася.

— Не плохо, но надо получше.

Лицо Щукина проясняется:

— Лучше — это я могу. Сейчас будет совсем хорошо,— и бежит в укрытие.

В это мгновение по команде Зимина камнем падает на землю Бекмурадов. Падая, он неуловимыми движениями перекидывает карабин в левую руку, а правой рвет из под-сумка обойму с патронами и, быстро открыв затвор, вгоняет в магазин все пять патронов.

У Бекмурадова цепкие жилистые руки, резкие движения. Когда он работает с оружием, преобразается — обычно мешковатая, костлявая фигура его делается гибкой, как стальной прут.

Зимин в быстроте заряжания заметно уступает Бекмурадову. Падает он осторожно, боясь удариться о землю грузным телом, обойму достает медленно. Все движения его какие-то рыхлые, с ленцой.

— Не так,— резко говорит Зимину Бекмурадов, суживая глаза,— совсем не так.— И он показывает, как нужно изготовляться к стрельбе.

Самая спокойная пара — Лева Небейворота и Степан Снытко. Степан лежит и не спеша целится, а Лева держит указку на длинной проволочной ручке. Указка имеет в центре отверстие и накладывается на щит с листом белой бумаги.

— Есть, ставь,— говорит Снытко.

И Лева ставит сквозь отверстие последнюю точку.

— Хорошо у тебя получается,— говорит Лева,— все точки рядом, почти одна в одну. А у меня что-то не ладится с единообразием прицеливания.

Они меняются местами. Теперь Лева командует, а Снытко передвигает указку:

— Ставь...

\* \* \*

Говорят, что, когда ждешь чего-нибудь с нетерпением, время тянется особенно медленно. Это не всегда верно. В отделении Терехова очень ждали дня состязаний, а время для солдат летело все равно быстро, и вот уже пришел этот день.

В воскресенье с утра все были в таком приподнятом настроении, что за завтраком ни у кого, кроме Степана Снытко, не было аппетита. А у Снытко, конечно, был, потому что покушать он любил сильно и аппетит не изменял ему ни в каких случаях жизни.

— Ну как, не подкачаем? — спросил Карамышев у товарищей.

— Будь покоен, Паша,— приподнимаясь на цыпочки и разворачивая плечи, сказал Щукин,— мы им покажем!

— Раньше времени не хвались,— вмешался Зимин.— Что ты им покажешь?

— А ты не сей панику! — ошетинился Щукин.

— Не будем спорить,— сказал Лева.— Хвастать рано еще, но и веру в свои силы терять не надо.

— Правильно,— подойдя, заключил сержант Терехов.— Ну как, все готово?

Все было готово, и отделение отправилось на стрельбище.

Идти предстояло немного: надо было пересечь дорогу, перебраться через узкий канал с проточной горной водой.

Стрельбище с одной стороны ограничивает мелкая речушка, другой оно упирается в гору, которая на картах называется «Высота 628», а в просторечье «Баранья голова».

Щукин замешкался в казарме и, догоняя товарищей, загремел со всех двенадцати ступенек высокого каменного крыльца.

— Ну, не бачить нам удачи,— сокрушенно сказал Снытко, помогая Васе подняться.

— Не каркай! — оборвал его Карамышев. — Карабин не стукнул? — спросил он у Щукина.

— Нет, я его над головой держал, когда летел. Ногу только зашиб.

— Сильно?

— Ничего, пройдет... Разомнется.

Сержант построил солдат и скомандовал:

— Отделение, шагом марш!

Вася шел прихрамывая. Но, когда приблизились к месту состязаний, он подтянулся и почти перестал хромать.

На стрельбище было полным-полно народу: зрители полулежали, сидели, стояли, шумно разговаривали, курили. Духовой оркестр время от времени играл марш или вальс.

К отделению Терехова подошли командир роты майор Долгов и старшина Звягин.

— Как настроение? — спросил командир.

— Хорошее,— вразной ответили солдаты.

— Ну и отлично,— сказал майор.— Пойдем, старшина, на свои места, пусть их отдохнут, сосредоточатся.

— Смотрите у меня! — с напускной строгостью погрозил пальцем старшина и ушел с майором.

Команды участников держались особняком. Стрелки проверяли карабины, вполголоса разговаривали между собой и посматривали на ограниченное флажками место состязаний. Дальше, за двумя линиями флажков, у подножия «Бараньей головы», чернел бруствер траншеи, оттуда должны были

показывать мишени. Там уже копошились солдаты-показчики; они то вылезали из траншеи, то исчезали в ней. Командиров отделений вызывали к судейскому столу для жеребьевки.

Вернувшись оттуда, Терехов сказал:

— Мы в последней паре, с командой сержанта Семина.

Это и есть самый опасный конкурент — стрелки четвертой роты: на зимних состязаниях они завоевали кубок. Солдаты молчат — о чем тут говорить, все ясно.

Начинается состязание. Над стрельбищем гремят выстрелы. Солнце поднимается все выше, греет все сильнее. Бегать со скатками жарко.

— На солдата погодой не угодишь, — говорит Терехов, — то холодно, то жарко.

— Это точно, — подтверждает Снытко, вытирая красную шею, — только по холодку бегать способнее.

Отделение еще не вступало в состязание, но все уже вспотели, покраснелись, только Бекмурадов сух и свеж, будто и нет над ним палящего солнца. Он сидит на корточках, проверяет прицел и посматривает на товарищей горячими веселыми глазами.

Солдаты внимательно следят за стрельбой, обмениваются мнениями, замирают, слушая, когда от судейского стола объявляют время победивших команд. Время у всех очень неплохое, но это не пугает Терехова: его солдаты на тренировках давали высокий результат, и есть все основания полагать, что у них время будет лучше. Вот только отделение Семина... А впрочем, что гадать заранее — стрельба покажет.

Карамышев ищет глазами Щукина. Обычно он разговаривает больше и громче всех. А сейчас его что-то не видно и не слышно.

Вася Щукин сидит в сторонке на траве, опершись на руки, вытянув и широко раскинув ноги. Физиономия у него довольно кислая.

— Ты чего вдруг приуныл? — обращается к нему Карамышев.

— Я? Нет, что ты! — оправдывается Вася. Но в тоне его нет обычного петушиного задора.

«Странно, — думает Павел, — не похоже на Васю». Но размышлять над этим вопросом некогда: отделение вызывают на исходное положение.

Стрелки занимают свои места. Щукин стоит на левом фланге, неловко, словно петух на морозе, поджимая правую ногу. Бекмурадов пригнулся; он — как сжатая пружина. Зимин и Снытко стоят спокойно, чуть подавшись вперед. Лева нервничает и переступает с ноги на ногу. Павел ему что-то тихо говорит.

Терехов видит всех своих стрелков и каждого подбадривает взглядом.

Последние секунды тянутся особенно медленно. Наконец сигнал.

Изо всех сил бегут стрелки на огневой рубеж. Впереди — Бекмурадов; он делает громадные шаги, низко пригибается и раньше других опускается на землю. Опускается, пожалуй, не то слово. Он стремительно, камнем падает и, падая, быстро изготавливается.

А Вася Щукин в это время еще бежит, припадая на правую ногу. Вдруг она у него подламывается, и Вася, не добежав до огневого рубежа, летит на землю.

Бекмурадов делает первый выстрел — одна мишень исчезает. Следующий его выстрел уже сливается с выстрелами Терехова и одного из солдат четвертой роты. Еще три мишени падают. Вася Щукин в это мгновение поднимается и опять бежит к огневому рубежу. Он ложится на свое место и стреляет вместе со всеми. Гремит залп, падают мишени. Две последние исчезли почти одновременно, но одна из них все-таки упала на секунду раньше.

Команды вернулись на исходное положение. И еще не объявили результатов стрельбы, а у солдат уже стало происхо-

дить то напряженное состояние, какое бывает у каждого спортсмена во время состязаний. Они почувствовали усталость — не только сегодняшнюю, но многодневную, накопленную за все время тренировок. Бекмурадов одной рукой так сжимал карабин, что пальцы побелели, а другая, свободная, висела, как плеть. Зимин весь обмяк и даже глаза прикрыл. Лева неестественно высоко держал голову: видно, ему очень хотелось уронить ее на грудь...

Раньше чем судьи объявили победителя, к Терехову подбежал старшина Звягин и поздравил его.

— Молодцы, выиграли! — сказал он.

Солдаты стряхнули усталость, потянувшись к старшине. В это время главный судья в рупор сказал, что кубок завоевало отделение сержанта Терехова, и назвал время.

После первых взаимных поздравлений Карамышев сказал:

— А время на тренировках у нас было получше.

— Щукин подвел, — заметил Снытко, — если бы он не упал...

И тут только хватились: а где же Щукин? Осмотрелись и увидели, что он сидит поодаль и тупо смотрит в землю.

— Во, бачили? — возмутился Снытко. — Из-за него чуть первое место не прохлопали, а ему байдуже, сидит себе...

И Карамышев в эту минуту нехорошо подумал о Щукине: «Вот, хвастал, хвастал, языком болтал, а на деле — пшик. И всегда у него так...»

— Чего ты уселся там? — недовольно крикнул он Щукину. — Иди сюда!

Вася поднял голову.

— А ему подходить к нам совестно, — громко сказал Зимин.

— Щукин, идите сюда! — приказал Терехов.

Опираясь на карабин, Вася поднялся и, сильно хромя, медленно направился к товарищам.

— Ишь прикидывается! — жестко произнес Снытко.



— Ну, ну, веселей, Вася! — иронически подбодрил Карамышев.

Щукин подошел и снова опустился на землю.

— Нога у меня, ребята, — не поднимая глаз, сказал он мрачно.

— У каждого есть нога, — перебил Зимин, — даже две. Вася укоризненно посмотрел на него, вздохнул и добавил прежним тоном:

— Когда упал — там, с лестницы, — повредил ее, наверное... И совсем не мог бежать...

— А ну, что у вас с ногой? — нагнулся к нему Терехов. Он взялся за сапог, но Щукин, округлив глаза, сказал строго:

— Ой, товарищ сержант... — И, когда Терехов отнял руку, извиняющимся тоном добавил: — Больно очень.

— Потерпи, Вася, — подошел Карамышев, — мы сейчас, — и тоже взялся за сапог.

Вася сморщился от боли, на лбу и на верхней губе у него выступили капельки пота. Когда сапог был снят, он чуть слышно охнул.

— Да-а... — протянул Терехов.

Нога у Щукина выглядела неважно: опухла и посинела. Подошел майор Долгов. Он присел возле Щукина и слегка помял опухоль пальцами. Вася, откинув голову назад, стиснул зубы и терпел.

— Как же вы с такой ногой бежали? — спросил командир.

Щукин обвел взглядом товарищей, взглянул на майора.

— Я хотел как лучше, — заговорил он, шмыгнув носом. — Команда была представлена, заменить меня нельзя... Я решил: потерплю... А не сказал, чтобы вас не тревожить...

Майор положил руку Щукину на плечо и сказал:

— По-моему, решение правильное. А вы как думаете? — обернулся майор к солдатам.

— Конечно, правильное! — горячо подтвердил Лева. — Щукин держался молодцом, это настоящая выдержка... А если бы мы были в разведке и кого-то ранило? Там замену не попросишь...

— Вот именно, — сказал майор. — Будем держать равнение на разведку.

От судейского столика передали команду участникам состязания строиться.

— Щукина оставьте, — распорядился Долгов. Сам он остался рядом со Щукиным и отсюда смотрел на церемонию вручения кубка отделению сержанта Терехова.

— А где же мы его поставим? — спросил Вася.

— Мне кажется, место ему найдется, — ответил майор. — Скорее всего, в комнату политпросветработы, там надо будет завести уголок спортивных трофеев.

— Я уже думал, где его поставить, — доверительно сообщил Щукин, — только не говорил никому.

— Где же вы думали его поставить?

— В углу, вправо от окна, где шахматный столик... Там его и поставить. Как в комнату войдешь, сразу в глаза будет бросаться... — Вася помолчал, взглянул на майора и, понизив голос, сообщил: — Знаете, товарищ майор, я, бывало, как глаза закрою, так и вижу этот кубок у нас в комнате политпросветработы, в том углу... Вот вы спросили, как я бежал... Очень больно было, даже упал. И вдруг, когда упал, увидел: тот угол в нашей комнате пустой... И я опять побежал...

Майор слушал серьезно, без улыбки; сухощавое лицо его оставалось неподвижным, только серые глаза теплели. Но глаз его Щукин не видел и решил больше не надоедать майору своими разговорами.

Когда отделение вернулось от судейского столика с кубком, Долгов поздравил солдат, а потом сказал:

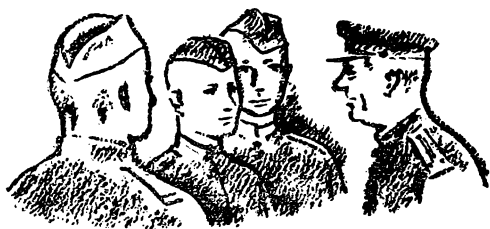
— Несите Щукина в санчасть.

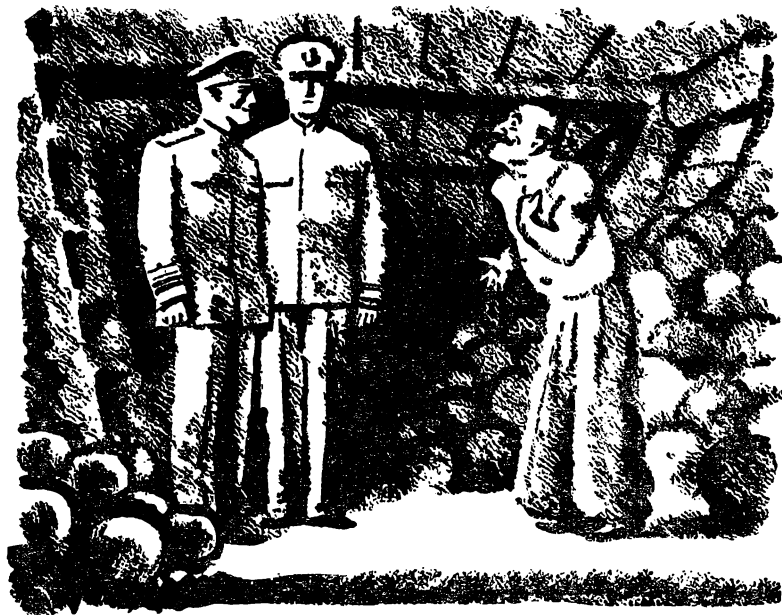
Солдаты дружно протянули к Василию руки, подстави-

ли плечи. Карамышев протянул ему кубок, и Щукин взял его бережно, обеими руками.

Так и несли товарища к санитарной машине, гордые своей победой.

С тех пор к Щукину стали относиться серьезнее, подтрунивали над ним меньше. И Вася, одержав над собой первую победу, сделался к себе поостроже, хотя и не излечился от охотничьей страсти — прихвастнуть! Но от этого разве быстро излечишься?!





**Борис Минаев**

### **КОНЕЦ НАИРИ**

Море плескалось о берег легкими прозрачными волнами. Светло-зеленое, с коричневыми пятнами водорослей, оно словно густело вдали, становилось изумрудным и вдруг, неестественно резко теряя свой цвет, широкой темной лентой упиралось в горизонт. Солнце, маленькое и злое, раскалило и море, и землю. Воздух был горяч, неподвижен.

В нескольких километрах от берега, резко выделяясь на синей поверхности моря грязным пятном косого паруса, лежала большая фелюга. Отсюда, с высокого утеса, на котором стояли капитан и лейтенант — офицеры-пограничники, — она была видна как на ладони.

Капитан Бурмин снял фуражку и медленно вытер платком вспотевшее лицо. Глаза его, только что с интересом рассматривавшие фелюгу, теперь выражали полное безразличие.

— Ну,— сказал он, обернувшись к лейтенанту,— как тебе солнышко нравится? А?

Лейтенант не ответил. Он был так поглощен наблюдением за фелюгой, что не слышал вопроса. Лицо его, очень молодое, с ясными голубыми глазами, которые он щурил в окуляры бинокля, почти совсем еще не тронутое загаром, было по-юношески свежо, и даже светло-каштановые усики, подбритые с расчетом сделать их более заметными, несколько не делали его старше. Ни солнце, ни жара, которые действительно были невыносимы, совсем не интересовали лейтенанта в эту минуту. Не обладая ни спокойствием, ни выдержкой капитана, он не мог оторвать глаз от моря и от неведомо как попавшего в прибрежные воды старенького парусного судна. Оно было низкобортным, с огромным парусом, вершина которого загибалась вниз наподобие полумесяца,— появление его казалось неестественным в наши дни.

Лейтенант Корнев прибыл на морскую границу совсем недавно, прямо из военного училища. Это было первое нарушение территориальных вод, при котором он присутствовал, совершенное к тому же нелепым на вид судном.

— Экспонат исторического музея,— пробормотал лейтенант.— Интересно, какой ветер его сюда занес?

— Ну, какой — это ясно,— чуть пожал плечами Бурмин.— Юго-восточный. Эти ветры здесь пока наиболее беспокойные. А к водоплавающему анахронизму внимательно присматривайся. У нас теперь подобных не найдешь, а на Востоке они еще действуют...

В это время на фелюге спустили парус. На палубе стали видны светлые форменки моряков пограничной охраны. Катера, пришвартовавшегося уже около часа назад к проти-

воположному борту фелюги, видно не было: его скрывал корпус судна.

— Думаете, контрабандисты? — спросил лейтенант.

Капитан пожал плечами:

— Ничего не думаю. Может быть, контрабандист, может, и купец. Вчера в шторм попал, мог с пути сбиться. Ничего хитрого нет, в море все бывает. Да вот подожди, — добавил он, заметив, что фигурки моряков, словно по команде, исчезли с палубы, — сейчас узнаем.

От грязно-желтого кузова фелюги отделился голубой катерок. Не прошло и десяти минут, как он проскочил в маленькую бухточку под утесом и, пофыркивая, остановился — закачался на легкой волне.

— Ну, что там, старшина Гурзуф? — крикнул вниз Бурмин.

Старшина стоял на носу, широко расставив ноги. Он поднял рупор, и слова его пошли вверх одно за другим, словно карабкались по отвесной скале:

— Товарищ капитан... купец... идет... Трапезунд. Говорит, в шторм попал... груз... тыквы... арбузы.

— Так, — сказал капитан и, вынув платок, снова вытер успешнее вспотевшее лицо. Потом еще раз посмотрел на море, и глубокие морщинки, расходящиеся веером у его глаз, собрались в тугую и узкий луч. — Ну что ж, купец так купец. Только моряк, видно, неважный... А купец и того хуже. Как думаешь? А?

Лейтенант развел руками:

— Вот уж чего не знаю, того не знаю, товарищ капитан! Живого купца мой возраст не позволил мне видеть, а в коммерции по роду службы не разбираюсь.

— Ну, первое — причина уважительная, тут я с тебя вину снимаю, — засмеялся Бурмин. — А вот что касается второго, честное слово, напрасно. В жизни все пригодиться может, на границе тем более. — Он перестал смеяться и потер руками подбородок. — Плохой купец... Дрянь купец. Торго-

вать совсем не умеет.— Он хитро прищурился и вдруг неожиданно подмигнул Корневу: — Я бы вот, например, лейтенант, так не торговал.— И, прежде чем Корнев успел что-либо сказать, сложил руки рупором и крикнул вниз: — Эй, на катере, мотор не глушить! Пойдем посмотрим, что там за арбузы. И на живого купца кстати посмотрим.

Цепляясь за кусты, они по крутой тропинке, огибавшей утес, быстро спустились вниз на влажную береговую гальку.

Застучав мотором, катер выскочил из узкого горла бухточки на морской простор и помчался к фелюге, вытягивая за собой молочную линию вспененной винтом воды. Низкий кузов фелюги то выскакивал из белых гребней, то прятался в них.

Старшина Гурзуф обстоятельно докладывал о случившемся. В территориальных водах фелюгу обнаружили ночью. Утром, когда шторм внезапно сменился штилем, волны пригнали ее ближе к берегу. На борту ее находились четыре человека: капитан, он же хозяин судна, кок и два матроса. Трюм фелюги был набит тыквами и арбузами. Ничего подозрительного ни в трюме, ни на палубе обнаружено не было.

— На палубе грязи — хоть картошку сажай,— добавил Гурзуф.— Живут же люди, честное слово! Тьфу!

Вспугнутая шумом мотора, с недовольным криком, чуть не задев катер крылом, промчалась чайка. Еще несколько других поднялись над береговыми утесами, протяжно крича.

— Будет ветер скоро,— сказал Гурзуф.— Может быть, через час.

Катерок описал крутую дугу и мягко ткнулся бортом в борт фелюги. Гурзуф первый вспрыгнул на палубу и закрепил концы.

Под грязным залатанным тентом на баке сидел толстый кок в промасленной красной куртке и лениво мыл в большом тазу рис. Он был похож на большую птицу, находлившуюся в раздумье — клевать ей зерно или нет.

Из надстройки на юте, образовывавшей единственную на судне каюту, выскочил маленький человек в шароварах, висевших на нем, как оболочка шара, из которой выпущен воздух, и в туфлях, надетых на босу ногу.

Крошечные черные глазки турка быстро ощупали каждого из прибывших, и, угадав старшего, турок затараторил:

— Ай-ай, как нехорошо: такой большой начальник — столько беспокойства! Но зачем держишь, начальник, почему не даешь уходить? Вот документы — читай, пожалуйста! Вот фелюга — смотри сколько хочешь! Твой человек уже все осмотрел. Весь груз перевернул. Половину чуть не испортил. Смотри еще, если нужно... Разреши скорей уходить! Жары такой давно не видал... Груз пропадет — совсем нищим стану!

— Подожди, не спеши так, — засмеялся капитан, — тебя никто к нам в гости не звал — сам явился. Теперь жди, пока не выгоним. Ты говоришь, в Трапезунд шел? Почему же туда не попал?

— Большой шторм был. — Турок сокрушенно покачал головой. — Ай, какой большой! Думал, совсем конец. Спасибо, аллах выручил. Из Синопа вышли — тихо, хорошо. Потом ветер, такой ветер — сорок лет плаваю — редко видел. Ничего не могли сделать, руль заклинило. Утром смотрим: берег! Какой берег? Русский! «Ай, думаю, примет еще за контрабандистов». Спасибо, ничего плохого на борту нет: тыквы, арбузы. Еще раз прошу, начальник, смотри сам, пожалуйста. Ветер поднимается — можно уже уходить. Купец должен торговать быстро. Сегодня в Трапезунде арбузов нет — завтра могут навезти. Зачем тогда деньгами рисковал?

— Вот, видал: это и есть настоящий купец, — подтолкнул лейтенанта Бурмин. — Трех человек едва не утопил, сам с ними на дно пошел бы — не жалко. Денег жалко. Смотри хорошенько, ты живого купца не видел. И вообще, представь себе, что ты сегодня, как сам сказал, в историческом



музее. Ну что ж, хозяин, пойдем, суденышко твое посмотрим.

Они неторопливо пошли вдоль борта. Турок семенил сбоку. Ничего подозрительного наверху заметить действительно было нельзя. Обойдя палубу, они приблизились к люку, затянутому брезентом, но неплотно: один угол был отогнут, открывая доступ воздуху в трюм.

— А ты по-русски где говорить научился? — спросил капитан.

— Как — где? В Одессе был, в Туапсе был, в Новороссийске. Еще много лет назад. С купцами торговал. О, какие купцы были! — Турок восторженно прищелкнул языком. — Большие дела делали!

— Большие, — согласился капитан. — За эти дела их и убрали. Как думаешь, правильно сделали, а?

— Зачем мне думать? Что сделали, то сделали. Я в чужом деле не хозяин. — Турок вдруг хлопнул себя по лбу рукой. — Ай, какой я плохой человек! Гости пришли, арбузы как мед, забыл угостить.

Он крикнул что-то по-турецки, и один из горбоносых, обнаженных до пояса матросов двинулся к люку.

Бурмин остановил его жестом.

— Правильно ты сказал, купец, плохой ты хозяин. Не так у нас угощают. У нас говорят: вот лежат арбузы, выбери себе по вкусу. Выбрал — бери и ешь на здоровье.

— Ай, хорошо ты мне сказал, начальник! Правильно сказал. Стар я стал, глупеть начал. Пойдем вниз, милости просим. Выбирай пять, десять арбузов! Хочешь — ешь, хочешь — с собой бери. Для хорошего человека ничего не жалко.

Турок быстро отбросил брезент и полез вниз. По крутому скрипучему трапу Бурмин и Корнев спустились следом за ним.

В трюме царил полумрак. Солнечный свет, проникающий в отверстие люка, лежал на грязном полу ярким квад-

ратным пятном. Потревоженные спустившимися вниз людьми, в нем запрыгали тучи золотистых пылинок.

Арбузы были навалены к бортам до самой палубы. Сквозь зелень местами просвечивали янтарно-желтые пятна тыкв.

С минуту все стояли неподвижно, свыкаясь с полумраком. Потом Бурмин взял в руки арбуз.

— Режь, пробуй, пожалуйста! — согнулся в полупоклоне турок.

Нож вошел в арбуз с легким треском. Из треугольного разреза капитан извлек сочную пирамидку.

— Хорош, — сказал он, — беру, спасибо. Если все такие, большие деньги заработаешь, хозяин. — Он вложил пирамидку обратно. — А вдруг в Трапезунде и без тебя все на базаре арбузами завалено, а? Что тогда будешь делать, купец?

— Зачем завалено? — обиделся турок. — Знаю: арбузов нет, спрос большой есть.

— Хорошо знаешь? Верный человек сообщил?

Турок засмеялся и похлопал себя по ляжкам.

— Какой человек? Сам в Трапезунде был; семь дней только, как в Синоп приехал. В таких делах никому не доверяю.

— Сам? — искренне удивился Бурмин. — Ай, молодец! Старый, а такой быстрый. За арбуз спасибо. Если и тыква будет так же хороша, тем более благодарен буду.

— Тыкву? — удивился хозяин. — Ты хочешь взять тыкву? Бери, пожалуйста! Сейчас прикажу — на катер доставят.

— Не беспокойся. Я сам на свой вкус возьму.

Капитан передал лейтенанту нож и нагнулся, отбрасывая в сторону зеленые тела арбузов и добираясь к светло-желтым, пятнистым шарам.

По морщинистому лицу турка промелькнула тень беспокойства. Она промелькнула так быстро, что это могло и показаться. Однако, поймав взгляд лейтенанта, турок быстро

шагнул из-под солнечного разреза люка в сторону, в полумрак трюма.

Прежде чем Корнев успел хотя бы знаком заставить капитана насторожиться, тот уже поднялся, держа в руках большую тыкву.

— Уф,— сказал он, с трудом расправив поясницу,— хороша! Такую с кашей сварить — пальцы оближешь. А ну, давайте нож, посмотрим, какая она внутри!

Крошечные глазки хозяина угрожающе блеснули. Маленькое тело сжалось в комок. Теперь возбуждение его было настолько явным, что лейтенант быстрым, почти инстинктивным движением положил руку на кобуру пистолета.

Но лицо хозяина, добродушное и заискивающее, снова смеялось всеми морщинками.

— Ай, какой шутник начальник, зачем голову морочишь? Кто тыкву режет? Боишься, плохая,— скажи, десяток других прикажу на катер отправить. Эту положи, шутить времени нет.

— Зачем волнуешься? — мягко улыбнулся капитан.— Сам сказал, что даришь. Теперь моя тыква: что хочу, то и делаю. Давай нож!

Не спуская глаз с турка, Корнев передал капитану нож. Турок все еще смеялся, правда уже совсем тихо, и качал головой.

— Ай, какой шутник, начальник, кто тыкву режет?

Бурмин шагнул к свету. В его руке блеснуло что-то длинное, гибкое, вспыхнувшее сразу в солнечном луче переливчатым, холодным огнем.

— Так,— сказал капитан,— с начинкой. Молодец купец, хорошо придумал. На таких тыквах можно большой капитал сделать... только не сейчас... двадцать лет назад... Теперь много не заработаешь. У нас научились шелк лучше делать. Кому думал груз сдавать? Почему молчишь? Не хочешь разговаривать? Ну ладно, на берегу скажешь. Ставь парус! В Трапезунд не пойдешь — пойдешь в Батуми!

Хозяин молчал. Казалось, он так потрясен происшедшим, что вот-вот потеряет сознание. Пошатываясь, он сделал два шага назад, в глубину трюма. Рука его, ища точку опоры для сразу обмякшего тела, заскользила по обшивке судна.

Капитан мгновенно переменялся. Лицо его стало жестким.

— Стоп! — крикнул он металлическим голосом. — Туда не ходить! Еще одно движение — буду стрелять! Лейтенант, поддержите купца, ему плохо. Помогите подняться наверх. На воздухе станет лучше. И смотри, купец, без фокусов!

Солнце сияло над морем и горами. Легкие волны, набегая на берег, наносили на него пенистую, пульсирующую грядку. Из темных горных ущелий сползали к морю пухлые облака.

На баке, под тентом, поджав под себя ноги, рядом с коком сидели оба матроса фелюги. У борта стоял старшина с автоматом на груди. В его больших и синих, как море, глазах играли веселые искорки.

Капитан одобрительно кивнул головой.

— Так, — сказал он, — правильно, Гурзуф! Приготовьте теперь канат, проверим днище фелюги. На всякий случай.

\* \* \*

Косые, упругие струи дождя хлестали землю. Сквозь мутную завесу далеко внизу виднелось свинцовое море. Оно вздымало огромные валы и бросало их на прибрежные скалы. Ветер бил крупными каплями дождя в запотевшие стекла. Маленький домик пограничной заставы вздрагивал.

Капитан Бурмин встал из-за стола и прошелся по комнате.

— Не понимаешь? — спросил он, останавливаясь против Корнева. — Думаешь, капитан просто угадал, что на фелю-

ге что-то неладно, и тыкву наугад резал? Нет, неверно думаешь. Почему — сейчас объясню.

Вот смотри, на столе лежит газета. Газета эта турецкая, торговый бюллетень. Здесь есть все, что нужно для купеческой души: почему табак в Измире, сколько стоит кишмиш в Стамбуле, где продается хлопок и шерсть. Предложений в три раза больше спроса. Это значит — турецкий бедняк затянул пояс до отказа и покупать уже ничего не может. Торговля совсем замирает. Ты говоришь: «Я в коммерции ничего не понимаю». Я тоже раньше ничего не понимал. На границу пришел, по-иному рассуждать начал. Когда служишь здесь, надо знать, как соседи живут. Потому что соседи у нас иногда совсем беспокойные.

Беру я эту газету и просматриваю. Вот последний номер. Там, где карандашом подчеркнуто, написано: в Трапезунде лежат горы арбузов — гниют, никто не покупает. Денег нет! Понимаешь? А купец везет еще одну гору, везет себе в убыток. Вот почему я сказал еще на берегу: плохой купец. Тогда это уже для меня было совершенно ясно. Но почему плохой? Вот это надо было выяснить, прежде чем делать выводы. Тут могли быть две возможности: либо купец совсем еще неопытен в торговых делах, либо введен кем-то в заблуждение относительно положения на рынке и торгового бюллетеня не читал.

Но кого мы увидели на фелюге?

Старого, опытного купца, который обманывает людей дольше, чем я живу на свете, и который двух шагов не сделает, если ему за это не заплатят. Такого не проведешь! Да и утверждает он, кроме того, что сам лично недавно был в Трапезунде.

Следовательно, оба предположения нужно было опровергнуть. И остается только одно. Купец врет: идет он не в Трапезунд и попал в наши воды не случайно. И, значит, товар везет не для продажи, а для того, чтобы глаза отвести, если попадется.

Гурзуф искал хорошо. Но искать надо было еще лучше. Когда спустились в трюм, меня как будто по голове ударило: тыквы! В тыкву умелый человек многое может спрятать...

Бурмин взял со стола пачку «Казбека». Лейтенант зажег спичку. Бурмин закурил.

— Спасибо, — кивнул он головой. — Теперь слушай дальше. Когда я вынул шелковый чулок, то удивился. Чулки сейчас у нас делают лучше. И в магазинах их сколько душе угодно. Сколько мог заработать купец? Нисколько. Значит, опять не то.

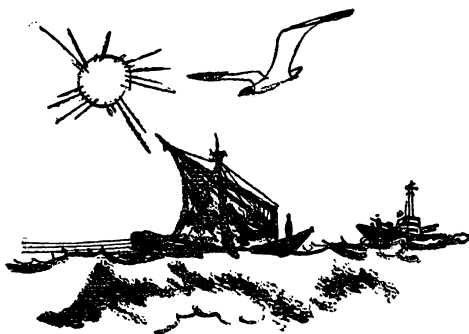
Но тут купец раньше времени себя выдал. Увидел, что игра проиграна, и хотел освободиться от самого главного. Инсценировал обморок и повалился на обшивку, как малокровная женщина. Кто на рискованное дело идет, у того голова так быстро не кружится, сам понимаешь! Я следил за его рукой. Ты, наверное, тоже заметил: он что-то искал! Тут уж мне гадать было не к чему. Бывали подобные случаи. Нажимается где нужно рычажок — и отрывается от днища то, от чего нужно непременно освободиться. Если бы купец успел, было бы то же самое. Потом на глубине в сотню метров попробуй найти доказательство — тот самый эхолот, что сейчас у нас в руках со всеми записями.

Капитан подошел к окну, по которому взапуски бежали струйки дождя.

— Видно, за промер дна у наших берегов где-то опять хорошо платят. Не на каждой такой посудине плавает коком специалист-гидрограф с высшим образованием! А о купце этом я давно слышал. Еще до революции на Кавказском побережье известны были два Наири — отец и сын, крупные контрабандисты. Ничем не брезговали для наживы. У таможенной охраны мимо пальцев уходили, всегда могли откупиться: большой капитал имели. После революции Наири у наших берегов не появлялись, но своих людей присылали. Вчера же сам Наири-сын к нам пришел. Видно, большой

суммой его соблазнили. Однако от старого он освободиться не мог: контрабанду все-таки захватил. А может, то еще вернее, захватил для маскировки. Если будут подозревать на большее, скажет: «Я контрабандист, нарушитель таможенных законов, и только. Вот смотри, у меня чулки! Купец не думал, что как раз именно его груз и вызовет наибольшее подозрение, не знал, что мы в курсе торговых дел Черноморского побережья. И вообще купец для сегодняшнего дня мало что знал. Вот и все. Ясно? Понимаешь теперь, для чего коммерцию знать иногда нужно?

Капитан замолчал, продолжая смотреть в окно. В комнате стало тихо. Даже дождь как будто совсем перестал. Потом сильный порыв ветра потряс стены. Яркая вспышка молнии осветила море до самого горизонта. С затянутых тучами горных вершин скатился к берегу дробный обвал грома, повторяемый эхом в прибрежных ущельях.





**Аркадий Сахнин**

### **ЭХО ВОЙНЫ**

Ровно за три недели до сороковой годовщины Октября по Кировскому району Курска разнеслась весть: у железнодорожного переезда, близ ворот гипсового завода, кто-то заложил мину и снаряд. Об этом заговорили все сразу, будто новость передавалась не из уст в уста, а откуда-то сверху обрушилась на район.

Вездесущие и всезнающие мальчишки авторитетно утверждали, что найден не один, а десять снарядов, и даже не десять, а пятьдесят три. Перебивая друг друга, они рас-



сказывали, как в сторону завода одна за другой пронеслись зеленые машины военного коменданта Бугаева и полковника Диасамидзе, как вслед за ними промелькнули «Победы» секретаря райкома партии, председателя райисполкома, председателя горсовета.

На дорогах близ завода появились усиленные наряды милиции и комендантский патруль. Всякое движение через переезд было запрещено. К вечеру запретная зона расширилась: уже не разрешали ходить и ездить по одной из прилегающих к заводу улиц.

Руководители района видели, что надо успокоить население, но сделать этого не могли: нависшая опасность далеко превосходила даже фантазию мальчишек.

...В кабинете директора гипсового завода собралось человек пятнадцать. Здесь были партийные и советские работники, военный комендант города подполковник Бугаев, директора нескольких предприятий, прилегающих к заводу. На их тревожные вопросы полковник Диасамидзе отвечал: пока его люди не разведают, что и как спрятано под землей, ничего сказать нельзя. Дав указание о первейших мерах предосторожности, он попросил всех оставить кабинет, который был расположен в двадцати метрах от опасного места.

Остались только полковник, военный комендант и еще два военных специалиста. Они обсудили создавшееся положение, вызвали капитана Горелика, старшего лейтенанта Поротикова и лейтенанта Иващенко. Разведка началась.

Вскоре вырисовался сильно вытянутый эллипс размером в шестьдесят квадратных метров. Мина — это всегда тайна. Как обезвредить мину, знает лишь тот, кто ее ставил. Те, кто снимает, должны раньше разгадать, как она уложена.

Опасаться надо не только заминированного снаряда. Самое страшное то, что его окружает. К нему может быть протянута замаскированная проволочка. Чтобы обезвредить снаряд, надо перерезать ее. Но случается, что именно от

этого он и взлетает на воздух. Никто не знает, сколько существует способов минирования. Сколько минеров, столько способов. Впрочем, куда больше. Каждый минер может придумать десятки способов закладки мин и снарядов.

Чтобы обезвредить мину, надо провести исследовательскую работу. Но это работа не в тиши научного кабинета или лаборатории, где главное достигается экспериментами. Здесь эксперименты недопустимы — они смертельны.

Миллиметр за миллиметром офицеры и трое солдат сняли саперными ножами верхний слой грунта с эллипса. Пересыпанные землей, точно тюленьи спины из воды, показались десятки снарядов. Определили и «глубину их залегания». Теперь картина стала ясной.

В декабре сорок второго года фашистский листок «Курские известия», выходявший в оккупированном городе, напечатал статью «Напрасная тревога», в которой оповестил, что «большевизм окончательно разбит и никогда советская власть в Курск не вернется». Крикливый и самоуверенный тон статьи выдавал подлинную тревогу гитлеровцев перед мощным наступлением Красной Армии. После потери Воронежа и Касторного гитлеровское командование намеревалось укрепиться в Курске. Сюда были стянуты крупные силы, подвезено огромное количество боеприпасов. Советские войска разгромили четвертую танковую, восемьдесят вторую пехотную и добились остатки еще четырех дивизий, пришедших из-под Воронежа. Участь Курска была решена. Перед гитлеровцами встал вопрос: что делать со складами боеприпасов, где находилось более миллиона снарядов и пятнадцать тысяч авиационных бомб? Вывести их уже было поздно. Но и взорвать такое количество боеприпасов в короткий срок не представлялось возможным. Гитлеровцы решили подготовить грандиозной силы взрыв в таком месте, чтобы после их ухода он неминуемо вызвал новую серию

взрывов там, где сосредоточены были снаряды. К работе приступили пиротехники, электрики, минеры.

Восьмого февраля 1943 года Красная Армия освободила Курск. Специальные команды подсчитали трофеи и вывезли куда положено миллион снарядов и пятнадцать тысяч бомб. Но то, что сделали немецкие специалисты, осталось тайной.

С тех пор прошло почти пятнадцать лет. В районе, где намечался взрыв, выросли новые предприятия, десятки корпусов рабочего поселка, сотни домиков индивидуальных застройщиков.

А глубоко под землей так и остались скрытые от глаз боеприпасы, тая в себе огромную разрушительную силу. Остались и механизмы, сделанные пиротехниками, электриками, минерами.

Восемьдесят четыре кубометра снарядов и мин словно выгрузили в яму из самосвала. Но так могло показаться только в первую минуту.

Бронебойные, фугасные, осколочные, кумулятивные, бетонобойные снаряды и разнокалиберные мины были уложены опытной рукой, чтобы никто больше не мог к ним прикоснуться. Все это не ровным штабелем, а как пирамида, выложенная из спичек: возьмешь одну — посыплются все. Но это не спички, которые можно аккуратно брать двумя пальцами. Фугас двести третьего калибра весит сто двадцать два килограмма. Его длина — без малого метр. Как подступиться к такой глыбе? Если стать плотно друг к другу, троем хватит места, чтобы уцепиться за снаряд. На каждого человека придется больше двух с половиной пудов.

Но можно ли поднимать снаряд? Какая гарантия, что снизу к нему не припаяна проволочка? А то, что пирамида заминирована, сомнений ни у кого не вызывало. Что, например, делать с кумулятивным снарядом, или, как его еще

называют, бронепрожигающим? Он не дает осколков. Он прожигает броню сильной струей газа. Его тоненькая оболочка почти разложилась.

Глубокий след оставили на снарядах пятнадцать лет их подземной жизни. Металл изъеден, точно поражен страшной оспой, предохранительные колпачки проржавели и развалились. Проникшая внутрь влага вызвала химическую реакцию. Желтые, белые, зеленые следы окисления расплзались по ржавой стали. Как и на чем держится вся эта смертельная масса, трудно понять.

И все же она держится. А если пошевелить ее? Какая гарантия, что на обнаженных взрывателях не появилась белая сыпь?

Белая сыпь. Это страшно. Ее порождает гремучая ртуть, которой начинены взрыватели. При долгом и неправильном хранении она выделяет едва заметные кристаллики. Точно щепотка пудры, выбивается она наружу и прилипает к маленькой медной гильзе. Если провести по ней человеческим волосом, произойдет взрыв.

И снова собрались партийные и советские работники, директора предприятий, представители железной дороги. Молча выслушали они результаты разведки.

— Тщательная проверка установила ряд признаков чрезвычайной опасности для транспортировки,— говорил военный инженер.— Согласно действующим наставлениям наличие любого из этих признаков, хотя бы одного, категорически запрещает передвигать боеприпасы. Мы обязаны взорвать их на месте. Зона поражения при взрыве,— закончил он,— достигнет почти тридцати квадратных километров.

Общий вздох, как стон, вырвался из груди людей. Ошеломленные, они еще молчали, когда им было предложено подготовить план эвакуации оборудования и готовой продукции на предприятиях, расположенных в первой, наиболее опасной зоне.

Наступила глубокая тишина.

— Мне готовиться нечего,— тяжело поднялся наконец с места директор гипсового завода.— Завод будет снесен почти полностью, вместе со строящимся цехом сборного железобетона. А готовой продукции у нас нет. Колхозы трех областей забирают сборные хозяйственные здания, которые мы делаем, как только они выходят из цехов.

— Собственно говоря, и мне нечего готовиться,— сказал главный инженер отделения дороги.— Судя по сообщению, которое мы слышали, в результате взрыва будет разрушен большой участок магистральной линии Москва—Ростов, вся южная горловина станции и повреждено более сорока станционных путей вместе с устройствами связи, сигнализации и автоблокировки...

Он умолк, как бы собираясь с мыслями, но тут заговорил председатель райсовета Нагорный:

— В названную зону поражения попадают все корпуса нового рабочего городка и примерно семьсот маленьких домов с общим населением около десяти тысяч человек... Что же вы, шутите, что ли! — неожиданно зло выкрикнул он, неизвестно к кому обращаясь, и резко отодвинул стул.

Расходились молча, хмуро, не глядя друг на друга, каждый занятый своими мыслями.

Не спросив разрешения, быстро покинул кабинет и капитан Горелик. Ушли все. Только один полковник Диасамидзе остался сидеть, грузно навалившись на стол. Его одолевало собственное бессилие. Ни совесть, ни закон не давали ему права приказать своим подчиненным разбирать эту грудку снарядов.

Четкий, как команда, голос раздался за спиной:

— Разрешите обратиться, товарищ полковник?

Он медленно и тяжело обернулся. Перед ним стояли капитан Горелик, старший лейтенант Поротиков и лейтенант Иващенко.

— Слушаю вас,— устало сказал он,

— Просим разрешить нам вывезти снаряды и взорвать их в безопасном месте,— доложил капитан.

В какое-то мгновение полковника переполнила радость и чувство гордости. Он не мог скрыть улыбку. Это была чистая, отцовская, наивная радость.

От него требуется только одно: разрешение. Разрешить — и он избавится от этого назойливого вопроса: «Что делать?» Они стоят и ждут. Он должен позволить идти в эту яму, откуда можно и не вернуться. Должен разрешить этим троим, молодым и сильным, и их солдатам, еще более молодым, рисковать жизнью в мирное время.

А заводы, дома, имущество мирного населения?

Нет, не легче стало полковнику от предложения офицеров.

Что толкает их идти на смертельный риск? Молодость, задор, лихость? Понимают ли, что им грозит? Как поведут себя, когда снимут начищенные и разглаженные кители? Откуда уверенность? Будет ли она, когда останутся один на один со смертью?

У Горелика и Поротикова — семьи. Не о детях ли подумают, приступая к снарядам?

— А вы хорошо понимаете, на что идете? — после долгой паузы спросил полковник.

— Так точно, товарищ полковник! — отрапортовал Иващенко. — Мы обо всем подробно говорили. Если потребуется, мы готовы жертвовать жизнью.

Полковник грустно посмотрел на него:

— Этого очень мало, лейтенант.

Что же еще можно требовать от человека, если он готов отдать свою жизнь?

— Понимаете, лейтенант Иващенко, этого очень мало — пожертвовать жизнью,— повторил свои слова Диасамидзе.

Теперь тон его был не официальный, а дружеский, доверительный:

— Если вы готовы во имя Родины жертвовать собой, это хорошо. Но готовы ли вы жертвовать другими? Может быть, десятками людей. Ведь если придется делать взрыв на месте, не погибнет ни один человек. Можно вывезти оборудование предприятий, и ущерб будет не очень большой... Если же вы начнете работать и произойдет взрыв... Сами понимаете, что это значит.

— Так мы же не на смерть идем, товарищ полковник,— сказал капитан Горелик.— Ну к чему мне сейчас умирать? — улыбнулся он.— Мы с женой ждем ребенка, к празднику получаем квартиру, еду на курсы, о которых давно мечтал. Вот и Поротиков получает комнату в новом доме... Нет,— заключил он решительно,— мы выполним задание.

Через час в кабинете председателя облисполкома было принято решение: снаряды вывозить.

В середине дня капитан приказал собрать роту в Ленинской комнате. Он стоял на плацу и смотрел, как потянулись туда солдаты.

Что скажут они сейчас? Как поведут себя?

Капитан подробно объяснил солдатам создавшуюся обстановку. Он не сгущал красок, но и не скрывал опасности.

— Нам надо шесть человек,— закончил он.— Пойдут только те, кто добровольно изъявит желание.

Первым поднялся младший сержант Иван Махалов. Лицо у него было, как всегда, добродушное, на щеках ямочки, только немного удивленное. «Раз надо, сделаем, о чем разговор»,— казалось, выражал его взгляд.

Вторым встал Дмитрий Маргишвили, а дальше уже ничего нельзя было разобрать, потому что поднялась вся рота.

— На выполнение специального задания,— сказал капитан, отчеканивая каждое слово,— назначаются следующие товарищи: старшина Тюрин Михаил Павлович, сержант Голубенко Василий Иванович, младший сержант Махалов Иван Аркадьевич, рядовой Хакимов Камил, рядовой

Маргишвили Дмитрий Иванович, рядовой Урушадзе Гурам Сарационович. Названным товарищам остаться, остальным разойтись!

Через несколько минут прибыла еще одна группа воинов-добровольцев, выделенных в распоряжение капитана из других рот. Это были: специалист по взрывам электрическим способом лейтенант Селиванов, лучший водитель бронетранспортера рядовой Солодовников, радисты-отличники Чекрыгин и Бочаров.

...Старшина Тюрин поднял группу в пять тридцать.

Вся казарма спала. Только этим и отличался сегодняшний подъем от остальных. Так же, как всегда, тщательно заправили койки, так же быстро умывались и ели ту же нехитрую солдатскую пищу, — и все же что-то особенное было в начавшемся дне.

Построились во дворе, на краю огромного учебного плаца. Хмуро. Туманно. Зябко. Капитан сказал последние напутственные слова. Он еще раз напомнил об осторожности. Он говорил о воинском долге, о присяге, о боевых традициях части.

Капитан не отличался красноречием, и все, что он сейчас сказал, Иван Махалов слышал не один раз. Но, странное дело, сегодня эти знакомые слова приобрели какой-то особый смысл.

Если разобраться, то Иван был не очень доволен своей боевой судьбой: учеба, строевая, караульная служба, а если нет провинившихся, то и очередные наряды на кухне. Сиди и чисти картошку! И, будто растравляя его душу, как нарочно, одна за другой шли беседы о боях, проведенных частью, куда он пришел служить.

Здесь, на плацу, где стоял теперь Иван Махалов, он принимал присягу под боевым, простреленным знаменем. За два года службы он стал мастером своего дела. Во всей обстановке плаца, такой знакомой и привычной, было сегодня что-то новое, неизведанное.



Когда прибыли в город, туман уже рассеялся. Стоял хороший осенний день. Чем ближе подъезжали к Кировскому району, тем больше попадалось встречного транспорта и пешеходов. Только один бронетранспортер двигался в направлении к станции. Километра за два до предстоящего места работы машина уже с трудом пробиралась сквозь густую толпу.

Трамваи и автобусы были переполнены. Десять тысяч жителей покидали свои дома. Свертки, сумочки, корзинки, чемоданчики, а у некоторых даже узлы... Но большинство идет с пустыми руками. Люди идут спокойно, без паники, с шутками, глубоко веря, что все окончится благополучно.

Идет бронированная машина, и люди останавливаются с интересом и уважением смотрят на солдат, машут руками, что-то кричат. Иван думает: надо бы в ответ помахать рукой, смотрит на своих товарищей, но лица у них серьезные, строгие, ответственные. Иван только сейчас обращает внимание на то, что и сам он сидит, словно аршин проглотил. Нет, это не специально он так напыжился. Такое у него состояние, будто только сейчас почувствовал всю страшную ответственность, какая на него ложится.

Медленно движется бронетранспортер. Его догоняют несколько грузовиков с милицией и солдатами. Это оцепление. Пятьсот шестьдесят человек с красными флажками оградят опасную зону во время работы. Откуда-то появляются пожарные и санитарные фургоны. Они идут на заранее отведенные для них посты.

По закону с взрывоопасными предметами может работать только один человек. Но сейчас это невысказано: дело затянулось бы на много дней. Над ямой склонились два офицера и три солдата. Работа началась. Тончайшая ювелирная работа над огромной массой земли, над глыбами стали, чугуна, меди, над тоннами взрывчатки и сотнями огненных взрывателей.

Глядя на приготовленный инструмент, можно было подумать, что здесь собирается самая младшая группа детского сада. Крошечные совочки, тяпочки, крючки, лопатки составляли главные орудия труда воинов.

Сейчас самый страшный враг — земля. Снят только самый верхний слой. Она под снарядами, она спрессована и зажата между ними, она налипла на взрыватели, и неизвестно, что в ней спрятано. Надо очистить землю, не касаясь металла, надо нащупать, что внутри.

У каждого своя граница, четко обозначенная полость, которую предстоит вскрыть. Едва ли всякий хирург, производя сложную операцию, работает столь трепетно, с таким напряжением воли, нервов, всех своих сил, как пришлось действовать сейчас воинам. Работали молча, сосредоточенно. И вот уже снята, очищена, сдута каждая крошка земли со всего эллипса площадью в шестьдесят квадратных метров. Стало видно, какой снаряд брать первым. Солдаты уже подошли к нему.

— Отставить! — предостерегающе поднял руку капитан. — Каждому ясно, что из всей пирамиды сейчас можно брать только этот снаряд, — сказал он. — На это мог и рассчитывать враг. Действовать только по команде. Ни одного самовольного движения.

У 203-миллиметрового фугаса, лицом к нему, становятся Иван Махалов, Дмитрий Маргишвили, Камил Хакимов.

— Приготовиться!.. Взяться!.. Приподнять! — звучат команды.

Такой тяжелый груз хорошо бы приподнять рывком. Но это категорически запрещено. Его надо не оторвать, а отделить от земли, как отделяют тампон от раны. И приподнять только на один сантиметр. Таков приказ.

Лежа на земле, капитан и старший лейтенант Порошков с противоположных сторон смотрят, не тянется ли к снаряду проволока. Они очищают землю снизу.

— Поднять! — раздается новая команда.

Три солдата, три спортсмена-разрядника, тесно прижавшись друг к другу, движутся, как один механизм. Нельзя качнуться, нельзя оступиться, нельзя перехватить руку. Плывет снаряд весом более семи с половиной пудов. Его шероховатое, с острыми выступами, изъеденное ржавчиной тело впирается в ладони. Это хорошо: он может содрать кожу, но не выскользнет.

К огромному, с открытым бортом прицепу, на одну треть заполненному песком, ведет помост — земляная насыпь. Медленно над ней плывет снаряд.

И вот уже все трое ступили на прицеп. Ноги вязнут в песке. Впереди для ноши приготовлена выемка — «постель». Снаряд опускают туда бережно, нежно, будто кладут в постель ребенка.

...Шестнадцать снарядов откопали, перенесли и уложили, не сделав ни минутного перерыва. Носили все пятеро. После такой тяжелой работы руки немного дрожат.

А теперь надо снова очищать землю. Надо, чтобы руки не дрожали. И уже не за рукоятки, а за лезвия саперных ножей берутся люди. Берутся так, чтобы жало выступало между пальцами, как безопасная бритва из станочка. И вдруг высоко над головой вспыхивает огромная красная лампа. В ту же секунду сильный и резкий звонок, как на железнодорожном переезде: поезд. И в подтверждение голос в эфире:

— В поле зрения поезд Москва—Тбилиси. Прекратите работу.

— А-а, черт его несет! — в сердцах бросает капитан.

— Это за мной подали, — тихо говорит Маргишвили. — Мне в Тбилиси пора.

Шутку слышат все, и все улыбаются.

...Спустя несколько минут лампа погасла, умолк звонок. По радиции сообщили, что можно продолжать работу.

Иван Махалов счищает землю. Вот он сбрил тоненький слей и протянул нож, чтобы снова пройтись по этому же

месту, и вдруг резко отдернул руку. На сердце будто растаяла мятная конфета — сердце обдало щемящим холодком. Это был не страх. Страшно, наверное, бывает под пулями. Было жутко. Под слоем земли, которую он собирался снять, будто вздулась тоненькая, как кровеносный сосуд, жилка. Она шла от взрывателя снаряда и исчезала где-то между другими болванками. Сердце обдало холодком в то мгновение, когда он понял, что это не жилка, а проволочка такого же цвета, как земля.

— Что случилось? — спросил Поротиков, обратив внимание на застывшего солдата.

Махалов молча показал рукой на жилку.

— Все в укрытие! — скомандовал старший лейтенант.

Поротиков внимательно осмотрел изъеденную временем проволоку. Местами сохранилась изоляция, сгнившая, мягкая, как глина. Местами видны тоненькие оголенные нити.

Старший лейтенант берет узкий обоюдоострый нож, вернее, что-то среднее между ножом и шилом. Начинается в самом полном смысле слова граверная работа.

Оказалось, что проволочка укреплена к колечку чеки, вставленной во взрыватель. Чека диаметром не больше двух миллиметров сделана, видимо, из особого сплава. Железная давно бы превратилась в труху. Но эта проржавела так, что и не поймешь, на чем держится. Кажется, предусмотрели все, а вот лупу не взяли. Как бы хорошо сейчас посмотреть на минное устройство через увеличительное стекло! Но разве можно было додуматься, что, разбирая десятки кубометров снарядов и земли, потребуется лупа?

Будь это новая установка, чеку легко придержать рукой, чтобы не выскочила, и перерезать проволоку. Но сейчас к чеке прикасаться нельзя. Кажется, что она может переломиться от ветра. Тогда ничем не удерживаемая больше пружина разожмется, острый стержень ударит в капсюль. Взрвется весь склад.

Запыхавшись, прибежал капитан.

— Да-а,— протянул он, посмотрев на чеку.— А ведь в снарядах такого калибра чеки не бывает. Специально сделали.

Решили искать, куда ведет второй конец шнура. Теперь за шило-нож взялся капитан. Он освободил от земли сантиметров сорок проволоки, когда показался второй конец. Видимо, шнур был закреплен за другой снаряд и просто перегнил в этом месте. Расчет врага стал ясен. За какой из двух снарядов ни возьмись, чека выскочит.

Одну за другой переламывает капитан тонкие нити проволоки у взрывателя. Кусачками этого делать нельзя — пальцы чувствительней.

— Ну что ж, все? — говорит капитан.

— Похоже, что так,— отвечает старший лейтенант.

...В кузов уложили снаряды. Выехал из укрытия на своем бронетранспортере Солодовников. Теперь все зависит от него.

Командир роты садится рядом с водителем. Вздымается вверх красная ракета. Первый рейс начался.

— Трогайтесь так,— говорит капитан водителю Николаю Солодовникову,— будто прицеп до краев наполнен молоком. Хоть капля разольется — взрыв.

Медленно идет бронированная машина. Тихо и пусто вокруг. Не слышно обычного грохота гипсового завода, затихла шпагатная фабрика, не дымят трубы завода передвижных агрегатов, умолкли паровозы и рожки стрелочников.

Миновав железнодорожный переезд и поворот, машина выехала на опустевшую улицу. Запертые калитки, закрытые ставни окон, ни одного дымка над домом. Ни собаки, ни кошки. Даже птицы не летают, словно почуяв опасность. Мертвый город.

...На вершине песчаного карьера стоят четверо: лейтенант Иващенко, старшина Тюрин, сержант Голубенко и ря-

довой Урушадзе. Они молча смотрят на пустынную дорогу. Они смотрят в одну точку, где исчезает за поворотом ленточка асфальта. Здесь должен показаться бронетранспортер.

К приему снарядов подготовлено все. Вырыты две ямы. Могилы для снарядов. Далеко в стороне, в специальной нише, упрятаны капсулы-детонаторы. Отдельно хранятся пашки. От ямы тянутся длинные провода к электрической машинке, установленной в укрытии. Лейтенант Селиванов еще раз осматривает свое «хозяйство». Рядом радист. Уже дважды запрашивал его штаб, не показался ли бронетранспортер. Но на дороге по-прежнему пустынно.

И вдруг лейтенант Иващенко срывается с места, бежит к рации.

— «Резец-два», «Резец-два»! — докладывает лейтенант Иващенко. — На повороте шоссе в двух километрах от меня показался бронетранспортер с прицепом.

— Вас понял, — отвечает полковник Сныков. — Докладывайте о ходе работ. При любых, даже малейших сомнениях или трудностях сообщайте немедленно. Без разрешения взрыва не производить.

Медленно заходит в карьер бронетранспортер. Глубоко в сухой песок зарываются колеса, но движутся с постоянной, одинаковой скоростью. Натужно ревет мотор. Впереди то идет, то бежит, пятясь спиной, Иващенко, указывая дорогу. Капитан стоит на подножке.

Карьер сильно разработан, весь в песчаных холмах. Подъехать близко к ямам рискованно. Надо максимально приблизиться к ним.

— Стоп! — кричит Иващенко, размахивая рукой. — Все!

Начинается разгрузка. Как и там, у подземного склада, работают пятеро. Как и там, сильные солдатские руки бережно, нежно берутся за ржавые болванки. Сейчас они особенно опасны: в дороге растряслись, кто знает, что делается внутри взрывателей.

Чтобы быстрее освободить прицеп для следующего рейса, снаряды кладут пока тут же, в один длинный ряд.

Капитана срочно вызывают к рации.

— Докладывает старший лейтенант Поротиков, — слышит он голос в наушниках. — Обнаружена вторая установка на минирование. По всем признакам — электрический способ.

— До моего возвращения к снарядам не подходить.

И капитан, уже сидя в машине, торопит Солодовникова: гони всюю.

Иващенко, Тюрин, Голубенко и Урушадзе берутся за снаряды. Нести далеко. Тяжело вязнут в песке ноги. Но снаряд плывет без толчков, без малейшего сотрясения, как лодка на тихом, спокойном озере. Один за другим плывут снаряды и ложатся в яму по точно определенному порядку. Это последний их путь. Вот уже уложены все тяжелые болванки. Остался маленький кумулятивный снаряд. К нему наклонился Иващенко и инстинктивно качнулся в сторону. Снаряд издал треск. Будто согнули ржавую полосу железа или коснулись друг друга оголенные провода под током.

Треск снаряда страшен. Бывает, торчат из земли три короткие проволочки, расходящиеся лепестками. В траве их не увидишь. Но заденешь, раздастся треск. И остаться невредимым уже немислимо. Три-четыре секунды будет слышен треск, потом выскочит цилиндр из земли и на высоте метра метнет в стороны более трехсот стальных шариков.

Но ведь здесь нет трех лепестков. Схватив горсть мокрого песка, Иващенко положил его на оголенное место снаряда, потом сверху насыпал лопату сырого песка. Он решил, что снаряд успел нагреться даже на осеннем солнце и началась реакция. Чтобы прекратить ее, надо охладить снаряд.

Все прячутся в укрытие. Выждав необходимое время, лейтенант выходит. Особенно бережно поднимает он опас-

ный снаряд и несёт в яму. Потом укладывает шашки так, чтобы взрыв ушел в землю. И вот наконец все готово.

Из укрытия появляется лейтенант Селиванов. Он соединяет короткий шнур от шашки с проводами электрической машинки. Последний внимательный взгляд на всю местность вокруг. Оба лейтенанта удаляются в укрытие.

Содрогнулась земля. Первая партия снарядов уничтожена.

...Капитан подъехал к гипсовому заводу. Полковники Диасамидзе и Сныков уже стояли, склонившись над ямой. Поединок продолжался.

Что думал враг? Куда тянутся провода? Где источник тока?

И снова тонкий и точный расчет врага был раскрыт.

И снова началась «хирургическая» работа над минной установкой, куда более сложной, чем первая. И снова сильные, умные, золотые солдатские руки извлекали смертельные провода. И снова грузили стальные глыбы, и снова ползла бронированная машина по опустевшим, немym улицам.

Дрожала земля от взрывов. Первый, второй, третий, четвертый, пятый... пока не взвился в воздух, точно салют победы, зеленый снап ракет.

— Всё!..

С огромной скоростью пронеслась на радиоузел машина председателя райсовета Нагорного.

Нагорный сам бросается к микрофону:

— Граждане! Исполнительный комитет депутатов трудящихся Кировского района извещает, что все работы по вывозке снарядов закончены. С этой минуты в районе возобновляется нормальная жизнь.

Радость переполняла его. Ему хотелось сказать еще что-нибудь, но все уже было сказано, и он растерянно и молча стоял у микрофона.

И вдруг, вспомнив, как это делают дикторы, он медленно произнес:



— Повторя-аю!..

И опять умолк, то ли забыв только что сказанное, то ли слова эти показались ему сухими, казенными.

И неожиданно для себя почти выкрикнул:

— Товарищи, дорогие товарищи, опасность миновала, спокойно идите домой...

В ту минуту, когда произносились эти слова, уже хлынул народ к обессиленным, счастливым солдатам.

Солдат качали, летели вверх кепки, косынки. Крики «ура» смешались с возгласами восторга и благодарности. Вконец смущенных солдат обнимали и целовали, а они тоже благодарили, искренне не понимая, за что такие почести.





**Лев Линьков**

## **КРЕПЫШ**

На одной из далеких пограничных застав служил молодой солдат Петр Васильев. За отменное здоровье товарищи прозвали его Крепышом.

Но вот однажды с Крепышом приключилась беда — он заболел малярией.

Вторые сутки Петр метался на койке в жару и бредил. В бреду он то звал свою маму, то просил дать ему сапоги и порывался куда-то пойти.

Начальник заставы капитан Самохин еще вчера хотел отправить Крепыша в госпиталь, но тот так горячо умолял его повременить, что капитан согласился. Не верилось, что

такой сильный, здоровый парень может тяжело заболеть. Но сегодня утром, когда Самохин зашел в казарму проведать больного и увидел его бледное, с покрасневшими глазами лицо, он сказал:

— Придется все-таки, товарищ Васильев, отправить вас лечиться. К вечеру за вами заедет врач.

Петр больше не возражал. У него снова начался озноб. Сержант Семен Прохоров, приятель Крепыша, укутал его вторым одеялом, накрыл сверху шинелью. Но тому все равно было так холодно, словно он лежал на снегу.

— Не тужи, Крепыш,— успокаивал Семен.— В госпитале скорее поправишься.

Жена начальника заставы Екатерина Захаровна принесла манной каши:

— Ешьте, Крепыш!

Шестилетний Вовка, ее сын, глядя, как его лучший друг, морщась, ест с чайной ложечки кашу, посочувствовал:

— Я манку тоже терпеть не могу.

— Уходи, Вовик, дяде Пете нужен покой,— сказала Екатерина Захаровна.

Вовка выбежал из казармы, однако, едва мать ушла, он снова вернулся.

Усевшись на табуретке, он сообщал другу новости: у Ласки — так звали розыскную собаку — щенята открыли глаза. Вовка боялся, как бы они не остались навсегда слепыми. Дядя Прохоров обещал Вовке сделать маленький фонарь, чтобы можно было разглядеть на земле чужие следы. Когда фонарь будет готов, Вовка пойдет с Крепышом ночью охранять границу, и они обязательно поймают в лесу самого хитрого шпиона.

— А ты скоро поправишься? — спросил Вовка.

— Скоро, скоро,— улыбнулся Петр.

Вовка натянул Крепышу до самых глаз одеяло:

— Лежи тихо, тебе нужен покой, а я пойду кормить Ласку.

Петр остался в казарме один. Он достал из-под подушки письмо и перечитал его, наверное, в десятый раз.

«Петенька, сыночек! Скоро ли ты приедешь домой! — писала мама из далекого подмосковного села Глазова.— Люди рассказывают, будто у вас на границе всегда идет война. Береги себя, сынок, ты ведь один у меня».

Петр получил письмо с неделю назад, но до сих пор не ответил, потому что капитан обещал предоставить ему за хорошую службу отпуск домой. Хотел обрадовать маму неожиданным приездом, и вот на тебе — захворал...

Петр закрыл глаза и задремал.

— В ружье! — слышалась вдруг из коридора громкая команда.

Команда эта означала, что на заставе объявлена боевая тревога.

В казарму вбежали пограничники, расхватили из стойки пирамиды свои автоматы и стремительно выскочили во двор.

Петр приподнялся и взглянул в окно.

Пограничники построились у крыльца. Капитан Самохин что-то громко сказал им, и вскоре пограничники скрылись за пригорком.

И тут снова появился Вовка. Захлебываясь от волнения, он рассказал Крепышу, что на заставу только что звонили по телефону из соседнего колхоза и сообщили о двух неизвестных людях, которых видели на опушке мальчишки, собиравшие грибы. Неизвестные скрылись в большом урочище. Наверное, это шпионы. Папа сказал, что нужно найти их и задержать.

Петр хорошо знал Большое урочище — старый, густой лес. Обнаружить схоронившихся там людей дело нелегкое: урочище — место болотистое, топкое; особенно сейчас, осенью.

— И я побегу,— сказал Крепыш Вовке.

— Тебе нельзя — ты больной,— испугался Вовка.

— Ничего, все будет в порядке,— улыбнулся Петр и начал одеваться.

С трудом застегнул пуговицы гимнастерки с трудом натянул тяжелые сапоги. Пошатнувшись от слабости, затянул поясной ремень, надел фуражку, взял из стойки-пирамиды свой автомат.

— Куда ты, Крепыш? — окликнул его в коридоре дежурный.

— Здоров я! — ответил Петр.

Он вышел во двор, вдохнул свежего утреннего воздуха и приободрился: «Не так уж я и болен». И вдруг затуманилось в глазах, закружилась голова, хоть садись прямо на землю.

«Сейчас это пройдет, сейчас пройдет», — успокоил он себя, постоял секунду-другую и побежал вдогонку за товарищами.

А Вовка взобрался по лестнице на крышу: может быть, ему удастся увидеть, как будут ловить шпионов.

Крепыш догнал своих товарищей только у самой опушки.

— Вы зачем здесь? — удивился Самохин.

— Я поправился, товарищ капитан,— ответил Петр.

— Поправился? — Самохин подумал было вернуть Крепыша на заставу, но, может быть, ему и в самом деле стало лучше? Если б плохо было, не смог бы он так быстро бежать.

— Пойдете с сержантом Прохоровым с правой стороны,— приказал капитан.— Станем обыскивать весь лес...

Ели и осины росли в Большом урочище так густо, что даже днем здесь было сумрачно.

Сначала Петр видел идущего слева сержанта, но вскоре отстал. Опять закружилась голова, ноги не слушались. Петр пополз. Полз он осторожно, откладывая в стороны валежник, чтобы не шуметь. А вдруг где-нибудь неподалеку притаились нарушители границы?

В горле пересохло, вновь начался озноб. Петру казалось, что деревья качаются, а они стояли не шелохнувшись. Неприятный звон раздавался в ушах. Силы совсем уже оставляли Крепыша, но он понимал, что нужно обязательно задержать врагов. И он полз и полз.

\* \* \*

Двое неизвестных мужчин, те самые, которых заметили на опушке мальчишки, подумали уже было, что им удалось обмануть пограничников, и обрадовались. Теперь осталось только подальше уйти от границы, и все будет хорошо.

И вдруг сзади послышался какой-то подозрительный звук. Неужели кто-то крадется по их следам? Бежать дальше было нельзя: под ногами хлюпала вода, трещали ветки, и нарушители границы притаились под старой разлапистой елью, приготовили пистолеты.

— Не сопите, — зло шепнул один из них другому и пригнул ему голову.

Тот от неожиданности хлебнул из лужи жидкой грязи и зачихал. Все под ним засопело, захлюпало. Широко раскрыв рот, он снова чихнул и встретился взглядом с глазами человека в зеленой фуражке, с автоматом в руках.

«Советский пограничник!..»

Они вскочили оба разом — и нарушитель границы и Крепыш.

— Руки вверх! — крикнул Крепыш, наставляя на неизвестного автомат.

Неизвестный подчинился, но рядом с ним из-под ели приподнялся еще один нарушитель.

Целиться было некогда! Петр вскинул автомат и выстрелил. В ответ сверкнуло пламя и раздался резкий хлопок пистолета...

Крепыша нашли минут через пятнадцать. Он сидел, прислонившись к стволу осины, и прерывисто дышал.

— Что с тобой? — спросил, подбежав, Семен Прохоров.

Крепыш не ответил. Он очнулся лишь на заставе. Возле него сидела Екатерина Захаровна. Рядом стоял капитан Самохин. Уже наступили ранние осенние сумерки, и в казарме горела лампа.

И тут Петр все вспомнил, и его охватила тревога.

— Задержали? — спросил он и попытался встать.

— Лежите, лежите, Крепыш! — удержала его Екатерина Захаровна.

— Задержали! — улыбнулся капитан. — Обоих нарушителей задержали. Твой выстрел помог.

— Это хорошо... — успокоившись, прошептал Петр.

Увидев у кровати и Вовку, он обрадовался. А Вовка тер кулаками распухшие от слез глаза.

— Дядя Петя, я тоже видел шпионов, — сказал Вовка. — Они в сарае сидят. Их дядя Прохоров караулит.

— Вовик, пойдем спать! — Екатерина Захаровна обняла сына и увела его из казармы.

Когда она вернулась, Петр попросил ее достать из-под подушки письмо.

— Екатерина Захаровна, здесь адрес мамы. Напишите ей: я обязательно приеду, только немного задержусь...

На дворе заурчал автомобиль, заскрипели тормоза.

— Ну, где ваш больной? — входя в казарму, спросил врач.

— Ранен он. Пока вы ехали, его ранили, — объяснил капитан.

Врач склонился над Петром, осторожно снял временную повязку, осмотрел рану и сказал Екатерине Захаровне:

— Его сейчас никуда везти нельзя — рана очень тяжелая. Приготовьте, пожалуйста, кипяток, таз, чистое полотенце, бинты... Необходимо немедленно сделать операцию...

Вовка вышел во двор, где сержант Прохоров, собираясь на охрану границы, чистил автомат.

— Дядя Семен,— спросил Вовка,— а поправится дядя Петя?

— Обязательно поправится! — улыбнулся сержант.— Он ведь у нас Крепыш.

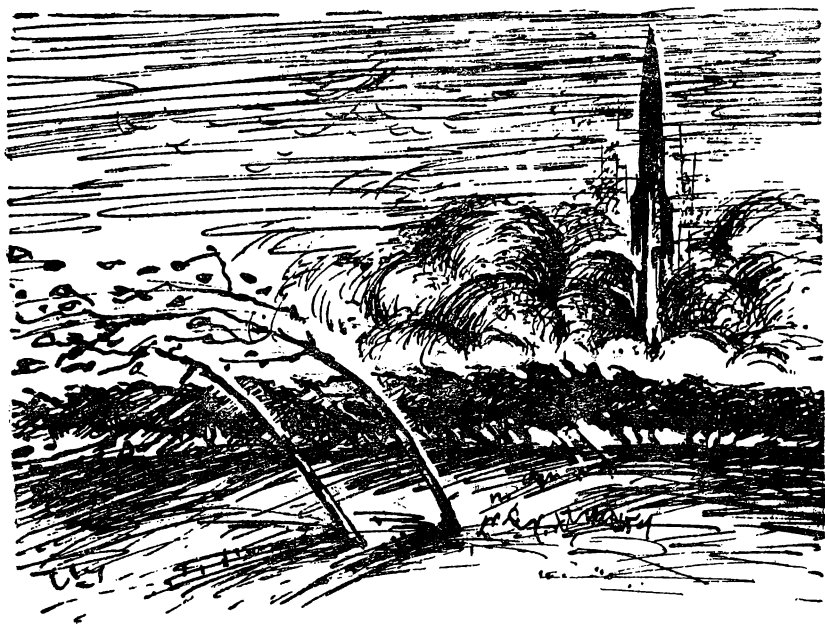
— А зачем он пошел больной ловить шпионов? — снова спросил Вовка.— Больной мог бы и не идти.

— А если бы ты был большим, разве бы ты на месте Крепыша не пошел?

— Пошел бы,— сказал Вовка.







**Валентин Гольцев**

## **ОГНЕВОЙ ЗАСЛОН**

В кабинете главкома войск противовоздушной обороны страны стоит на шарнирах двухметровый глобус. Поворачивая его, маршал говорит:

— Представление о земном шаре у людей со школьной скамьи связано с чем-то необозримым и необъятным. И это действительно так. Однако новая боевая техника внесла свои существенные поправки к фактору пространства. Ныне понятия «фронт» и «тыл» утратили свое прежнее значение. Даже города и промышленные предприятия, расположенные очень далеко от границы, в условиях современной войны могут быть подвергнуты нападению с воздуха. Это обя-

зывает нас строить противовоздушную оборону на всю глубину.

Маршал подходит к большой карте Советского Союза, висящей на стене:

— Видите, как обширна наша страна, как велики ее воздушные пространства. И мы должны держать их на прочном замке от возможных агрессоров. Солдаты и офицеры наших войск всегда на позициях, всегда готовы к встрече с врагом. Когда американский воздушный шпион Пауэрс пытался проникнуть на большой высоте к оборонным объектам, он был сбит нашими ракетчиками первой же ракетой. Бесславна участь экипажа и другого американского воздушного лазутчика — самолета «РБ-47», который вознамерился проверить крепость наших северных воздушных границ. После отказа следовать за нашим истребителем он был сбит легчиком противовоздушной обороны капитаном Василием Поляковым. Ежесекундная боевая готовность — решающее условие советской противовоздушной обороны. Ее главной ударной силой являются ракеты системы типа «Земля—воздух», то есть установки, находящиеся на земле, с которых производится запуск ракет по воздушным целям, и системы типа «Воздух—воздух», то есть ракеты, запускаемые с самолета-носителя. Основу нашей противовоздушной обороны, — продолжает маршал, — составляют зенитные управляемые комплексы. Это безотказно действующее оружие.

Теперь школьнику ясно, что если мы сбили первой же ракетой американский шпионский самолет «У-2», то собьем и другие, если они посмеют появиться в нашем небе. Однако как ни совершенна, как ни безотказна техника, доведенная до высшей степени автоматизации и самоуправления, — говорит в заключение нашей беседы маршал, — по-прежнему решающее слово в бою остается за человеком — солдатом, офицером и генералом. От их воли, выучки и умения принять молниеносно правильное решение зависит использование всех возможностей грозного оружия.

На рассвете 1 мая 1960 года, когда советские люди готовились выйти на праздничную демонстрацию, к южным границам нашей родины крался воздушный шпион. Это был американский реактивный самолет «Локхид У-2», предназначенный для ведения дальней разведки.

Американская разведка возлагала на «У-2» большие надежды. С помощью таких самолетов она надеялась тайно сфотографировать оборонные объекты нашей родины — военные заводы, войсковые аэродромы, ракетные базы.

Первыми обнаружили воздушного шпиона советские радиолокаторщики — зоркие глаза и чуткие уши нашей противовоздушной обороны. Еще тогда, когда он был далеко от государственной границы Советского Союза, они засекали неизвестный, чужой самолет. И, как только он появился над нашей землей, станции обнаружения передали на командный пункт: «В воздухе нарушитель».

«Вести наблюдение», — последовал приказ.

Чужой, неизвестный самолет оказался в цепких, невидимых клещах советских радаров. Они точно определили тип, скорость, высоту и курс самолета и «повели» его, передавая друг другу от одной зоны противовоздушной обороны к другой.

Зона — это воздушное пространство в несколько сот километров по радиусу. В совокупности радиостанции наблюдения, выражаясь военным языком, создают «единое радиолокационное поле». Оно, как невидимая, но необычно прочная сеть, прикрывает огромное пространство нашей родины. Недаром войны противовоздушной обороны говорят: «Наши индикаторы увидят металлическую блоху, пусть она появится даже в стратосфере».

Одним словом, с момента подхода его к воздушным границам Советского Союза, самолет-шпион был под неослабным наблюдением наших радаров, а советские ракетчики

были готовы в любую минуту уничтожить непрошеного гостя, они ждали лишь приказа главного командования. Однако командование считало, что нужно не просто сбить вражеский самолет, а сбить его в определенном месте, с тем чтобы провокаторы войны не могли замести следы своей черной работы...

Когда была дана команда уничтожить воздушного лазутчика, он подходил к зоне, которую охраняет Н-ская ракетная часть. Здесь первыми встретили самолет-нарушитель воины радиолокационной роты капитана Алипатова.

Как только по сети оповещения поступил сигнал, капитан Алипатов отдал распоряжение включить станцию.

Бесшумно завращалась антенна. Операторы впились глазами в засветившиеся экраны индикаторов (приборы для обнаружения воздушных целей).

Раздалась новая команда:

— Обнаружить и повести цель!

Напрягая зрение, всматривался в экран индикатора кругового обзора оператор первого класса ефрейтор Виктор Токалов. Желтоватая линия — развертка — кружилась по экрану, оставляя за собой светлую сетку, поделенную на маленькие квадраты — азимуты, соответствующие участку воздушного пространства, просматриваемого антенной станции. У кромки экрана на секунду возник всплеск — отражение самолета в воздухе.

— Вижу цель! — тотчас доложил Токалов.

В боевую работу включился оператор ефрейтор Хлебников. Опытным глазом он точно уловил чуть видимый импульс от цели и сразу передал первые координаты.

Воздушный шпион шел на высоте 20 километров. Ефрейтор Токалов обнаружил цель намного дальше, чем это предусматривали наставления.

Виталий Белянкин, молодой солдат, но тоже оператор второго класса, точно определил азимут неизвестного самолета. А в следующие секунды сержант Вакуленко и рядовой

Губкин уже передали старшему войсковому начальнику, воинам-ракетчикам координаты противника.

В подразделении капитана Алипатов, операторы которого вели самолет-нарушитель на последнем этапе его преступного полета, хранится отчетный планшет работы станции обнаружения за 1 мая 1960 года.

На большом листе белой кальки пролегли красные линии полетов наших истребителей, гражданских самолетов, которые в этот день были в воздухе и проходили над зоной подразделения. Среди них — жирная черная линия: курс самолета-нарушителя, устремленного на северо-запад. Она обрывается в нескольких километрах северо-восточнее Свердловска. На планшете это место заштриховано черной тушью.

— Здесь воздушного пирата достигла ракета, — объясняет планшетист ефрейтор Геннадий Лосев.

Это он в какие-то мгновения отмечал в тот памятный день на карте путь полета американского самолета-шпиона. Секунды — необычайно короткий отрезок времени. Но комсомолец Лосев успевал наносить на карту и курс, и высоту, и расстояние до цели.

Данные радиолокаторщиков были приняты командным пунктом ракетной части. Мне довелось побывать на нем. Он не имеет ничего схожего с окопом или блиндажом, откуда обычно командиры сухопутных войск руководят боем, а скорее напоминает демонстрационный зал научно-исследовательского института. Здесь на одной из стен расположены светящиеся планшеты воздушной обстановки и управления боем. Подобно огромному зеркалу широкоэкранный кинотеатра, они воспроизводят воздушную обстановку над частью, фиксируют цели, отражают ход боя. На планшете управления огнем отмечаются команды на стартовые площадки ракет. Перед планшетами — столики, за которыми находятся командир части и его помощники.

Бой ракетных войск — бой краткотечный, скоростной. Успех решают секунды. За это время командиру надо ре-

шить не одну сложную задачу. И здесь на помощь приходят умные машины. Автоматика — основное средство управления противовоздушной обороны. Высокая боеготовность, умение каждого воина, расчета, подразделения молниеносно выполнить поставленную задачу — главный ее закон.

— Когда Пауэрс вошел в зону огня нашей части, — рассказывал мне командир, руководивший боем ракетных батарей 1 мая, — на командный пункт части одна за другой пошли просьбы командиров подразделений: «Дайте мне нарушителя, готов его сбить», «Готов к пуску ракеты», «Разрешите мне обстрелять вражеский самолет!»

Приказ был дан батарее, которая находилась в наиболее выгодном положении для ведения боя. Его получили ракетчики майора Воронова.

Михаил Романович Воронов — старый зенитчик, участник Отечественной войны. Вся его армейская жизнь связана с частями противовоздушной обороны.

Приказ застал его в кабине управления. Солдаты подразделения поднятые по тревоге, уже подготовили ракеты к бою. Томительно проходят минуты ожидания. Но вот на экране индикатора появился маленький желтый «червячок» — цель. Она приближалась к центру сетки — к боевой позиции ракетной батареи.

— Вести цель! — отдал приказ майор.

Новая техника породила в армии новые специальности, новые командирские должности. Среди них особым уважением и почетом пользуются офицеры-наведенцы.

Данные для стрельбы вырабатываются машинами, которые мгновенно производят сложные расчеты, связанные с подготовкой, пуском и наведением ракеты на цель. Офицер-наведенец должен уметь быстро оценить все эти данные и точно привести ракету к цели.

В подразделении майора Воронова офицером наведения служит старший лейтенант Эдуард Фельдблум. Этого молодого офицера зовут в части «асом наведения». За его пуль-

том управления несколько индикаторов, на их экранах прыгают прерывистые зеленые линии — отражение радиоволн, прощупывающих воздушное пространство. Помощник старшего лейтенанта — оператор младший сержант Виталий Ягушкин вовремя обнаружил и, как говорят локаторщики, умело, без «провала», провел самолет нарушителя.

Майор Воронов отдает приказ:

— При входе в зону огня — уничтожить цель!

На индикаторе появились чуть приметные отметки цели. Офицер Фельдблум подает команду расчета младшего сержанта Валерия Шустера:

— Сопровождать цель!

Расчет сержанта Александра Федорова быстро подготовил боевую ракету на стартовой площадке. Всего несколько секунд — и ракета, огромная ракета, готова ринуться ввысь на врага.

— Ракета готова, — докладывает сержант командиру.

— Расчету укрыться! — слышится в ответ.

Будто ветром сдувает расчет со стартовой площадки. Последним спешит в укрытие сержант Федоров.

Вот на индикаторе появились маленькие желтоватые «пачки». Это отметки цели.

— Цель в зоне огня, — докладывает командиру подразделения офицер наведения.

— Огонь! — следует короткий, решительный приказ.

Рука старшего лейтенанта уверенно нажала кнопку пуска.

Пронзительно завыл двигатель. Раздался оглушительный взрыв; казалось, началось извержение вулкана огромной силы. Выстлались зеленым ковром гибкие березы, окружающие позицию ракетной батареи. Яркое пламя осветило полнеба. Ракета рванулась с установки и, оставляя позади огненный шлейф, сперва вроде бы совсем медленно, а потом все быстрее и быстрее понеслась в голубую даль.

Эдуард Фельдблум замер у экрана индикатора, а на

нем — две крохотные отметки: ракета и цель. Стремительно сокращается между ними расстояние. И вот ракета нагнала самолет. И сразу на экране возникли новые «пачки» — маленькие черточки. Они отразили устремившиеся вниз обломки самолета.

— Цель поражена! — доложил старший лейтенант Фельдблум.

— Самолет сбит. Выбросился парашютист, — вторит ему наблюдатель за воздухом ефрейтор Миганат Грифанов.

Только тут Эдуард Фельдблум заметил, как текут по его лицу липкие струйки пота, как дрожат пальцы, так решительно нажавшие перед этим кнопку пуска.

Ракета, пущенная воинами майора Воронова, пошла вдогонку за Пауэрсом. Взрыв ударил его самолет по хвосту, и это спасло пилота от верной гибели. Огромная машина стала разваливаться на части. Они не горели. В стратосфере не хватало кислорода. Большие части свободно планировали на землю, и это сохранило несущие плоскости и шпионскую аппаратуру от полного разрушения.

Пауэрс не стал выполнять данную ему инструкцию — взорвать остатки самолета, а самому покончить жизнь самоубийством. Он постарался побыстрее выброситься на парашюте и раскрыл его лишь на высоте 14 тысяч метров. К месту приземления Пауэрса подбежали находившиеся невдалеке колхозники. Они еще не знали, что парашютист — шпион, и думали, что это наш пилот, совершивший учебный прыжок или попавший в беду. Летчик лежал без движения.

— Ранен? Не надо ли воды? — заботливо спрашивали колхозники.

Наконец Пауэрс очнулся. Он испуганно глядел на окружающих его людей, не понимал вопросов, зная только одно: что он сбит и находится на земле, которую пытался в шпионских целях сфотографировать, что его окружают советские люди, на мирный труд которых он по приказу своих генералов покушался. И от сознания этого, как от удара



электрической искры, он вскочил и поднял кверху руки, залепетав что-то на непонятном для окружающих языке.

— Фашист! Враг! — загудела толпа.

— Взять его, ребята...

Спустя месяц после этого памятного события мне довелось присутствовать на учениях ракетных частей. Ночью в одной далекой таежной деревеньке я заметил группу подростков на велосипедах. Они стояли, укрывшись под деревьями на окраине селения, и пристально смотрели в небо. А там, в темной выси, шел учебный бой истребителей. Я обратился к белобрысому парнишке лет двенадцати в выцветшей футболке:

— Вы чего тут собрались?

— Как — чего? Ждем.

— Кого?

— А может быть, еще какой-нибудь Пауэрс с неба свалится. Так мы его выловим.

Попытки уверить ребят, что идет учение, что это не боевая тревога, успеха не имели.

— Мы еще немного подождем. На всякий случай...

*Июль 1960 г.*





**Василий Песков**

### **СОЛДАТСКАЯ МЕДАЛЬ КОСМОНАВТА**

— Какой же он космонавт! Он на космонавта и не похож.

— Космонавт! Точно тебе говорю.

Это разговор двух девушек, наблюдавших за игрой в теннис на корте космодромного городка.

Я бы тоже за космонавта его не принял.

За столом около спортивной площадки сидел человек совсем не гагаринского возраста.

Спортивный костюм, обут в кеды, энергичные черты лица, седина в волосах. Да, конечно, он скорее похож на спортивного тренера, чем на привычного нам космонавта. На коленях у меня лежала бумажка: «Феоктистов Константин Петрович. 38 лет. Родился в Воронеже. Русский. Беспартийный. Окончил Высшее техническое училище имени Баумана. Кандидат наук. Читает по-английски. Имеет медаль за войну и два трудовых ордена, полученных совсем недавно». Далее характеристика: широко эрудирован в технических вопросах и является хорошим специалистом в своей работе... Руководил разработкой важных научно-исследовательских тем. Увлечен философией и кибернетикой... В этом году прошел медицинское обследование, испытание на центрифуге и в термокамере, изучил методику ведения научного эксперимента в полете. Вот и все, что мог сказать о человеке листок бумаги.

— Мало? — человек положил руки на стол и дружески улыбнулся. — Ну хорошо, атакуйте. Я приготовился.

Разговор продолжался около часа. Я привожу его таким, каким был этот разговор за двое суток до старта, — вопросы и ответы.

— Я тоже из Воронежа. Вопрос земляка: вы помните этот город, связаны с ним сейчас?

— Да, в этом городе я родился и жил до шестнадцати лет. Конечно, многое не забылось и не забудется. Дружья детства. Проспект. Бронзовый Петр. Зеленые парки, зеленый район сельскохозяйственного института. Лысая гора под Воронежем. Недавно, кажется в Третьяковке, увидел картину «На родных просторах». Остановился — страшно знакомый пейзаж. Навел справки. Воронежский художник! Написана картина с Лысой горы. Как раз в этом месте, над речкой, я костры разводил. Последняя поездка в город была печальной — хоронил друга...

— У вас медаль за войну?

— Медаль тоже напоминает о городе. В сорок втором подошли немцы. Я ушел в боевой отряд мальчишкой-разведчиком. Раз десять переходил линию фронта. Получил под Воронежем рану.

— Два слова о родителях...

— Мать умерла. Отец, в прошлом бухгалтер, теперь на пенсии.

— Ваш путь в науку. Давно ли сделали выбор профессии?

— Давно. В детстве я прочитал несколько популярных книжек по энергетике. С тех пор и началась любовь к технике. Первые опыты, эксперименты делал в Воронежском дворце пионеров.

— Мы не первый раз видим вас на космодроме. Объясните ваши прежние поездки сюда.

— Я участвовал в запуске первого спутника. С коллективом ученых и инженеров участвовал в подготовке полета Гагарина, Титова, Николаева...

— Всех космонавтов?

— Да.

— Ваше решение «лететь самому» пришло неожиданно?

— Нет, очень давно. Я знал, что вслед за космонавтами-пионерами, космонавтами-профессионалами обязательно полетят ученые. Я очень хотел быть среди них. Несколько раз просил о себе...

— Вас не смущали требования врачей к космонавту?

— Поначалу многое было неясным и неизвестным. Действовать надо было с большим запасом осторожности. Но в прошлом году всем стало ясно: космос — место работы не только для избранных. Хотя, разумеется, это не прогулки по саду.

— Вы, наверно, хороший спортсмен, если сравнительно быстро сумели подготовить себя к полету.

— Должен сознаться: регулярно спортом не занимался,

не хватало времени. Знаю, что это плохо, но так уж получилось. Изредка удается выкраивать время для лыж и охоты.

— Вы считаете, что здоровья рядового человека достаточно для полета?

— Как видите, я не Геркулес, но я убежден: в космос может лететь всякий здоровый человек. Правда, надо делать различие между профессиональным космонавтом и, например, ученым, так же как мы различаем в самолете пассажира и летчика.

— Что вас как человека науки более всего интересует в этом полете?

— Надо решить много задач, связанных с наблюдением звезд и Земли как планеты. Все это важно для построения астронавигационных систем. Меня интересуют оптические характеристики земной атмосферы, полярные сияния, возможности космической навигации.

— Ваши представления о счастье?

— По-моему, счастье — это без ошибки выбрать путь в жизни. Счастье — если человек упорно стремится к цели и, перешагнув трудности, достигает ее. Счастье — это работа, радостная для тебя и полезная людям.

— Ваше любимое занятие в свободное время?

— Вся беда в том, что свободного времени до сих пор было до обидного мало.

— Мы слышали, вас зовут одержимым. Обижает или льстит вам такая характеристика?

— Одержимость в деле я всегда уважал в людях.

Наша беседа могла бы продолжаться, но подошел руководитель физической подготовки и, улыбнувшись, сказал одно слово: режим. Мы пожелали ученому успешной работы.

А через день был старт. Около ракеты стояли десятка четыре людей и поглядывали на часы, ожидали автобуса. Из автобуса вышли трое, одетые в синие стеганые куртки из нейлона и брюки из той же материи. На Феоктистове бы-

ли летние светлые полуботинки. Все это еще больше подчеркивало и необычность полета, и какое-то новое качество людей, идущих по бетону к ракете.

Я не заметил какого-либо волнения на лицах космонавтов. Попрощавшись со всеми, они пошли неторопливо, переговариваясь. Я вспомнил предыдущие старты и отметил некоторое угасание торжественности момента. Люди шли на работу. И походка, и одежда, и слова, сказанные на прощание,— все было гораздо проще, чем в предыдущие старты.

Феоктистов вошел в корабль вторым. Его место было на среднем кресле.

А потом отсчет времени и старт. Зрелище подъема ракеты будет поражать воображение, сколько бы раз человек ни видел его. В эту минуту человек чувствует себя маленьким, придавленный грохотом и ослепленный огнем и сознанием происходящего. Человек чувствует себя и великаном, потому что это рука Человека десять секунд назад зажгла под ракетой солнце, это Человек поселил силу в эту машину, это Человек находится на верху ракеты.

На космодроме много поэтов. Перед стартом даже молодой генерал показал мне листок со стихами. Несомненно, старты ракет пробуждают в людях поэтическое воображение—обычными словами рассказать об этом моменте просто невозможно. И, конечно, в этот момент все думают о людях, которые через несколько минут будут далеко от Земли.

Не сверхчеловеки садятся в корабль, но большое мужество у людей должно быть непременно. Есть доля риска при всяком полете. Медики, обсуждая проблемы отбора людей в космонавты, говорят сейчас не столько о перегрузках физических, сколько о перегрузках человеческой психики. К ответственному моменту старта мало подготовки на центрифугах и спортивных площадках. Всей жизнью человек готовится к этому испытанию. Может быть, когда-нибудь в детстве преодоленный страх съехать с горы на лыжах был началом мужества в человеке.

Поколение сорокалетних людей прививку мужества получило в солдатских окопах, в разведках, в атаках, под бомбежками и в полевых лазаретах. На космодроме все знали, что Феоктистов был солдатом, и, может быть, поэтому не удивлялись его спокойствию в минуты, когда всякому смертному волнение было простительно. Но никто не подозревал даже, что на войне шестнадцатилетний солдат Феоктистов пережил момент драматический. По человеческой скромности сам он в разговоре до старта не рассказал об этом случае. Уже после приземления, когда на космодром пришли газеты, я с волнением и тревогой прочел сообщение из Воронежа. Не напутал ли корреспондент? Заметка называлась «Его расстреливали фашисты». «...Он был разведчиком и несколько раз переходил линию фронта. Однажды недалеко от реки, на улице Сакко и Ванцетти, фашисты его схватили. Расправа была короткой. Его расстреляли во дворе полуразрушенного дома...»

С газетой я побежал на теннисный корт, где космонавты проводили час после обеда. Феоктистов прочел газету.

— Да, так и было...

Спокойно, как будто речь шла об игре в теннис, он рассказал:

— Это был десятый переход линии фронта. Я попытался бежать. Немец выстрелил прямо в упор. Очнулся я в яме с другими расстрелянными. Пуля ударила в челюсть и вышла тут.— Он показал пальцем.— Вот метка.

— Что же вы об этом до старта не рассказали?

Усмехнулся:

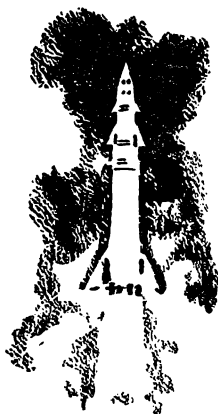
— Мало ли на войне чего было...

Такой характер у человека. Теперь ученый Константин Феоктистов получил высокие человеческие почести и самые высокие награды страны. Среди них есть и простая, чуть позеленевшая от времени солдатская медаль за войну. Это не самая маленькая награда из наших наград...

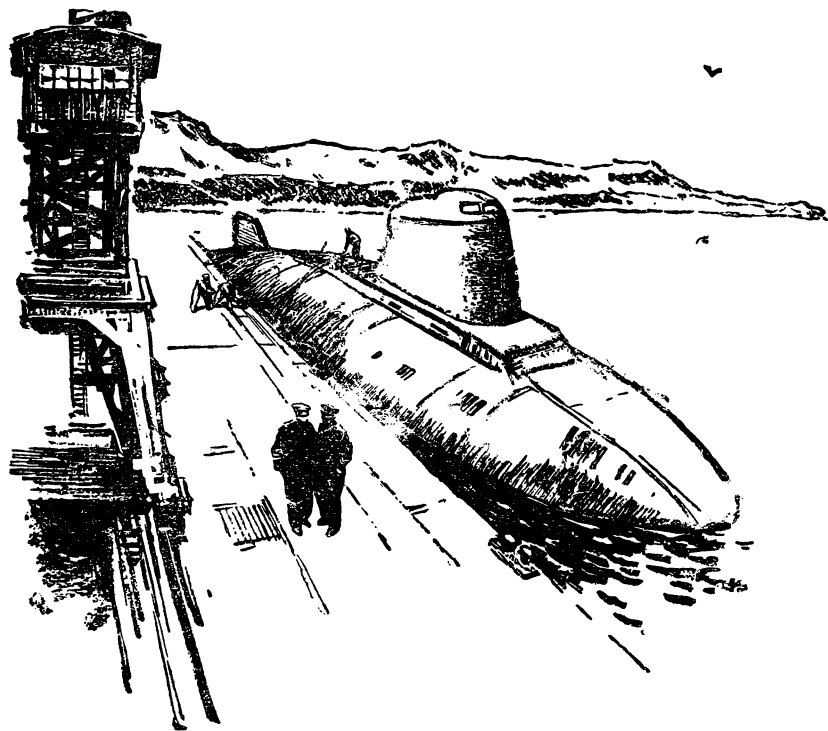
Он, стоящий девятым в нашем ряду космонавтов, носит

штатский костюм. Его предшественники носят погоны. Нет ничего неожиданного в том, что именно вчерашние летчики-истребители пошли на разведку невидимого мира — космоса. Для такой разведки нужны были люди смелые, здоровьем крепкие, хорошо обученные, готовые на подвиг.

И они совершили этот подвиг. И сколько бы люди ни жили под солнцем, они всегда будут помнить имена первых разведчиков космоса. Называя их, наши потомки вспомнят середину XX века, вспомнят страну, где выросли первые герои космоса, вспомнят, что были они комсомольцами и коммунистами, что были они советскими солдатами...







**Валентин Гольцев**

### **ВОКРУГ СВЕТА ПОД ВОДОЙ**

Вова живет с мамой и папой в городе у самого моря. Город их необыкновенный. Он даже названия не имеет. Когда Вова гостил у бабушки в Калуге, ребята-соседи спрашивали его:

- Ты откуда к нам приехал?
- Из города Энска.
- Почему из Энска?

— Это военная тайна, — серьезно отвечал Вова, и ребята умолкали.

А тайна эта вот какая. Вовин папа — военный моряк. Он служит инженером на подводном атомном корабле. Где находятся наши атомоходы, посторонним знать совсем не положено. Иначе и враг узнать об этом может, от какого-нибудь болтуна.

Папа Вовы часто уходит в море на своей большой подводной лодке. Вова никогда не провожает папу, потому что он уходит всегда неожиданно. Дома ждут его обедать, а с базы — это место в заливе, где у прибрежных скал стоят корабли, — по телефону звонят:

— Ушли в море на задание.

Вова очень любит папу, но он никогда не спрашивает, когда вернется отец. Спрашивать, куда, зачем, надолго ли, у военных не положено, потому что это тоже военная тайна.

И на этот раз папа ушел из дому ночью, когда Вова спал. Утром мама сказала, что папу вызвали на корабль по тревоге. Но на этот раз тревога была длинной, очень долгой. Папа был в море полтора месяца. А когда вернулся, тоже ничего не сказал. И Вовка не спрашивал. Раз отец не говорит — значит, нельзя. Только через несколько дней все выяснилось.

Учительница сказала в классе:

— Ребята, поздравьте ваших отцов с историческим походом. С большой победой наших подводников! Они впервые совершили в составе отряда кругосветное подводное плавание.

Дома Вовка спросил отца:

— Нам учительница сказала, что вы герои, что вы прошли под водой вокруг земного шара. Это правда, папа?

— Насчет геройства это она зря. Никакого геройства не было. Просто выполняли задание командования.

— А «кругосветка» была?

— Ну конечно, прошли под водой вокруг земного шара.

— Расскажи, папка...

— Ну ладно. Слушай. Подняли наш отряд по тревоге, вышли мы в море. Ведь знаешь, у военных моряков такое правило: всегда наши корабли, особенно подводные лодки, должны быть готовы к походу и бою. Так вот мы и вышли без особой подготовки — все, кто был на лодке в час тревоги. А когда были уже далеко от родных берегов, по радио поступил приказ командования:

«Товарищи подводники! Вам выпала высокая честь совершить впервые отрядом атомных подводных лодок длительное подводное плавание. Вы должны пройти в подводном положении вокруг света. Это будет первое в мире кругосветное групповое подводное плавание атомных подводных лодок».

Не раз моряки нашего отряда ходили под льды Северного полюса, в далекие атлантические плавания, но такого большого похода в составе отряда никто не совершал — ни в нашем, советском флоте, ни иностранные военные моряки. Задача была нелегкая, ответственная. Но подводники наши радовались. Ведь это здорово, Вовка, первыми пройти в составе отряда вокруг земного шарика, совершить, как ты говоришь, «кругосветку»!

— Страшно было, папка?

— Это не то слово, сынок. Не страшно, а опасно. Нелегко совершить такой поход на одиночной подводной лодке. Во много раз труднее и сложнее осуществить его целым отрядом. Даже групповые походы надводных кораблей требуют от экипажей большой слаженности. А ведь надводные корабли «видят» друг друга. Для управления и связи они используют радио, световую сигнализацию. Их путь на многие километры вперед «прощупывают» локаторы — умные приборы, позволяющие в туман, непогоду на многие-многие мили видеть встречные корабли. В подводном плавании обстановка сложнее. Но наши лодки имеют различную совершенную аппаратуру, которая позволяет флагманской лодке, лодке командира, знать, что происходит впереди по курсу,

что находится далеко по сторонам и что происходит на других подводных лодках. Наш командир знал каждую минуту, как работают механизмы на следующих за нашим кораблем подводных лодках. Наш корабль поддерживал постоянную связь с Большой землей, с нашей родной базой. Мы шли под водой вдоль чужих берегов...

— И мимо Америки тоже? — перебил отца Вовка.

— И мимо Америки и многих других стран. Но в случае чего мы оттуда помощи ожидать не могли. Мы рассчитывали на мощность наших атомных двигателей, на безотказность нашей подводной техники, приборов, механизмов, аппаратуры.

— А приключения были у вас?

— Конечно, были. Однажды наши приборы обнаружили шумы винтов подводной лодки. Они, медленно нарастая, приближались. «Подводная лодка справа», — доложил вахтенный офицер командиру отряда. «Дать информацию о встречном корабле», — приказал адмирал. «Есть дать информацию».

Вскоре подводники с помощью электронных приборов определили, что навстречу двигается американская большая атомная подводная лодка. Наши приборы более полутора часов отсчитывали сокращающееся до нее расстояние. Наконец послышался доклад вахтенного офицера: «Американец уклоняется влево». Так мы разошлись под водой с американской подводной лодкой.

Один из самых опасных участков на нашем пути проходил через глубины пролива Дрейка. Это самый большой на земном шаре пролив. Его ширина достигает девятисот — девятисот пятидесяти километров, а глубина наибольшая — пять тысяч двести сорок восемь метров. Пролив соединяет Атлантический и Тихий океаны. У него дурная слава. Здесь вечно бушуют сильные штормы. Воды в нем холодные, и большую часть года в проливе плавают многолетние льды, ледяные поля, кочуют громады зелено-голубых айсбергов.

— А что такое айсберги? — спросил встревоженный Вовка.

— Это громадные плавучие ледяные горы. Они отрываются от материкового льда, от ледников, и носятся по океану. Большая часть такой ледяной горы, четыре пятых общей высоты, скрыта под водой. Длина айсбергов иногда достигает нескольких километров. От таяния и выветривания айсберги постепенно разрушаются; при этом часто опрокидываются с грохотом и ревом в морские волны.

Айсберги очень опасны для подводных и надводных кораблей. Наши советские подводники имеют большой опыт плавания подо льдами. Но с айсбергами мы встречались впервые, и потому приходилось держать ухо востро. Многие из них мы обмеряли, изучали их строение, с тем чтобы пополнить науку новыми данными об этих грозных ледовых великанах.

Случилось с нами в океане и одно забавное приключение. Гидроакустики—подводники, которые с помощью своих аппаратов прослушивают морские просторы,—обнаружили какие-то необычные, неизвестные шумы. Они шли с разных сторон поверхности и некоторое время оставались для нас загадкой. А потом все выяснилось, и мы долго смеялись.

— Почему? — спросил Вовка.

— Да потому, что над нами шли не военные корабли, а играло и забавлялось большое стадо косаток — морских животных. Встретившись с нашим кораблем, они решили погоняться за нами. Это было необычно, и командир отряда приказал записать на магнитофонную пленку голоса косаток. Скоро в клубе на базе будут показывать фильм о нашем походе, и ты услышишь, как забавлялись, играя с нами, эти морские озорники.

— А как жили вы там, в своих подводных лодках?

— Обычно. По очереди несли вахту у машин, на боевых постах, в штурманской рубке, у реактора... Сменившиеся отдыхали, читали книги, смотрели кино. Были у нас большие

и маленькие праздники. Очень весело мы отметили переход экватора. А переходили мы его несколько раз. По обычаям морским, Вовка, каждый моряк, который впервые проходит экватор, обязан представиться богу морских пучин — самому морскому царю Нептуну. А он, царь Нептун, делает посвящение в настоящие моряки, потому что до экватора далеко, и только тот, кто до него дойдет, по-настоящему моряк. И, чтобы отметить это важное событие, на надводных кораблях новичков купают в морской воде. В подводной лодке, хотя она и большая, купание устроить было нельзя, и мы обливали новичков морской водой из обычной садовой лейки. Царем Нептуном был у нас один подводник — отличник боевой подготовки. Наряженный по этому случаю в костюм морского царя, он-то и «крестил» наших подводных новичков.

Справляли дни рождения. Именинникам наши коки пекли специальные пироги, а штурман выдавал справку о том, что день рождения справлялся на такой-то широте, на такой-то долготе, на такой-то глубине.

Вот так и прошла, Вовка, наша «кругосветка». Ничего особенного — обычное плавание. Наши подводники старались хорошо выполнить задание — ведь мы посвятили этот поход Двадцать третьему съезду нашей партии.



## СОДЕРЖАНИЕ

К читателям этой книги	5
------------------------	---

### ЗА ВЛАСТЬ СОВЕТОВ

Николай Никитин. Октябрьская ночь. Рис. И. Ильинского	9
Зоя Воскресенская. Клятва. Рис. В. Высоцкого	19
Александр Фадеев. Пташка. Рис. Г. Калиновского	27
Гавриил Троепольский. Легендарная быль. Рис. А. Ермолаева	35
Аркадий Гайдар. Левка Демченко. Рис. А. Лурье	51
Валентин Катаев. Сон. Рис. А. Тарана	61
Николай Тихонов. Храбрый партизан. Рис. А. Лурье	68
Яков Тайц. Дом. Рис. И. Лонгинова	73
Михаил Шолохов. Алешкино сердце. Рис. И. Година	80
Лев Канторович. Конец Ибрагим-бека. Рис. Г. Калиновского	97
Сергей Диковский. Наша Занда. Рис. А. Лурье	106

### ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ...

Лев Линьков. Сердце Александра Сивачева. Рис. А. Лурье	115
Борис Полевой. Последний день Матвея Кузьмина. Рис. Г. Калиновского	122
Константин Федин. Мальчик из Семлева. Рис. А. Лурье	130
Вадим Кожевников. Любимый товарищ. Рис. Г. Калиновского	136
Николай Тихонов. Руки. Рис. Б. Коржевского	139
Леонид Соболев. Держись, старшина... Рис. Г. Калиновского	144

Федор Гладков. Опаленная душа. Рис. Г. Калиновского	160
Лев Кассиль. Рассказ об отсутствующем. Рис. Б. Коржевского	167
Вениамин Каверин. Кнопка. Рис. Б. Коржевского	174
Петр Павленко. Удача. Рис. А. Лурье	181
Михаил Водопьянов. Штурман Фрося. Рис. А. Лурье	188
Николай Панов. «С торпедами не возвращаться!..» Рис. Г. Калиновского	195
Леонид Первомайский. Пылающая душа. Рис. Г. Калиновского	208
Константин Симонов. Перед атакой. Рис. Г. Калиновского	218
Вадим Кожевников. На берегу Черного моря. Рис. Г. Калиновского	233
Константин Паустовский. Стеклобрусные бусы. Рис. Г. Калиновского	241
Евгений Воробьев. Одна минута. Рис. Г. Калиновского	248
Николай Богданов. Дружба. Рис. Ю. Реброва	255
Николай Богданов. Солдатская каша. Рис. С. Монахова	260
Николай Чуковский. В последние дни. Рис. А. Лурье	264
Борис Полевой. Сбылось! Рис. Г. Калиновского	280

## НА БОЕВОМ ПОСТУ

Владимир Монастырев. Первая победа. Рис. Г. Калиновского	293
Борис Минаев. Конец Наири. Рис. Г. Калиновского	306
Аркадий Сахнин. Эхо войны. Рис. Г. Акулова	318
Лев Линьков. Крепыш. Рис. Г. Калиновского	336
Валентин Гольцев. Огневой заслон. Рис. И. Кошкарёва	343
Василий Песков. Солдатская медаль космонавта. Рис. Г. Калиновского	352
Валентин Гольцев. Вокруг света под водой. Рис. А. Лурье	359



*К читателям*

*Издательство просит отзывы  
об этой книге присылать по адресу:  
Москва, А-47, ул. Горького, 43.  
Дом детской книги.*



**ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ  
И ВОСЬМИЛЕТНЕЙ ШКОЛЫ**

**СОЛДАТСКИЙ ПОДВИГ**

**Сборник**

Ответственный редактор С. В. Орлеанская. Художественный редактор Л. Д. Бирюков. Технический редактор И. П. Савенкова. Корректоры Л. И. Дмитриюк и Е. В. Кайрукштитис. Сдано в набор 31-X 1967 г. Подписано к печати 5-I 1968 г. Формат 60×84<sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Печ. л. 23. Усл. печ. л. 21,46. Уч.-изд. л. 17,3. Тираж 150 000 экз. ТП 1968 № 182. А 04103. Цена 80 коп. на бум. № 1. Издательство «Детская литература». Москва, М. Черкасский пер., 1. Фабрика «Детская книга» № 1 Росглавполиграфпрома Комитета по печати при Совете Министров РСФСР. Москва, Сущевский вал, 49. Заказ № 1574.

В издательстве «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА» в связи с 50-летием Советской Армии выходят в свет следующие книги:

**ЗОЛОТЫЕ ЗВЕЗДЫ ■ Сборник.**

Рассказы и стихи о Советской Армии, о героических защитниках Родины

**Гайдар А. ■ СКАЗКА О ВОЕННОЙ ТАЙНЕ**

**Богданов Н. ■ О СМЕЛЫХ И УМЕЛЫХ**

Рассказы о мужестве советских воинов

**Герман Ю. ■ ЧАСОВЫЕ**

Рассказы о пограничниках

**Баруздин С. ■ ШЕЛ ПО УЛИЦЕ СОЛДАТ**

Рассказы о советских воинах, о Советской Армии

**Петров В. ■ ХОРОШИЕ ЛЮДИ РАКЕТЧИКИ**

Повесть о современной армии, о жизни воинов-ракетчиков

**Лисянский М. ■ ПЕТЯ КЛЫПА**

Поэма о юном защитнике Брестской крепости

**Стрехнин Ю. ■ ПРО ОТРЯД БОРОДЫ**

Рассказы о подвигах моряков-разведчиков

**Маневич А. ■ КРАСНАЯ УЛИЦА**

Повесть о гражданской войне.

*Эти книги по мере выхода их в свет можно приобрести в магазинах Книготорга и потребительской кооперации.*

*Книги высылаются также по почте наложенным платежом отделом «Книга—почтой» областных, краевых и республиканских книготоргов.*





91

